

МИШЕЛЬ ТУРНЬЕ

Лесной царь



im WERDEN VERLAG
DALLAS AUGSBURG 2004

Мишель Турнье
Лесной царь
Перевод с французского

Michel Tournier
Le Roi des Aulnes

The book may not be copied in whole or in part.
Commercial use of the book is strictly prohibited.
The book should be removed from server immediately upon © request.

©«Амфора», 2000
©И. Волевич, перевод (гл. IV–VI), 1996
©А. Давыдов, перевод (гл. I–III), 1996
©«Im Werden Verlag», 2004
<http://www.imwerden.de>
info@imwerden.de

I

МРАЧНЫЕ ЗАПИСКИ АВЕЛЯ ТИФФОЖА

Стоит повнимательней взглядеться в любой предмет, и ты обнаружишь в нем немало интересного.

Гюстав Флобер

3 января 1938. Рашель иногда называла меня людоедом. Ну что ж, Людоед, так Людоед. По крайней мере, если речь идет о сказочном монстре, явившемся из тьмы веков. Я ощущаю в своей натуре глубинную причастность волшебству.

А также и то, что явился я из тьмы веков. Меня всегда поражало человеческое легкомыслие: уж так люди тревожатся, что с ними станет после смерти, при том, что им глубоко наплевать на события, произошедшие с ними до рождения. А ведь дожизненное существование не менее важно, чем послежизненное, и, к тому же, не исключено, таит к нему разгадку. Мое-то дожизненное состояние длилось тысячелетие, да какое – сотню тысячелетий. Когда земля еще была всего лишь огненным шаром, волчком, крутившимся в жидком гелии, мой дух заставлял ее полыхать жаром и вращаться. Именно невероятная древность происхождения и есть исток моего всемогущества: я и бытие столь давно сосуществуем, столь уже друг с другом свыклись, что, и не пылая взаимной страстью, в силу одной привычки, сразу понимаем друг друга и не способны ни в чем отказать.

А монстр...

Что это, собственно, такое? Если обратиться к этимологии, нас ожидает потрясающее открытие: слово «монстр» происходит от глагола «демонстрировать». То есть, это диковинка, которую выставляют на всеобщее обозрение, к примеру, на ярмарке. Таким образом существо тем более чудовищно, чем оно более диковинно. Вот что ужасно, Я вынужден таиться от своих ближних, чтобы те не выставили меня на позорище.

Чтобы не считаться чудовищем, следует быть как можно ближе по естеству к этим самым ближним, а лучше – копией своих родителей. Ну, или уж, на худой конец, породить потомков, которым доведется положить начало новой популяции. Увы, чудовища не размножаются, семиногая телушка не даст приплода. Лошаки и мулы рождаются бесплодными оттого, что природа не терпит насилия над собой. Чудовище всегда ниоткуда – лишено и предков и потомков. Я стар, как мир, и вечен, как он. Своим якобы родителям я могу быть только усыновленным ребенком, как и сам способен приобрести детей лишь тем же путем.

Перечитал написанное. Вообще-то меня зовут Авель Тиффож. Я владелец гаража на площади Порт-де-Терн и, уверяю вас, *вовсе не псих*. Однако к вышесказанному стоит отнестись со всей серьезностью. Почему? Потому что дальнейшее повествование как раз и призвано продемонстрировать, или, точнее – проиллюстрировать нешуточность моих утверждений.

6 января 1938. Во влажном небе мигнул неонов крылатый конь Мобильгаса, отбросил блик мне на руки и тотчас потух. Эти красноватые вспышки да еще запах прогорклого масла, пропитавший окрестности, и создают то окружение, которое я ненавижу, но, к своему стыду, и обожаю. Мало сказать, что я к нему привык, оно для меня столь же родное, как собственная теплая постель или физиономия, которую я каждое утро лицезрею в зеркале. Но если я, уже во второй раз, зажав перо в левой руке, мараю чистый лист, начав третью страницу своих мрачных записок, то исключительно потому, что нахожусь, как говорится, на жизненном переломе. И почти уверен, что эти записки помогут мне избавиться и от забот о гараже, да и вообще от всех житейских забот, то есть, в каком-то смысле, от самого себя.

Мир состоит из сплошных знаков. Но лишь яркая вспышка или истошный крик способны пробиться сквозь нашу близорукость и тугоухость. Еще в колледже Святого Христофора, где мне довелось постигать азы наук, я постоянно пытался расшифровать иероглифы, встречавшиеся на моем пути, расслышать неясный шепот, достигавший моих ушей. Все бестолку – я не проникал в смысл, а лишь укреплялся в сомнениях в правильности своей жизни. Но, признаться, и в уверенности, что небеса не вовсе пусты. И вот вчера вспыхнул свет, разгоревшийся от искры, высеченной из, казалось бы, самого заурядного события. Он и озарил мой путь.

Так случилось, что я на время потерял способность пользоваться правой рукой. Вооружившись гаечным ключом, я пытался отвернуть гайки в навек заглохшем моторе. Очередной поворот оказался роковым. Мне еще повезло, что рука и плечо были расслаблены. В результате пострадала только кисть – но зато как! Я словно услышал треск рвущихся сухожилий. В тот миг от жуткой боли мне чуть желудок не вывернуло наизнанку. Она и сейчас пульсирует под укутавшей кисть массивной шиной. А с одной рукой какой из меня работник? Вот я и нашел пристанище в клетушке над гаражом, где свалены расходные книги и старые газеты. В этом убежище я решил, от нечего делать, исциркать своей уцелевшей рукой сколько выйдет листов отрывного блокнота.

Для начала я сделал открытие, что умею писать левой рукой! Так вот, прямо сразу, без всякой тренировки, рука принялась уверенно и бойко выводить букву за буквой, притом вполне четко. Правда, их начертание было несколько необычным, каким-то чужеродным, слегка вычурным, по крайней мере, несколько не напоминающим мой прежний, праворукий почерк. Я еще вернусь к этому удивительному явлению, причину которого, мне кажется, я постиг. Однако начать следует с обстоятельств, толкнувших меня взяться за перо с единственной целью – излить душу, одновременно явив истину.

Не уверен, стоит ли вообще поминать второе обстоятельство, возможно, еще решительней, чем первое, подтолкнувшее меня к писанию. Я говорю о разрыве с Рашель. Но как тут обойтись без истории любви, точнее – моей любви к Рашель? Придется подробно о ней рассказать, как бы мне это ни претило. Хотя последнее, может быть, только с непривычки. Для человека столь скрытного по натуре, как я, размазывать свои кишки по чистым листам просто омерзительное занятие. Но только поначалу. Стоит руке разогнаться и, кажется, уже ничто не в силах ее удержать, пока не изольешься на бумагу до капельки. Возможно даже, что отныне ни единое событие моей жизни не покажется мне истинно произошедшим, если оно не нашло отражения на листках дневника.

Я потерял Рашель. Она была моей женой. Нет, не законной супругой перед Богом и людьми, но женщиной моей жизни. Можно даже сказать, – да не прозвучит это напыщенно, – женским началом моей личной вселенной. Сперва, и довольно долго, я не принимал ее всерьез. Помню, как Рашель впервые подкатила на своем утлом, потрепанном «пежо». Чувствовалось, что ей льстит почтение, которое в ту пору вызывала женщина за рулем. Как с соратником по автомобилизму, она сразу приняла со мной свойскую манеру, которая столь быстро распространилась на все наши отношения, что я не успел опомниться, как очутился с ней в постели.

Первое, что меня поразило в Рашель, это умение держаться обнаженной. Нагота, если можно так выразиться, на ней ловко сидела, не хуже, чем дорожный костюм или вечернее платье. Groш цена женщине, если она не знает, как вести себя обнаженной, не понимает, что следует учиться не просто выносить обнаженность, но и носить ее. Подобных дам я распознаю с первого взгляда по их некоторой холодноватости. При том, что одежда у них отчего-то липнет к коже.

Маленькая головка Рашель с птичьим носиком, обрамленная черными кудряшками, странно контрастировала с ее щедрым телом, поражающим своими женскими статями: могучие ляжки, обильные груди с огромными фиолетовыми сосками, увесистые ягодицы. В целом все эти округлости, столь тугие, что не ущипнуть, как бы образовывали систему фортификационных сооружений. Манеру же поведения она выбрала не слишком оригинальную: изображала этакую «девчонку-сорванца» – женский тип, ставший весьма распространенным после пары нашумевших романов. Дабы утвердить свою независимость, она освоила бухгалтерский учет и подвизалась как бы вольным бухгалтером, помогая кустарям-одиночкам, мелким дельцам и

предпринимателям свести баланс. Сама еврейка, Рашель, как я убедился, имела дело исключительно с соотечественниками, которые, конечно же, чужаку бы не доверились.

Могли бы меня оттолкнуть и цинизм Рашель, и ее склонность к разрушению, и некий умственный зуд, заставлявший ее постоянно пребывать в страхе перед скукой, но чувство юмора, умение тонко подмечать смешное в человеке или ситуации, заразительная веселость, благодаря которой она умела серенькую жизнь превратить в праздник, едва ли не излечивали меня от моей природной, уже привычной желчности.

Сейчас, когда пишу эти строки, я вынужден вновь осознать, чем была для меня Рашель, и у меня горло сжимается при попытке выговорить слова: я потерял Рашель. Рашель, не знаю, – любили ли мы друг друга, но сколько раз мы с тобой от души хохотали, а этого разве мало?

Именно так, в свойственной ей манере, со смешком, она отпустила шутку, которая стала посылкой, из которой мы оба, каждый сам по себе, вскоре сделали вывод, что нам пора расстаться.

Случалось, она подлетала, как ветер, бросала свою консервную банку на механика, чтобы тот что-нибудь подкрутил или просто заправил, а меня увлекала на верхний этаж с дежурной скабресной шуточкой, что хозяйку, мол, тоже неплохо бы подзаправить. В тот день, облачаясь после «заправки», она между делом бросила, что я трахаюсь по-простецки. Поначалу я подумал, что она осудила отсутствие у меня теоретической подготовки и практического опыта. Рашель уточнила. Она имела в виду исключительно мою торопливость: словно птичка, по ее словам, – раз, и готово. Потом она предалась сладостным воспоминаниям об одном из моих предшественников, разумеется, самом страстном из всех. Как-то он пообещал трахать ее всю ночь и честно исполнил обещанное: пахал до самого рассвета. «Правда, призналась Рашель, легли мы поздно, а ночи в ту пору были короткие».

В ответ я ей напомнил сказку про козочку господина Сегэна, которая почла делом чести биться с волком всю ночь и только на рассвете позволила себя сожрать.*

– Вот и представляй себе, – усмехнулась Рашель, – что, как только ты кончишь, я тебя сожру,

И тотчас Рашель, с ее черными бровями, раздутыми ноздрями, алчными устами, и впрямь показалась мне волчицей. Мы в очередной раз посмеялись. В последний. Уж я-то понял, что ее практичный умишко вольного бухгалтера успел оценить мои возможности, – разумеется, весьма невысоко, и теперь изыскивает очередную койку.

По-простецки... Этот упрек полгода ворочался в глубинах моего сознания. Я-то всегда думал, что наиболее распространенное половое расстройство это как раз *ejaculatio praecox*, проще говоря – неспособность кончить, затяжка полового акта. Рашель, однако, обвинила меня в прямо противоположном, тем выразив исконный конфликт между сексуальными партнерами – женщины ненасытны, им бы хотелось, чтобы половой акт длился бесконечно. Иначе они остро переживают свою ущемленность.

– Тебе наплевать, получу ли я удовольствие!

Вынужден это признать. Когда я наваливался на Рашель всем телом, чтобы ею овладеть, меня меньше всего заботило, что там творится под закрытыми веками в этой миниатюрной головке еврейского пастуха.

– Полакомился свежим мясом и полетел к своим железякам!

Опять чистая правда, как и то, что, утоляя голод ломтем хлеба, мы равно не заботимся ни о собственном удовольствии, ни о том, чтобы доставить его поглощаемой пище.

– Ты лопаешь меня, как бифштекс.

*Новелла из сборников рассказов А. Додэ «Письма с моей мельницы». – *Здесь и далее примеч. переводчика.*

Возможно. По крайней мере, если безоговорочно принять расхожее представление о том, что есть «настоящий мужчина». Это чисто женская придумка, превратившая ее беззащитность в грозное оружие. Начать с того, что в уподоблении полового акта приему пищи нет ничего унижающего – к подобной символике прибегают многие религии, прежде всего христианство с его причастием. Однако представление о «настоящем мужчине», – повторяю, чисто женское, – достойно пристального внимания. Согласно ему, мужественность измеряется половой потенцией, а последняя выражается в умении подольше затянуть половой акт. То есть, требуется самоотречение. Значит, потенцию здесь следует понимать в аристотелевом смысле – как противоположность акту. Таким образом, половая потенция как бы отрицает половой акт. Она лишь обещание акта: не слишком надежное, не всегда исполняемое уклонение, стремление оттянуть развязку. Выходит, что мужчина действительно бессилен, и впрямь беспомощен перед медленно, как цветок, распускающейся страстью женщины, разве что он пойдет у нее на поводу, забыв о себе, будет вкалывать, как проклятый, чтобы высечь хоть искорку радости из бесчувственной плоти, которая якобы предоставлена его власти.

– Ты не любовник, ты – людоед.

О, летние каникулы, о, замки! Стоило Рашель бросить эту фразу, как в моем сознании возник и тотчас завладел моей памятью образ маленького чудовища, одновременно и развитого не по годам, и не по возрасту инфантильного. Нестор. Я всегда предчувствовал, что он опять ворвется в мою жизнь. Собственно, он никогда ее не покидал, но после своей смерти и не слишком донимал меня. Так, юркой обезьянкой мелькнет там, сям, нет-нет, да и напомним о себе. Уход Рашель и начало моих мрачных записок возвестили мне, что он снова берет надо мной власть.

10 января 1938. Не так давно я разглядывал фотографии нашего класса. Те, что делают в июне, прямо перед распределением наград. Среди запечатленных там бандитских рожниц моя – самая несчастная и бледная. Я отыскал на фото Шамдавуана и Лютинье. Один, с по-дурацки подстриженной клоунской шевелюрой, строит гримасы; другой, с хитрым личиком, прикрыл глаза и, видимо, затаившись под покровом век, изобретает очередную проказу. Нестора же нет как нет, хотя тогда он еще несомненно был жив. А в общем-то, чему удивляться? Как раз очень в его духе смыться с церемонии награждения. Дело даже не в том, что она слегка смешновата. Главное для него было не замарать свою короткую жизнь обыденностью.

Мне уже исполнилось одиннадцать, я перешел во второй класс и теперь не чувствовал себя новичком в школе Святого Христофора. Прежде я был чужаком, терялся в непривычной обстановке, но и потом моя тоска не исчезла бесследно, напротив – затаившись под личиной спокойствия, она стала еще глубже, еще острее и словно бы безысходнее. В ту пору, помнится, я вел список всех своих невзгод и не ждал от жизни ничего хорошего. Я в грош не ставил учителей, а заодно и весь мир знаний, к которому они пытались нас приобщить. Меня просто тошнило от той духовной жвачки, которой нас потчевали взрослые. Вызывали омерзение – не до сих пор ли? – все писатели вместе с их произведениями, все исторические деятели, деяния которых мы изучали, все до единого учебные предметы. Лишь по крохам, роаясь в энциклопедиях, даже, случалось, листая школьные учебники по истории, французскому, я отыскивал насущное и из этих крупниц творил маргинальную культуру, собственный пантеон, где Алькивиад соседствовал с Понтием Пилатом, Калигула с Адрианом, Фридрих-Вильгельм I с Баррасом, Талейран с Распутиным. Когда о писателе или политике говорили каким-то особым тоном, – разумеется, осуждающим, но еще и особенным, – я тотчас наострял уши: вдруг да он мне подойдет. Не откладывая в долгий ящик, я предпринимал добросовестнейшее расследование, в результате которого мой пантеон пополнялся или нет.

Тогда я был тщедушным некрасивым пареньком, с гладкими черными волосами, обрамляв-

шими смуглое лицо, оттого чуть смахивающим на араба или цыгана; с неуклюжим костлявым телом, с неуверенными, неловкими движениями. Но и еще был во мне какой-то роковой ущерб, будивший стремление поиздеваться надо мной даже у самых трусливых, желание меня отлупить даже у самых хилых. Они сразу чуяли, что им неожиданно привалила удача над кем-то покуражиться, кого-то унижить. Стоило начаться перемене, как я оказывался поверженным наземь, и мне редко удавалось обрести вертикальное положение раньше звонка на урок.

Пельсенер был новичком в колледже, но крепкие мускулы и незамысловатость душевного устройства позволили ему сразу занять достойное место в классной иерархии. Последнему немало поспособствовал и несусветной ширины ремень, – со временем я сообразил, что ему довелось побывать конской подпругой, – со стальной пряжкой на три шпенька, опоясывавший форменную блузу. Когда этот крутолобый паренек, с непокорными светлыми лохмами, правильным невыразительным лицом, твердым взглядом прозрачных глаз, заткнув большие пальцы за ремень, приближался к стайкам одноклассников, он умел заставить с шиком поскрипывать свои подбитые гвоздями чоботы, которые, если очень постараться, могли даже высекать искры из брусчатки школьного двора. Пельсенер был чист душой, беззлобен, но и как бы беззащитен перед вторжением зла в душу. Как туземцы Океании умирали от безопасного для европейца вируса, так и он, стоило мне приоткрыть ему свои душевные бездны, тотчас исполнился злобы, жестокости и ненависти.

В школе вдруг распространилась мода на татуировки. Один экстерн приторговывал тушью и особыми перьями, позволявшими наносить рисунок, не поранив кожи. Мы часами выводили на ладонях, запястьях, ляжках буковки, всякие дурацкие словечки и рисуночки, вроде тех, которыми испещрены стены домов и сортиров.

Разумеется, и Пельсенер не остался равнодушным к всеобщему увлечению, но, видимо, ему не хватало воображения и сноровки, чтобы изобразить нечто достойное его высокого положения. По крайней мере, он сразу оживился, когда я, будто между делом, показал ему листок, где, постаравшись от души, запечатлел пронзенное стрелой, буквально истекающее кровью сердце, обрамленное надписью: «Я твой до гроба». Совсем добил я Пельсенера утверждением, что сей шедевр уже украшает грудь знакомого унтера Иностранного легиона. После чего предложил изобразить эту красоту на его левой ляжке, причем, с внутренней стороны: в глаза не бросается, но если захочешь показать, – всегда пожалуйста.

На операцию ушли все вечерние занятия. Устроившись под партой Пельсенера, я смог целиком отдаться работе, благодаря чувству товарищества одноклассников, заслонявших меня своими телами, учебниками и портфелями от бдительности надзирателя. Это был адов труд – расплюснутая сидением ляжка почти не оставляла простора для творчества.

Пельсенер, однако, остался весьма доволен результатом, но и слегка удивлен, что предпосланный пронзенному стрелой сердцу девиз гласил: «Я т. до гроба», притом, что «я» смахивало на «а». Не сморгнув глазом, я объяснил, что легионеры употребляют подобное сокращение с двойным прицелом: с одной стороны клянутся возлюбленной, с другой – восстают против Бога (мол, они до конца жизни будут атеистами). Навряд ли Пельсенер понял мои сумбурные разъяснения, но казалось, они его удовлетворили.

Однако лишь на сутки. Во время вечерней перемены Пельсенер отвел меня в сторонку с выражением лица, не предвещавшим ничего доброго. Наверняка кто-то успел его надоумить, так как он с места в карьер обрушился на меня из-за того таинственного сокращения.

– А. Т. – буркнул Пельсенер, – твои инициалы. Ну-ка, стирай свою писанину!

Полностью изобличенный, я решился сыграть ва-банк, осуществить то, о чем так давно и страстно мечтал. Я подошел к Пельсенеру, положил ладони ему на бедра и медленно,

вкрадчиво скользя по его знаменитой подпруге, сцепил их за его спиной. А потом прижался головой к его сердцу.

Пельсенер, видимо, просто оцепенел от такой наглости, поскольку позволил мне осуществить намерение. Но уже через миг, воздев свою десницу, – жест был столь же вкрадчив, как и мой предшествующий, – закатил мне оплеуху, сопроводив ее могучим тычком в грудь, каковой расторг наши объятия, а меня заставил прокатиться несколько метров кубарем. Затем он резко развернулся и удалился, высекая искры подошвами своих ботинок.

Познав таким образом счастье унижить ближнего, Пельсенер принялся меня изводить и травить по-всякому. Я же служил ему, как собака. Совершенно добровольно отдавал половину своего обеда, так как страдал отсутствием аппетита, с искренним наслаждением отмывал и надраивал каждое утро его несравненные чоботы, так как с детства обожал чистить обувь.

Но это было всего лишь удовлетворением жизненных потребностей. Его зараженная злом душа вождела более острых наслаждений, и он решил превратить меня в травоядное. Стоило начаться полуденной перемене, Пельсенер швырял меня в палисадничек, окружавший статую нашего небесного покровителя, садился на меня верхом, грубо задира подбородок и набивал мне рот травой, которую я был вынужден покорно жевать, чтобы не задохнуться. Вокруг нас всегда собиралась кучка любопытных, но сколько помнится, ни единый надзиратель ни разу не вмешался. А как ведь те были проворны, когда требовалось изобличить меня в каком-нибудь нарушении и наказать. Впрочем, достойны ли они того, чтобы таить на них зло и обиду?

Моя покорность могла иссякнуть только достигнув пика. Наступила осень, и школьный двор превратился в болото. Мелкие камешки, щебенка оказались погребенными под обманчиво мягким покровом опавших листьев. Мы и так были словно сироты – голодные, холодные, чумазные. А тут еще наша одежонка совсем отсырела, превратившись сперва в перепонку, потом в чешую и, наконец, в панцирь, совлекать который, к примеру, перед сном, была мука мученическая. А под ним – с души воротит – гусиная кожа, сведенные мышцы, скукоженный член. В тот вечер, помнится, наш класс расшалился не на шутку, возможно, из бессознательного протеста против адских условий. Безумствовали ребята вовсю, напоминая то ли шайку мародеров, то ли орду дикарей. Щедро награждали друг друга зуботычинами, подножками повергали противника в грязь, сплетаясь телами, катались по земле. Если не удавалось, падая, увлечь за собой соперника – не беда: поверженный не досадовал и не обижался, а попросту зачерпывал горсть грязи и метал ее в победителя, дабы тот не остался чистеньким. Я же тем временем прятался за колоннами галерейки, чтобы избежать нежелательной встречи, сулящей урон. Надо сказать, что ею могла оказаться почти любая. Но от Пельсенера я как раз не ждал беды, надеясь на то, что, имея столько возможностей подраться, не станет он руки марать о такого хилыка. Не почуял я ее, и когда столкнулся с Пельсенером, пытаюсь увернуться от пушечного удара мяча. Пельсенер изловчился упасть на одно колено, так как его брюки были почти чистыми – разве что подмаранными снизу, да и то лишь спереди. Смыться мне не удалось. Он схватил меня за шиворот, сунул под нос свое колено и приказал: «Чисть!» Поспешно присев на корточки, я принялся оттирать пятно своим сомнительной чистоты носовым платком. Тем временем Пельсенер свирепел.

– Почище тряпки не нашел? Тогда давай; языком!

Его нога вокруг колена была покрыта безупречно ровным слоем грязи, и на черном фоне ярко выделялась изощренной формы пунцовая рана чуть ниже коленной чашечки. Из нее сочилась кровавая струйка, у истока – цвета охры, по мере удаления от него все более темневшая, смешиваясь с грязью. Я аккуратно облизал рану по контуру, затем отплевался от песка и сора. У меня была прекрасная возможность изучить причудливую конфигурацию этого

бугорка с белесыми отрогами завернувшейся внутрь кожи. Я не удержался лизнуть ранку, быстро, но, видимо, недостаточно осторожно, так как коленная чашечка тотчас вздернулась от боли. Потом провел языком помедленнее. И, наконец, прильнул губами к краям раны, и уж не знаю, сколько продлилось наше лобзание.

Что было дальше – точно не помню. Видимо, у меня начались судороги, конвульсии, и меня отнесли в изолятор. Сколько помнится, болел я долго. Впрочем, повторяю, мои воспоминания о том событии весьма туманны. Зато помню точно, что учителя сочли своим долгом уведомить о нем моего отца. Вернее, о моей внезапной хвори. Разумеется, не раскрыв причины, разве что намекнув на несварение желудка в результате злоупотребления сладостями. Вряд ли они понимали всю глубину иронии, таившейся в этом разъяснении.

13 января 1938. Я часто повторял Рашель: «Существует два типа женщин. Женщина-безделушка – украшение жизни мужчины, которой любишься, которую можно погладить, переставлять с места на место. И женщина-пейзаж. В ее пространствах можно прогуливаться, осматривать их или даже в них заблудиться. Первая – горизонтальна, вторая – вертикальна, первая – болтушка, капризуля, требовательная, кокетливая. Вторая – молчунья, упряmica, собственница, мечтательница, злопамятная».

Рашель хмуро выслушивала, пытаясь отыскать в моих словах нечто для себя обидное. Тогда, чтобы ее рассмешить, я изобретал иные метафоры: «Существует два типа женщин, – повторял я. – Одни владеют домашним бассейном, другие – Средиземноморским». И я жестом показывал несравнимость величин. Тут Рашель улыбалась, но все же не без тревоги прикидывала, отношу ли я ее к крупномасштабным – к каковым она, несомненно, принадлежала.

Да, этот сорванец, этот шустрик, безусловно, относился к женщинам-пейзажам. Ей пристал Средиземноморский бассейн, тем более, что родители были уроженцами Салоник. Ее щедрые тела были уютны и радушны. Об этом я ей не сообщал, боясь вызвать вспышку гнева, – ведь Рашель относилась к речи, как к средству приласкать или обидеть, а отнюдь не выразить истину. Тем более я не делился с ней мыслями, которые у меня рождались, когда я поглаживал царившие над всем пейзажем ее тела могучие выпуклости бедер. Между ними пролегал, словно лощина, ее впалый живот, зябкий и тревожный. . . Я терзался вопросом: в чем же отличие мужчины от женщины? Разумеется, его следует искать не в этой низине – тут как раз больших различий нет. Главное отличие женщины? Его следует искать повыше, на уровне груди с гордо выставленными рождками сосков.

Не проясняет этот вопрос даже Библия. Если внимательно прочесть начало Книги Бытия, то в глаза тотчас бросится странное противоречие, вносящее неясность в священный текст. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. *И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. . .* Совершенно непонятно, отчего их вдруг стало двое – ведь Еву из ребра Адама Бог сотворит только во второй главе. Уместней тут было бы единственное число. *И сотворил Бог человека по образу Своему. И был тот человек, вместе и мужчина, и женщина. И сказал ему Бог: плодись и размножайся.* Позже, убедившись, что одиночество данного гермафродита непродуктивно, Бог погрузил Адама в сон и лишил не ребра, а бедра. То есть, речь идет о чисто женской примете, из каковой Бог и сотворил женщину.

Тогда становится понятным, отчего дамы стесняются именовать вслух половые признаки – ведь они сами и есть половые признаки. Столь увесистые половые признаки, что постоянно иметь их при себе для мужчин утомительно. Лучше уж отпустить погулять, а воссоединяться с ними только лишь при особой необходимости. Вот почему мужчина, в отличие от животного, постоянно держит свой прибор наготове и в любой миг способен пустить его в дело. Однако он всегда может избавиться от своего надежного друга, тем отличаясь от какого-нибудь

омара, который обречен коротать век с обеими клешнями. Рука у человека – хватательный орган, позволяющий ему вооружиться молотком, шпагой, пером. Но и член – своего рода хватательный орган, готовый вдруг вцепиться в, так сказать, половой признак.

Если мои рассуждения верны, тогда следует сурово осудить институт законного брака, призванный спаять, склеить намертво две прежде разлученные половинки. Бог разделил, а люди воссоединят? Дудки! Разумеется, все мы в большей или меньшей степени подпадаем под обаяние образа возлежащего ветхого Адама, снабженного всеми возможными гениталиями, который и встать-то вряд ли способен, не говоря уж о созидательном труде. Еще бы, ведь вся его жизнь – нескончаемое блаженство, непрерывный половой акт, в продолжении которого он одновременно и обладает и обладаем. Перерыв возможен – да и то еще вопрос! – только на период вынашивания плода. Выходит, что наш столь оснащенный прапредок тяжел на подъем еще и потому, что вмещает в себя не только женщину, но и дитя – на манер матрешки.

Картинка может показаться забавной. Меня же, прозревшего тщету брачного союза, она глубоко трогает, пробуждает некую ностальгию по сверхчеловеческому бытию, уже в силу своего совершенства неподвластному ходу времени, избавленному от старения. В Библии действительно описано грехопадение человека, но это отнюдь не происшествие с яблоком, которое, наоборот, символизирует переход человека, познавшего отличие добра от зла, на более высокую ступень существования. Падением человека стало расчленение единого Адама на трое – на мужчину и женщину, после родивших дитя. Вместо совершенного существа – трое бедолаг: ребенок, обреченный на вечное сиротство; женщина, постоянно страшась одиночества, вынужденная искать защитника; мужчина, проворный, деловитый, однако напоминающий низложенного правителя, проданного в рабство.

Единственная цель брака – воссоздать утраченное единство, возродить цельного Адама. Но неужто не существует другого способа, кроме столь дурацкого?

16 января 1938. К тому времени, когда я покинул школу Святого Христофора, старое здание уже четыре года, как пустовало. Все это пространство, одновременно и учебное, и религиозное, и тюремное, населяли разве что призраки прежде обитавших там учеников и священнослужителей. Нестор уже погиб, задохнувшись в подвале школы, но для меня он и сейчас живет живых.

Нестор был единственным сыном нашего консьержа, каковое положение, разумеется, доставляло ему немало выгод. Проживал он, как получалось, одновременно и дома, и в школе, пользуясь всеми преимуществами как интернов, так и экстернов. Отец частенько давал ему какие-то мелкие поручения, и тогда он запросто разгуливал по всему зданию, да еще поигрывая связкой ключей, которыми можно было отворить едва не любую дверь. К тому еще, после уроков он имел законное право прогуляться в город.

Но дело было даже не в преимуществах его положения, а в том, что это был именно Нестор. С годами меня все больше мучает вопрос, которым я в ту пору не задавался: что же из себя представляет эта грандиозная, гениальная, феерическая личность? То ли взрослый в облике ребенка, то ли – громадный младенец, которого он, кстати, напоминал фигурой? И не поймешь. Однако все, что мне удастся о нем припомнить, свидетельствует об удивительно раннем развитии Нестора. Правда, лишь в том случае, если он действительно был нашим ровесником. А как раз в этом-то у меня нет никакой уверенности. Может быть, наоборот, он был отстающим, умственно отсталым, вечным ребенком. Возможно, родившись в колледже, Нестор был неспособен его перерасти, был обречен навек в нем остаться. И как результат моих сомнений, вот оно – слово, которое буквально рвется из-под моей вооруженной пером руки: вечный. Я уже сообщил, что сам я вечен. Значит, Нестор, который и есть исток моей личности, не может быть подвластен времени.

Он был весьма тучным, даже, честно говоря, жирным, что придавало каждому его движению и всей повадке величавую неторопливость, к тому же делало непобедимым в схватках. Жары Нестор не выносил, холода боялся, а при умеренном климате постоянно потел. Отягощенный своим могучим интеллектом и обширнейшими познаниями, говорил он всегда неторопливо, собственно, даже не говорил, а вещал – продуманно, без намека на импровизацию. Изрекая очередной блистательный афоризм, которым мы были готовы восхищаться, даже не пытаясь проникнуть в смысл, любил воздевать указательный палец. Поначалу я думал, что он изъясняется исключительно цитатами из прочитанного, однако, узнав его поближе, понял, что ошибался. Среди товарищей Нестор пользовался непререкаемым авторитетом. Даже учителя его побаивались и делали поблажки, которые мне казались чрезмерными, пока я не осознал величие Нестора.

Первое проявление его привилегированности, коего я стал свидетелем, по правде, изрядно меня рассмешило, поскольку я еще не проникся духом угрозы, витавшим вокруг Нестора. В каждом классе у подножья кафедры стояла черная корзинка для использованной бумаги. Когда ученику хотелось в туалет, он поднимал руку с двумя растопыренными пальцами. После кивка учителя или надзирателя он подходил к корзинке, выхватывал оттуда бумажку и нырял в дверь.

Что Нестор пренебрег предписанным жестом, я не углядел, так как сидел спереди, но тотчас зауважал Нестора, наблюдая, с какой небрежностью он подошел к ящику, и тем более сценку, которая последовала. Нестор выбирал подтирку с невероятной придирчивостью. Сперва изучил комки, лежавшие на поверхности, но ни единый его не удовлетворил. Тогда он принялся шумно рыться в глубине ящика, разглядывая каждый лоскуток чуть не на свет, едва ли не читая, что там написано. Данное действие просто заворожило весь класс. Да и сам учитель заученно бубнил свою географию, перемежая речь все более длительными паузами. Мне бы обратить внимание на зловещую тишину, воцарившуюся в классе, нарушаемую только шелестом бумаги. Одноклассники были словно околдованы зрелищем. Но я-то новичок, потому, уткнувшись в парту, сотрясался от беззвучного хохота, пока сосед не пхнул меня злобно локтем. Тогда я не понял причину его злости, как и фразу, которую он пробормотал, когда Нестор, наконец, остановил свой выбор на тетрадке, испещренной рисуночками: «Ему наплевать, какая бумажка. Главное, что на ней написано и кто писал». Данное разъяснение, как и все последующие, не сумели приоткрыть мне тайну Нестора.

Аппетит у него был чудовищный, что я имел возможность наблюдать каждый день – обедал он с родителями, но завтракал вместе с нами, в столовой. За столами сидело по восемь человек, один из которых назначался «ответственным» и следил, чтобы у всех были равные порции. В течение многих месяцев я не устал удивляться, почему Нестор предоставил другому столь выгодный пост. Потом я понял, что так ему было даже удобней, поскольку «ответственный» мало того, что позволял ему вываливать на свою тарелку этак по четверти каждого блюда, но еще и норовил добавить, словно бы имел дело с языческим божеством, которое можно умиловить, уделив ему побольше съестного. Кстати, остальные сотрапезники против этого отнюдь не возражали. Нестор поглощал пищу быстро, серьезно, прилежно, прерываясь только затем, чтобы вытереть со лба пот, заливавший ему очки. Мордастый, задастый, толстопузый, он определенно смахивал на Сильвана. Казалось, только три процесса задают ритм его жизни и являются ее смыслом: питание-пищеварение-опорожнение. Однако это лишь на первый взгляд. Если же заглянуть глубже, что удалось только мне одному, истинным его призванием была расшифровка знаков. Вот дело его жизни, которому он служил, заставляя весь колледж плясать под свою дудку.

Знаки, их расшифровка... Какие это были знаки? Что за ними таилось? Если бы я смог

ответить, переменялась бы вся моя жизнь. Да что моя? Рискну утверждать, полностью уверенный, что никто никогда не прочтет моих записей: изменился бы весь ход человеческой истории. Притом, я убежден, что и сам Нестор не слишком продвинулся в своих изысканиях. Собственную же задачу я вижу лишь в том, чтобы пройти его путь след в след, а может быть, сделать и еще пару шажков, учитывая, что мне отпущен более долгий срок и я направляем тенью Нестора.

20 января 1938. Нестойкий я все же человек. Узнал хорошую новость, превосходную, и тотчас пришел в восторг. Потом оказалось, что произошла ошибка. Остался от благой вести один пшик. Вот так-то вот! Но порыв радости не прошел бесследно, сохранился некий след – так во время отлива отхлынувшее море оставляет на песке прозрачные лужицы, где отражаются небеса. Словно какая-то часть меня никак не желает осознать, что радоваться, как выяснилось, нечему.

Когда Рашель меня бросила, я особенно не горевал. Не только не переживал разрыв, как нечто ужасное, но даже считал его в чем-то и полезным, ибо он сулил большие жизненные перемены и был предвестием значительных событий. Однако же существовала и другая, та самая, нестойкая часть моей личности, или даже самостоятельная личность. Она долго еще не могла поверить, что мы с Рашель разошлись окончательно. Да эта личность и всегда-то была тугодумом, неповоротливой, злопамятной, желчной, вечно источающей слезы и сперму, глубоко привязанной к каждой из своих привычек, живущей прошлым. Долго-долго она не решалась осознать, что Рашель потеряна безвозвратно. Когда же осознала, тотчас разнюнилась. Эту наивную и чувствительную сущность, слегка глуховатую и подслеповатую, всегда готовую обмануться, горько переживающую утраты, я сберегаю в глубинах своего естества, как незаживающую рану. Конечно же, именно она заставляет меня обшаривать промозглые коридоры Св. Христофора в поисках следов маленького беспокойного привидения, мальчугана, затравленного всеобщей неприязнью, а еще более – дружеской привязанностью одного-единственного. Ах, если бы теперь, через двадцать лет, у меня была возможность взвалить его беды на свои плечи зрелого мужчины и даровать ему радость, радость без конца и края!

25 января 1938. Школа Святого Христофора помещалась в Бовэ и располагалась в старинных строениях цистерцианского монастыря, основанного в 1152 и упраздненного в 1785. От средних веков осталась лишь отреставрированная монастырская церковь, а сама школа в основном занимала огромное здание, построенное Жаном Обером в XVIII веке. Это немало-важное обстоятельство, так как дух суровости и угнетения, царивший в школе, несомненно имел истоком бывшее назначение и историю построек. Особенно остро он ощущался в довольно заурядном здании, выстроенном не ранее XVII века, куда пансионеры допускались в свободное от занятий время – по утрам, до того, как приходили экстерны, и по вечерам, после их ухода. Собственно, нам предоставлялась лишь балюстрада, галерка, с которой только и оставалось, что любоваться внутренним садиком; за ним прилежно ухаживал отец Нестора. Там произрастали сикоморы, отбрасывавшие летом траурные тени, а посерединке красовался облупленный фонтан, давно обжитый папоротником. Глухие стены, замыкавшие это пространство, делали его еще более угрюмым и словно бы душным.

В зеленой тюрьме, которую мы прозвали аквариумом, нам приходилось томиться по два раза в день, от чего были избавлены лишь экстерны, которые только и связывали нас с волей. Шумные игры, беготня были в аквариуме настрого запрещены, да как-то и не появлялось желания. Но это суровое правило давало возможность полутора сотням интернов, собранных на замкнутом со всех сторон, узком пятачке наконец-то пообщаться, прогуливаясь взад-вперед по тесному пространству, которое располагало к беседам еще более, чем часовня, столовая и спальня. Нестор редко навещал аквариум – я уже говорил, что ужинал он дома. Однако и там

чувствовалось его незримое присутствие, так как подручные Нестора, Шамдавуан и Лютинье, постоянно передавали его поучения и распоряжения. К ним приходилось прислушиваться, ибо, как правило, они относились к важнейшей сфере жизни Св. Христофора – весьма гибкой системе наказаний и освобождения от оных, – в каковой Нестор обладал необъяснимым всевластием.

Уж мне-то довелось испытать на собственной шкуре всю шкалу этих наказаний, постоянно пробегая ее из конца в конец. Побывал я в «дисбате», то есть среди приговоренных на различные сроки – от четверти часа до часа и более – молча крутиться волчком во время прогулки в аквариуме. Бывал я и «отверженным», которому вообще предписывалось молчание, если только к нему не обращался учитель или надзиратель, и «монументом», обреченным питаться за отдельным столиком, причем стоя. Но я был готов вытерпеть сколько угодно подобных издевательств, только бы не услышать леденящий душу приказ: «Тиффож, *ad solarium!*»*, что сулило невероятную муку и унижение. Чтобы его исполнить, приходилось прошмыгнуть пустынным коридором в прихожую кабинета инспектора, прямо посередине которой, напротив двери в кабинет, была установлена скамеечка для молитвы. Следовало преклонить на ней колени, затем взять обычно лежащий неподалеку колокольчик и начать трезвонить. Сейчас я понимаю, что коленопреклонение и звон колокольчика превращали данный вид наказания в подобие сатанинской мессы. По крайней мере благочестием здесь уж совсем не пахло. Противный трезвон, продолжавшийся от нескольких секунд до часа, делал кару тем более изощренной. Наконец, из кабинета, свирепо шурша сутаной и сжимая в левой руке «указ о помиловании», появлялся инспектор. Отвесив правой приговоренному звонкую оплеуху, он совал ему записочку, свидетельствующую об отбытии наказания, и тут же вновь исчезал в кабинете.

Правда, этих столь разнообразных мучений можно было избежать благодаря весьма хитроумной системе «зачетов». Получившим хорошие оценки или написавшим лучшие сочинения выдавались картонные билетки – белые, голубые, розовые и зеленые. Разные цвета указывали на их различную ценность. Святые отцы раз и навсегда установили: шесть часов провести в «дисбате» все равно, что сутки побыть «отверженным» или двое – «монументом», что в свою очередь искупалось первым местом за сочинение, или двумя вторыми, или тремя третьими, или же четырьмя баллами выше 16. Однако преступники, случалось, шли на муку, предпочитая сохранить «индულгенции», которые давали также право на «малую прогулку» (в воскресенье вечером) и даже на «большую прогулку» (на весь воскресный день).

Но, увы, столь блистательное порождение коллективного разума святых отцов, установивших точное соответствие проступков и заслуг, на деле оказывалось почти бесполезным, так как билетки выдавались именные – на каждом стоял личный номер учащегося и его мог использовать только сам отличившийся. А ведь таковые обычно были лучшими учениками, зубрилами, любимчиками учителей и надзирателей – им и так не грозили «дисбат», «*solarium*» или пребывание в шкуре «отверженного». Чтобы справиться с данным противоречием, требовался без преувеличения весь гений Нестора.

2 февраля 1938. Целый день стягивал и вновь натягивал свою шину. Завтра постараюсь и вовсе избавиться от этой дурацкой штуковины, слегка напоминающей обручальное кольцо, разве что более неудобной и менее символичной. Она, словно чужая рука, вцепилась мне в пальцы и противится, норовит покрепче ухватиться, когда пытаешься расторгнуть наше рукопожатие.

8 февраля 1938. Подчас следует дождаться самой глухой ночи, чтобы с темного неба,

*Здесь: оплеуха (лат. из греч.).

наконец пал луч надежды. Именно solarhus нежданно осенил меня благодатью, которая не оставляет меня и по сю пору.

В углу класса, куда я забился, вдруг завязалась какая-то возня. Даже и не помню, принимал ли я в ней участие, но с высоты подиума пало грозное: «Тиффож, ad solarhum!», и тотчас по рядам пробежал шелест злорадства, который всегда сопровождал подобное наказание. Я в ужасе вскочил и направился к двери в напряженной тишине, порожденной четырьмя десятками затаенных дыханий. Стоял декабрь, преддверье холодов. Я уже слегка успел оправиться от издевательств Пельснера, который после моего возвращения из изолятора старался даже не смотреть в мою сторону. Двор затопили влажные сумерки, в которых, однако, за черным рядом каштанов можно было различить слева пустынную галерею, а в глубине – горделивый силуэт сортира, своего рода жертвенника, постоянно алчущего мальчишеских возлияний. Я пнул ногой мячик, позабытый у подножья галереи. Черные блузы, висящие на обшарпанной вешалке, казались семейством летучих мышей. Нежелание жить нарастало во мне, как беззвучный вопль. Этот затаенный крик, задавленный вой рвался из моей души и входил в ритм с вибрацией окружающих предметов. Словно могучий ураган увлекал нас – их и меня – к небытию, к смерти, сбивал меня с ног. Я присел на порог галереи, обхватив колени. Два эти квадратноголовых близнеца с лысым шишковатым черепом, вечные спутники моего одиночества, были мне подобны. Я провел губами по запекшейся болячке» нарушавшей ромбовидный узор кожного покрова, кое-где запачканной грязью, местами покрытой сухой коркой с въевшейся щебенкой. Я с наслаждением втягивал ее привычный запах. Я вдруг понял, что рухнул на самое дно мрака и приземление было столь жестким, что я был все еще оглушен им, когда поднимался по лестнице, ведущей к месту казни. В прихожей царили сумерки. Не зажигая свет, я преклонил колени на скамеечке. Единственное, что можно было разглядеть в комнатке, это выделявшуюся на белой стене ярко намалеванную картину с изображением Страстей Господних, где римский воин бичевал Христа в терновом венце. В ту пору я был еще не искушен в искусстве разгадывать знаки, потом ставшем делом всей моей жизни, и не понял символики. Это теперь я умею различить, пускай даже в мерзком облике замордованного человека, образ униженного Иисуса.

В отдалении ухнул колокол. Затрещал паркет. Угрюмый свет сочился из-под двери кабинета. Я весь скрючился на скамеечке, затаив дыхание. Шли минута за минутой, а я никак не мог решиться начать трезвонить ad solarhum. Да и где же колокольчик? Я попытался его нащупать в темноте, и вскоре мои пальцы коснулись деревянной ручки, к которой крепится медная юбочка. Я поднял эту увесистую и коварную штуковину осторожным движением, словно то была спящая змея. Моя тревога немного утихла, когда я накрепко стиснул язычок, Он был из кованого свинца, с выемкой посередке, гладкий, как человеческая плоть, что свидетельствовало о долгих годах беспорочной службы. Передо мной успела пройти вереница зареванных мордашек тех школяров, для которых данный предмет послужил орудием пытки во время многочисленных solarhi, когда колокольчик вдруг выпал из моей руки. Он отскочил от обитого тканью подлокотника и с ураганным грохотом покатился по полу. Тотчас распахнулась дверь кабинета и комнатушку залил свет. Я закрыл глаза и замер в ожиданий оплеухи.

Однако вместо карающей длани моей щеки с ласковым шелестом коснулось нечто нежное и воздушное. Когда я наконец решился открыть глаза, передо мной стоял гримасничающий и ухмыляющийся по своему обыкновению Шамдавуан, протягивая мне свидетельство об отбытии наказания, которым он и пощекотал только что мою щеку. Затем Шамдавуан попятился к двери кабинета, слегка обозначив насмешливый реверанс, и, одарив меня уже в щель прощальной гримасой, скрылся в кабинете.

Я разглядел листок: самый настоящий, с подписью инспектора.

Когда я вернулся в класс, голова у меня раскалывалась, как после целой пары colaphus'ов. Я не понял, что произошло, и, разумеется, был далек от мысли, что в тот миг по навалившейся на меня гранитной плите рока пробежала первая трещинка. С того памятного дня он уже не проявлял себя как нечто слепое и неизбежное, заведомо враждебное, нарушающее плавный ход жизни. Мне не раз приходилось убедиться, что он почти всегда кстати вторгается в мое повседневное существование.

Однако описанное происшествие стало лишь символическим предвестием грядущих перемен. Прошло немало времени, прежде чем свершилось событие, совершенно переменившее мое положение в Св. Христофоре и положившее начало новой эры в моей жизни.

Каждый год на Вербное воскресенье для интернов устраивали праздник окончания зимы – вылазку «на природу», венчавшуюся пикником. Я и вообще-то терпеть не мог принудительные выходы за ворота Св. Христофора, где моя тоска будто отогревалась, свернувшись в клубок. Это же путешествие было мне и вовсе омерзительно. В подобных случаях нас делили на две группы. Владельцы велосипедов, словно кавалерия в старой армии, составляли авангард. Этим счастливицам, на зависть остальным, предстоял более дальний поход под водительством юного пастыря, тарахтевшего на велосипеде с моторчиком. Я, разумеется, оказывался среди пехоты, которая тащилась пешком немало километров под надзором целой своры злобных надзирателей.

Вот-вот должен был прозвучать сигнал к отбытию, но тут случилось происшествие, взбодравшее весь колледж. Вдруг появился Лютинье с новеньким велосипедом Нестора, превосходной, гранатового цвета со светло-желтым узором машиной марки «Альсион», с рулем из хромированной стали, левый рог которого украшало зеркальце, а правый – огромный звонок. К этому еще следует добавить надувные шины с белой боковиной, багажник, на котором был укреплен задний фонарик, и совсем уж диковинку по тем временам – целых три шестеренки для переключения скоростей.

Конечно, мы ожидали, что Лютинье присоединится к кавалерии. Ничуть не бывало. Он пересек школьный двор, на брусчатке которого велосипед подпрыгивал, как норовистый жеребец, подкатил его прямо ко мне, затерявшемуся в рядах пехоты, и вручил машину, буркнув:

– Держи. Нестор велел передать.

Я был не менее поражен, чем мои однокашники, которые тотчас сочли меня отъявленным пройдохой, умело скрывавшим дружбу с Нестором. Ведь всякому понятно, что только близкого друга он удостоил бы подобного триумфа. Человеку, не посвященному в тонкости школьного быта, конечно же, не понять всей значительности свершившегося события, о котором я и сейчас, четверть века спустя, вспоминаю с восторгом и гордостью.

Всю следующую неделю Нестор, казалось, не обращал на меня никакого внимания. Школьный же этикет не позволял мне надоедать ему своими благодарностями. Однако в субботу, во время большой вечерней перемены, когда экстерны уже разошлись по домам, ко мне подошел Лютинье, дабы оповестить, что отныне мое место будет за другой партией, и помочь перенести пожитки.

Вообще-то право определять, где кому сидеть, принадлежало исключительно инспектору, который прилагал все силы, чтобы выделить наиболее неприятное для него место, – к примеру, подальше рассадить друзей, а лентяев и рассеянных мечтателей, норовящих затаиться на последних рядах, усадить на первый. Только один Нестор безнаказанно нарушал данное правило, сам выбирая, где и с кем ему сидеть. Он избрал себе самое укромное в классе местечко, в левом углу, возле окна. Чтобы иметь возможность неотрывно разглядывать школьный двор, Нестор приподнял свою парту, подложив под нее деревянные чурки, и заменил ближний к

нему квадратик матового окна прозрачным стеклом. Согласно полученному приказу, который мог быть отдан только самим Нестором, мне отныне предписывалось сидеть с ним за одной партой, по правую руку от него. После шока, в который повергла школу история с велосипедом, никто не удивился моему переезду, напротив – все, включая учителей и надзирателей, его с нетерпением ожидали.

С тех пор я находился под надежной, хотя и незримой защитой. Не проходило недели, чтобы я не обнаруживал в своем шкафчике какой-нибудь гостинец. Ливень наказаний, обрушившийся на мою голову, неожиданно иссяк. Если какому-нибудь старшекласснику случалось меня обидеть, на следующий день он почему-то оказывался в синяках. Но это были мелочи по сравнению с тем сиянием, которое изливал на меня Нестор во время всех классных занятий. Казалось, что под тяжестью его непомерного веса классная комната как бы склонялась в сторону того угла, где он восседал. По крайней мере для меня истинным центром класса был именно левый его угол, а уж конечно не подиум, откуда ораторы один глупей другого изливали свои пустые слова.

12 февраля 1938. Заходил клиент со своей дочкой, девочкой пяти-шести лет. Прощаясь, девчурка протянула мне левую руку, за что ее немедленно отругали. Я всегда замечал, что дети в возрасте до семи лет – разумнейшем из всех возрастов! – словно побуждают нас протянуть им левую руку. Sancta simplicitas!* В своей детской мудрости они понимают, что наша правая рука замарана множеством грязных рукопожатий. Что она не раз побывала в лапах убийц, священников, шпигов, как шлюха в койках у богатеев. Тогда как левая рука, скромная и неприметная, соблюдала себя в чистоте будто весталка, для рукопожатий невинных. Не забыть: детям до семи лет всегда протягивать левую руку.

16 февраля 1938. Нестор постоянно испещрял одну за другой тетради рисунками и записями. К сожалению, ни одной из них мне не удалось завладеть, дабы сохранить для человечества. Любое его высказывание меня потрясало, хотя их смысл оставался для меня мало доступен. Да и сейчас, больше чем через двадцать лет, те из них, что запали мне в память, я не рискнул бы пересказать своими словами. Тот период моей жизни, не такой уж и долгий, но глубоко запавший в душу, столь очевидно связан с моими последующими мытарствами, что давно пора бы разобраться, что в меня заронил Нестор, а в чем я сам виноват.

В общем-то, мне достаточно бросить взгляд на левую руку, бойко выписывающую вязь букв, из которых складываются мои «мрачные» заметки, дабы убедиться, что я истинный наследник Нестора. Именно ее он частенько лелеял в своей могучей влажной длани. Моя хилая костлявая ручонка, хрупкая, как яичко, доверчиво покоилась в уютных объятьях, конечно же, не представляя, какую силу они ей даруют. Вся мощь личности Нестора, его всевластной и разрушительной мысли, влились в мою руку и день за днем водят ею. Значит, я не единственный автор мрачных записок – они наше совместное творение. Из яичка вылупился птенец, то есть, моя мрачная рука с толстыми волосатыми пальцами и широкой, как лопата, ладонью, которая, казалось, призвана спознаться только лишь с карданным валом, а отнюдь не с авторучкой.

Сжимая мою кисть своей правой рукой, Нестор писал и рисовал левой. Был ли он левшой? Возможно, но я в своей гордыне предпочитал думать, что он готов терпеть неудобство только ради того, чтобы постоянно чувствовать мою руку. Но вот в одном я уверен действительно: по-настоящему мы сроднились с Нестором лишь с того дня, несколько месяцев назад, когда я вдруг со священным трепетом обнаружил, что моя левая рука безо всякой подготовки начала уверенно выводить на листе букву за буквой, причем, почерком нисколько не похожим на мой

*Святая простота! (лат.)

праворукий.

Я оказался обладателем двух почерков: праворуким – благопристойным, деловым, призванным скрыть индивидуальность, подменив ее социальной маской, и леворуким – мрачным, искаженным своеобразием гениальной личности, с прозрениями и провалами, короче говоря, подлинным порождением грандиозной мысли Нестора.

18 февраля 1938. Когда я обнаруживаю на приборном щитке сданной в ремонт машины медальончик со Св. Христофором, я всякий раз вспоминаю нашу школу и умиляюсь настойчивости некоторых лейтмотивов, сопровождающих всю мою жизнь. Иные из них случайны и несерьезны. Этот, как и Нестор, как и профессия автомеханика, коим покровительствует великан Христоносец*, был из самых насущных. Существуют и другие. К примеру, мое смуглое лицо и гладкие черные волосы, что я унаследовал от своей матери, которая была похожа на цыганку. Меня никогда не занимали генеалогические изыскания, моя жизнь и без того до отказа набита символами. Но не удивлюсь, если в хозяйстве ее предков водились кибитки и лошади.

Даже мое имя Авель казалось мне случайным до того мига, когда я обнаружил в Библии, что так звали первого убиенного в человеческой истории. Авель был пастухом, Каин – пахарем. Пастух – кочевник, пахарь – оседлый. Вражда между Авелем и Каином, то есть исконное противоречие между кочевником и оседлым, или, точнее, изничтожение оседлыми кочевников, наследуется из рода в род с начала времен до наших дней. И эта ненависть к кочующим отнюдь не смягчается, чему свидетельство – позорные и позорящие правила, которые приравнивают цыган к преступникам-рецидивистам. Чего стоят хотя бы таблички, украшающие деревенские околицы: «Становиться табором запрещено».

А ведь Каин был проклят, и это проклятие, как и ненависть к Авелю, тоже передается из рода в род. Господь возгласил: и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, чтобы принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем. Таким образом, Каин был приговорен к самой тяжелой для себя каре – ему предстояло самому стать кочевником, каким был Авель. Каин, однако, ослушался Господа. Скрывшись подальше от Его глаз, он основал город Енох – первый на земле.

Таким образом, пахари не искупили свой грех, значит, проклятье тяготеет над ними и поныне, что еще больше их ожесточает против братьев-кочевников. В наши дни земля уже не может прокормить земледельца, и мужик, собрав пожитки, вынужден покидать родные края. Уже век, как толпы бывших пахарей кочуют с места на место, лишенные важнейшего из гражданских прав – избирательного, поскольку существует ценз оседлости. Следовательно, остается неучтенным мнение значительного числа граждан, всей этой неукорененной, текущей массы, наверняка разнящееся с мнением оседлых жителей. Потом эти новые кочевники обретаю оседлость в крупных промышленных центрах, становясь городским пролетариатом.

Что до меня, то я затаился среди благонамеренных обывателей, изображая из себя оседлого. Разумеется, я не кочую, но не случайно ведь посвятил себя ремонту автомобилей, то есть уходу за механизмами, предназначенными именно для преодоления расстояний. Я спокойно выжидаю, пока небеса не переполнятся грехами оседлых жителей и не обрушатся им на голову огненным ливнем. Тогда все дороги будут наводнены беженцами, уносящими ноги, как то было предначертано Каину, подальше от своих проклятых городов и наделов, которые больше не будут давать им силу. Я же, Авель, разверну крылья, таящиеся под моим рубищем автомеханика, оттолкнувшись пятой от их воспаленных голов и воспарю к звездам.

*Св. Христофор (Христоносец) считается покровителем путешественников.

25 февраля 1938. Как-то раз Нестор достал из парты квадратную картонную коробочку и поднес к моему уху. Я услышал негромкий вибрирующий звук, напоминающий рокот самолета, летящего на большой высоте. Мой друг при этом разглядывал меня своими насмешливо прищуренными глазами сквозь толстенные, как линзы, очки. Затем он положил ее на парту. Почти сразу коробочка, подскочив, встала на угол и, поклонившись, начала элегантно пританцовывать с количественной неторопливостью. По мере того, как она клонилась к поверхности парты, жужжание становилось все громче и басовитей. Наконец, коробочка совсем легла на парту и, несколько раз повернувшись вокруг своей оси, замерла. Тут я заметил на ней надпись, которая гласила: *Изобретено в 1852 году знаменитым физиком Леоном Фуко, как доказательство вращения земли...* Нестор открыл коробочку и торжественно произнес: «Это гироскоп, ключ к совершенству». Штуковинка состояла из двух перпендикулярно скрепленных стальных колец с общим центром. Внутри одного из них помещался довольно массивный диск из красноватой меди, пронзенный посередине стержнем, два острия которого входили в противоположные пазы второго кольца, устанавливая для него единую с диском ось вращения. Нестор продел веревку в отверстие на стержне, обмотал ее вокруг него, а потом резко рванул за другой конец. Диск раскрутился с уже знакомым: жужжанием. Потом Нестор вытряс из коробочки крошечный макетик Эйфелевой башни, водрузил гороскоп на самое острие, и тот вновь затеял свой изящный танец, ухитряясь сохранять равновесие. Незамысловатый приборчик, созданный из деталей простейшей геометрической формы, совершал обороты все более торжественно и плавно в странном противоречии с бешено вращающимся диском. Так маленькой птичке, чтобы лететь помедленнее, а тем более оставаться на месте, приходится как можно быстрее махать крыльями.

Башенка подрагивала на парте с басовитым рокотом, который, разумеется, привлек любопытство одноклассников и надзирателя. Но Нестору на это было наплевать. Он сидел в пол-оборота ко мне, подперев голову, и завороченно наблюдал за танцем гироскопа. «Космическая игрушка, – бормотал он. – Вот она, разгадка земного притяжения... Тебе, Моявель, кажется, что вращается гироскоп. Но он-то как раз неподвижен! Это ты сам, Св. Христофор, вся Франция кружатся в танце. Только одна эта машинка умеет избежать всеобщего коловращения! Она – ось, вокруг которой мы вращаемся. Не бойся, возьми ее в руки». Нестор снял приборчик с подставки и протянул мне. Я сжал штуковинку в кулаке, гордясь тем, что способен овладеть таящейся в ней великой силой, и едва ли не смирить коловращение вселенной.

– Попался, лягушонок! – воскликнул я.

– Сам ты глупый Лягушонок, – осадил меня Нестор. – Ты усмирил только крошечную машинку, Земля же вращается, как ни в чем не бывало. Гироскоп в твоей руке – точка покоя, вокруг которой ты сам несешься вместе с Землей. Дай-ка его сюда. Я нахожу в нем точку опоры, когда уж совсем опостылит жизненный круговорот. Это мое карманное совершенство...

28 февраля 1938. Видимо, именно они, воспоминания детства, в которые я погружен вот уже два месяца, виной тому, что теперь никак не могу отвязаться от одной нелепой песенки. Эту колыбельную, заставлявшую мою душу съеживаться от ужаса, забившись в темнейшую из своих пещер, монотонно напевала старушка Мария, баюкая меня дождливыми вечерами:

*Когда я мечтаю
Я вся увядаю
Так жутко страдаю
Как будто спадаю*

*С высокой вершины
В ущелье кручины
Стремлю я полет –
все кругом, и кругом, и кругом идет
Ведь если мечтаю
Я вся увядаю...*

2 марта 1938. У него была привычка говорить не разжимая губ. Учитывая привилегированное положение Нестора, невозможно было предположить, что он боится ушей учителей и надзирателей. Причиной была его постоянная скрытность. Случалось, он долго разглядывал меня с насмешливым прищуром, а потом произносил изречение, туманность которого погружала меня в пьяный восторг.

– Наступит день, – предрекал он, – и все они уйдут. Только ты останешься со мной, даже когда я уйду. Ты не лучше других и не умнее, но ты мне верен, как никто в Святом Христофоре. В конце концов, я сам уже стану не нужен, и это будет превосходно.

Или вот еще что он изрек, приобняв меня:

– Это тщедушное тельце я засеваю своими семенами. Ты должен выбрать наилучший климат, чтобы они проросли. Ты поймешь, что цель твоей жизни – проращивать их и холить, несмотря на испытываемый ужас.

Только теперь я понял смысл пророчества, которое возгласил Нестор, оттянув мне книзу подбородок:

– Придет час, и эти мелкие зубки превратятся в могучие клыки, и грозное лязганье твоих челюстей, Моявель, приведет весь мир в смятенье.

Другое его пророчество и сейчас для меня невнятно. Возможно, мне его разъяснят назревающие события. Он-то их предчувствовал уже тогда, судя по высказыванию:

– Если барабанить и барабанить в дверь, то рано или поздно ее отворят. Или же, что еще лучше, приоткроют соседнюю, в которую и не собирался ломиться.

Или еще изречение:

– Наша цель – слить, воедино альфу с омегой.

На моих глазах Нестор читал только одну книгу – роман Джеймса Оливера Кервуда «Золотой капкан». Если урок был уж очень занудный, он принимался, не разжимая губ, шпарить из него наизусть страницу за страницей. Вот что он шептал мне на ухо, словно поверяя сокровенную тайну: «Если ты спустишь пирогу в озеро Атабаска и по речке Мира поплывешь на север, то достигнешь полноводного Невольничьего озера, а потом течение реки Макензи донесет тебя до самого Полярного круга...» Героя звали Крик. Это был могучий дикарь, помесь англичанина, индейца и эскимоса, который в одиночку пересекал суровые ледяные пустыни на санях, запряженных волками. Для Крика «по волчьей выть» было вовсе не метафорой: «Крик любил задирать свою могучую голову к небесам, выпуская свирепый рык во всю мощь легких и глотки», – повествовал Нестор. «Сперва он напоминал раскат грома, но потом переходил в пронзительный жалобный стон, далеко разносившийся по безлюдной пустыне. Этим воплем человек-зверь призывал своих серых братьев, созывал волчью свору...» Обычно ответом ему был рев арктического ветра, но не всегда. Иногда в ответ звучала «музыка сфер, те таинственные и мелодичные звуки, которыми северная аврора возвещает свой восход, подчас пронзительные, свистящие, иногда ласковые, как мурлыканье котенка, в которое еще временами вплетается бархатистое пчелиное жужжание».

С воплем Крика, с воем волков и выюги, с музыкой арктических сфер в затхлый и тесный мирок Святого Христофора словно врывается иная жизнь, по-звериному свежая, белоснежная

и девственная, как небытие. Мне в реве Крика слышался тот беззвучный вопль, который я испустил на пороге галереи, где сидел декабрьским вечером, прежде чем отправился – или же мне так привиделось? – *ad solaphum*. Но когда его описывал Нестор, этот рев делался богаче, полнозвучней и невозможно было противиться столь могучему призыву. Мой друг со страстью повествовал мне о том, как свистит пурга в ветвях сумрачных елей, об угрюмой бездне, таящейся под снежной гладью замерзшего озера, о мерном похрупывании снегоходов, о волчьих стаях, выходящих на свой жуткий ночной промысел, а также и о полузанесенных снегом бревенчатых избушках, где по вечерам усталые трапперы разводят пламя, чтобы отогреть тела и сердца.

Прошли годы, но меня до сих пор преследует тот смрадный дух, в котором задыхалось мое детство. Канада навсегда останется для меня краем свободы, где мои напасти кажутся смешными и ничтожными. Решусь ли я когда-нибудь написать, что разорвал все путы? Придет час, наступит твой час, Моявель!

6 марта 1938. Выстоял очередь в полицейском участке, чтобы обменять техпаспорт. Вереница угрюмых людей с покорной обреченностью томилась у окошек, где злодействовали сварливые уродливые гарпии. Как раз повод помечтать о тиране, который одним росчерком пера упразднит всякие удостоверения личности, справки, свидетельства, короче, все бумажонки, ценность которых – если предположить, что она вообще имеет место, – не искупает трудов и нервов, потраченных на то, чтобы пройти через этот бюрократический кошмар.

Правда, следует признать, что редко когда институты существуют без молчаливого согласия широких масс. Обычно даже по их воле. Взять смертную казнь. Казалось бы, кровавый пережиток времен дикости? Как выясняется, отнюдь нет – все опросы общественного мнения подтверждают приверженность граждан подобной мере наказания. Соответственно и бюрократические бумажки отвечают некой общественной потребности, или по крайней мере простейшему страху: превратиться в животное. Бумажка как бы удостоверяет, что ты именно человек. Люди без гражданства или незаконнорожденные страдают ни от чего иного, как от отсутствия нужной бумажки. Данные соображения побудили меня сочинить маленькую притчу.

Жил-был один человек. Как-то у него случились неприятности с полицией. Дело удалось замять, но в участке сохранился протокол, который при случае мог быть извлечен на свет. Наш незнакомец решил его выкрасть. Для этого он проник в комиссариат, что на набережной Ювелиров. Однако, не располагая достаточным временем, чтобы отыскать нужный документ, он отважился покончить со всей полицейской «бухгалтерией» разом, подпалив здание при помощи канистры с бензином.

Удача первого опыта, как и убежденность в том, что бумажки суть абсолютное зло, подвигли имярек взять на себя миссию освободителя человечества от оных. Вручив свою судьбу очередным канистрам, он проникал в один за другим полицейские участки, мэрии, комиссариаты и т. д., предавая огню все протоколы, учетные книги, картотеки. Поскольку он трудился в одиночку, ему это сходило с рук.

Но вот что он заметил: в тех округах, где ему удалось свершить свой подвиг, люди стали ходить понурые и вместо слов их уста производили только мычание. Короче, они начали превращаться в животных. В конце концов он понял, что, желая сделать людей свободными, он вернул их на нижние ступени эволюции, поскольку бумажка и есть человеческая душа.

8 марта 1938. За ужином нам позволялось поболтать. Всего-то, казалось бы, полторы сотни мальцов устраивали в столовой невыносимый гам, причем постоянно возраставший *propter* – ведь, чтобы тебя слышали, надо было перекричать каждого и всех вместе. Когда ор достигал своего предела, то есть его постоянно надстраиваемое здание как бы уже упиралось

в потолок просторного зала, надзиратель разом рушил его, пронзительно дунув в полицейский свисток. Воцарялась грозная тишина. Потом от стола к столу проносился шепот, вилки начинали скрести о тарелки, звучал сдавленный смешок, вновь сплеталась паутина разнообразных шорохов и звуков, в общем, все начиналось по новой.

За обедом, когда к нам присоединялись полупансионеры, доводя количество едоков уже до двух с половиной сотен, предписывалось молчание. Нарушителям грозил «дисбат», а повторным – еще и обратиться в «монумент». Один из учеников становился за водруженный на подиум пюпитр и услаждал нас назидательными историями, обычно извлеченными из жития Святого Христофора. Для того чтобы поучения дошли до наших ушей сквозь звон посуды и невнятный гул голосов, он был вынужден возглашать фразу за фразой *recto tono*, то есть безо всякого выражения, как пономарь. Этот странный речитатив, начисто лишенный обычных разговорных интонаций – вопросительной, иронической, гневной, смешливой, – был напористым, торжественным и ноющим одновременно.

Должность «сказителя» считалась среди школяров весьма почетной и приравнивалась к самым наивысшим наградам. Вызывала восхищение способность «сказителя» в течение сорока пяти минут без усталости молотить тарабарщину. Да и мог ли облеченный сим званием не пользоваться почетом, если он даже обедал раньше всех, в гордом одиночестве, причем пища ему подавалась более изысканная и обильная, чем остальным?

Я, разумеется, после всех своих *sobrius*-ов и помыслить не смел, что удостоюсь подобной чести, и растерялся, даже стухнул, когда одним прекрасным утром мне сообщили, что я по всем правилам назначен «сказителем» и приступаю к своим обязанностям прямо с ближайшего обеда. При этом мне вручили книгу «Жития святых» Якова Ворагинского, из которой мне предстояло прочитать отрывок о Святом Христофоре.

Я и тогда не сомневался, что тяжкий груз славы обрушился мне на голову лишь благодаря Нестору, но только теперь, когда многое познал и еще раз перечитал те потрясающие страницы, которые был вынужден декламировать пред лицом всего колледжа, я понял, сколь точно он их выбрал. Правда, не уверен, что мне хватит всей жизни, чтобы до конца осознать глубинное родство легенды о Святом Христофоре с судьбой Нестора, который во мне обрел единственного наследника и душеприказчика.

Христофор, повествует Яков Ворагинский*, был ханаанцем огромного роста и зверского обличия. Он мечтал стать царским слугой и служить самому могучему властелину в мире. Наконец он предстал пред очи царя, считавшегося величайшим из всех. Царь ласково принял Христофора и взял в услужение. Но как-то раз властитель удивил Христофора, перекрестив себе лоб, после того, как в его присутствии помянули дьявола. На недоуменный вопрос Христофора царь отвечал: «Этот знак отгоняет дьявола. Я перекрестился, чтобы он на меня не напал и не навредил мне». Тут Христофор понял, что его хозяин не самый могучий властелин, потому что боится дьявола, и, покинув царя, отправился на поиски дьявола. Углубившись в пустыню, он повстречал большой отряд воинов. Один из них, самый грозный и страшный, спросил у Христофора, куда тот держит путь. «Я ищу царя дьявола», – отвечал Христофор. «Ты уже нашел его», – сказал дьявол. Христофор обрадовался и поклялся вечно ему служить. Идут они вместе по дороге и вдруг дьявол увидел придорожный крест. Он ужасно перепугался и тотчас свернул с пути. Пришлось и Христофору следовать за ним по бездорожью. Когда они вновь вышли на дорогу, изумленный Христофор спросил дьявола, что его так напугало. «Сын человеческий, по имени Христос, был распят на кресте, – ответил дьявол. – С тех пор когда я вижу крест, на меня нападает ужас и я стараюсь убежать подальше». – «Выходит, не

*Яков Ворагинский (1228-1298) – итальянский агиограф.

нашел я еще самого великого владыку, – сказал ему на это Христофор. – Не стану я тебе служить. Пойду искать властелина Христа, который более могучий царь, чем ты».

После долгих поисков Христофор наконец встретил святого отшельника, который поведал ему о Иисусе Христе и наставил в вере. Отшельник сказал Христофору: «Царь, которому ты хочешь служить, требует от своих слуг соблюдать пост». Христофор сказал отшельнику: «Погляди, какой я здоровенный. Мне надо много пищи. Пускай царь Иисус потребует от меня все чего пожелает, только бы мне не поститься». Тогда отшельник спросил Христофора: «Знаешь ли ты бурную реку, переправляясь через которую, люди рискуют погибнуть?» – «Я знаю такую реку», – отвечал Христофор. Тогда отшельник сказал Христофору: «Ты большой и сильный. Ты поселишься вблизи этой реки и будешь переводить через стремнину всех путников. Это и станет самой лучшей службой властелину, которого ты для себя избрал». Христофор сказал отшельнику: «Такая служба мне по силам. Царь Иисус будет мной доволен».

Расставшись с отшельником, Христофор отправился к бурной реке и построил себе на берегу хижину. Посох ему заменила длинная жердь, которой он ощупывал дно, переводя путников через поток. Много дней он трудился без устали. И вот как-то раз, когда он прилег отдохнуть в своей избушке, ему вдруг послышался детский голос: «Христофор, переправь меня через реку». Христофор тут же вышел из хибарки, но на берегу никого не было. Однако не успел он вернуться в избушку, как вновь услышал ту же просьбу. Он вновь поспешил на берег и опять никого не нашел. Только на третий раз Христофор увидел стоящего на берегу маленького мальчика. Христофор посадил его на плечи, взял свою жердь и ступил в реку. Вдруг вода в реке начала прибывать, а мальчик оказался тяжеленным. Вода все прибывала и мальчик становился все тяжелей. Обремененному непомерным грузом Христофору уже показалось, что он вот-вот захлебнется. . .

Только собрав все силы, сумел он донести мальчика. Спустив его на землю, Христофор посетовал: «Я едва не погиб из-за тебя. Мне было так тяжело, будто весь мир навалился мне на плечи. Ничего тяжелей мне не доводилось нести». – «Истинно так, – отвечал ему мальчик. – Ты не только весь мир нес на плечах, но и его создателя, ибо я и есть Иисус Христос, тот Царь, которому ты служишь. Дабы не усомниться в моих словах, сделай, как я велю: вонзи свой посох в землю рядом с избушкой и увидишь, что наутро он покроется листьями и принесет плоды». Сказав так, Он исчез. Христофор вновь пересек реку и воткнул свою жердь перед входом в хижину. Проснувшись утром, он увидел, что его посох и впрямь покрылся листьями и финиками. . .

Признаться, я был весьма горд, что отбарабанил легенду о Святом Христофоре без единой запинки, и, заняв во время урока свое законное место рядом с Нестором, ожидал от друга выражений восторга. Однако Нестор, уткнувшись лицом в листок бумаги, был поглощен очередным рисунком, которые он мог часами раскрашивать и обогащать все новыми подробностями. Когда Нестор наконец оторвался от своего занятия, я обнаружил, что он изобразил Святого Христофора, только взвалившего на плечи вместо одного мальчика, все здание нашей школы, из окон которой выглядывало множество мальчишеских лиц. Нестор достал платок и, утерев привычным движением пот со лба, прошептал: «Христофор искал самого могучего властителя, а им оказался мальчуган. Важнее всего уяснить, что существует прямая связь между тяжестью мальчика и тем, что зацветает посох».

Только тут я заметил, что великана Христоноса Нестор наделил своей внешностью.

11 марта 1938. Дневниковые воспоминания, которым я предаюсь уже больше двух месяцев, обладают странным свойством представлять все мои поступки, события моей жизни в каком-то новом свете, позволяющем увидеть их четче и ясней. Даже неслучайность своего имени Авель я до конца осознал только 18 февраля, сделав запись в дневнике. Так и всякие

мелкие привычки, которых подчас стыдишься, которые представляются нелепыми, я, кажется, сумею понять и изжить, посвятив им несколько строк в дневнике.

Взять, к примеру, крик, который я испускал по утрам, до тех пор, пока моя правая кисть не стала отвечать невыносимой болью на малейшее усилие. В этом вопле сочетались и выражение отчаянья и обряд его одоления. Я ложился на пол ничком, расставив ступни, потом, отталкиваясь руками от пола, приподнимал верхнюю часть туловища, выворачивал голову к потолку и вопил, что есть мочи. Это было нечто вроде могучей отрыжки, выпускаемой всеми кишками разом, и долго-долго kloкотавшей в глотке. В ней звучала вся скука жизни и вся тягость смерти.

Сегодня утром, не имея возможности свершить обряд кричания, я изобрел другой, который, может быть, назову «сортирным омовением» или, возможно, «полосканием в дерьме». Надо сказать, что только еще продирая глаза, я уже чувствую во всем теле основательное отвращение к жизни. Но это бы ничего, если бы меня не ожидала скорая встреча с зеркалом, каковая приносила мне каждый день все большее разочарование. Не знаю почему, но меня не оставляла надежда, что за ночь моя внешность волшебным образом переменялась, и я увижу в зеркале совсем другое лицо. К примеру, в нем отразится доверчивая и вдумчивая мордочка косули с зелеными миндалевидными глазами. С каким наслаждением я поиграл бы своими чуткими ушами, резвость которых оживляла бы застывший лик.

В зеркале, однако, отражался мой всегдашний облик. Лицо выглядело даже еще желтей и угрюмей, чем обычно. А так – все те же запавшие глаза с черными косматыми бровями, крутой низкий лоб посредственности, щеки с двумя морщинами, словно промытыми ручьями горячих и горьких слез. Сегодня утром вид у меня был невыспавшийся, подбородок в щетине, зубы в зеленоватом налете. Все, не могу больше! С криком: «Что за рожа! Ну что за рожа!» я вцепился обеими руками в шею и попытался отвинтить себе голову. Потом, не выдержав прилива омерзения, понесся в уборную, встал на колени перед унитазом, сунул в него голову и дернул за цепочку. Тотчас мне на голову, как нож гильотины, с грохотом обрушился ледяной водопад. После такого купания я почувствовал себя освеженным, успокоенным и слегка смущенным. Помогло-таки! Непременно повторю.

14 марта 1938. Большая перемена бывала самой шумной. Доносившийся со двора, где резвилась толпа мальчишек, затянутых в черные, обшитые красным галуном блузы, шум голосов сливался в единый могучий гул. Мы с Нестором (я – сидя на подоконнике, он – опершись о него) наблюдали за новой игрой, завораживающей своей жестокостью. Мальчуганы полегче становились всадниками. Они взбирались на плечи своих могучих однокашников, превратившихся в лошадей. Каждая пара старалась опрокинуть наземь всех остальных. Вытянутые руки наездников становились копиями, направленными в лицо врагу, или вдруг превращались в багры, захватывающие вражеские шеи, дабы повергнуть противника ниц. Захваченному таким образом неудачнику обычно предстояло спознаться с жестким гравием, но, случалось, что он сражался до конца: почти касаясь затылком земли, покрепче сжимал ногами шею своего коня и норовил вцепиться в ляжки жеребцу противника.

Нестор, окинув поле битвы с видом превосходства, на которое ему давала право позиция над схваткой и, как всегда, ни к кому не обращаясь, изрек очередную мудрость: «Школьный двор – это замкнутое игровое пространство. Призывая к разнообразным играм, оно, по сути, предназначено для единственной – расшифровывать знаки, которыми его, словно чистый лист бумаги, испещряют различные игры. Трудность понимания возрастает обратно пропорционально размерам данного пространства. Если бы оно вдруг стало сужаться, знаки бы наезжали друг на друга, прет вращая текст в невнятицу. Наконец было бы достигнуто предельное сгущение. Как расшифровать единый знак, в который сольются все? Возможно,

теснота аквариума или, даже скорее – спальни наведет меня на разгадку».

В этот миг куча-мала наездников, разумеется, с конями вместе, рухнула на жесткую почву двора и тотчас рассыпалась. «Ну-ка, Моявель, – воскликнул Нестор, охваченный приливом воинственности, – зададим им жару!» Просунув свою могучую голову меж моих тощих ляжек, он поднял меня, как пушинку, а потом крепко ухватил за руки, чтобы я не выпал из седла. Таким образом, свободных рук у нас не осталось, но Нестор в них и не нуждался, целиком уповав на свой огромный вес. И впрямь, – ворвавшись на поле битвы, он понесся по прямой, как разъяренный бык, все сметая на своем пути. Добежав до решетки, Нестор развернулся и попытался повторить свой подвиг. Но противники уже успели оправиться от неожиданности. Оставшиеся неповерженными конники решили стоять насмерть. Столкновение было ужасным. Очки Нестора разбились вдребезги. «Я ничего не вижу, – шепнул Нестор, отпустив мои руки, – направляй меня». Я схватил Нестора за уши и попытался, как удилами, поворачивать: его в разные стороны. Однако Нестор вскоре предпочел иную тактику: чтобы освободиться от вцепившихся в него всадников, он принялся вращаться на месте с резвостью, неожиданной: для его комплекции. Я же хватал нападавших за шиворот и те валялись, как кегли. Наконец, все супостаты были повержены. Вокруг нас образовался кружок восхищенных зрителей. Какой-то малыш робко протянул мне аккуратно собранные осколки очков Нестора.

Нестор встал на колени, склонив голову, чем живо напомнил мне слона, спускающего на землю своего погонщика. В этой позе он на миг замер с блуждающей мечтательной улыбкой и выражением такого счастья, какого еще никогда при мне не излучало его лицо. Забыв привычным движением вытереть обильно струившийся по лбу пот, даже не попытавшись вновь водрузить на нос свои очки, потому все еще слепой, Нестор возложил мне руку на плечо. Мы оба бросили взгляд на рамку окна, из которого наблюдали за сраженьем, прежде чем самим ринуться в бой. Долго еще Нестор стоял в молчании с блаженным, немного глуповатым видом, а потом произнес: «А я и не знал, Лягушонок, какое счастье нести на плечах ребенка».

15 марта 1938. Одна из моих маленьких радостей – чистить обувь. Под шкафом я прячу сапожный ящик, где хранится множество щеток с щетиной разной жесткости, тряпочек из натурального льна, не говоря уж о баночках с гуталином любого оттенка – начиная с черного и кончая белым, бесцветным. Мне нравится каждый день менять цвет своих ботинок, придавая им нужный оттенок с помощью умелой дозировки сапожного крема. Мое правило: чистить их на ночь, чтобы утром оставалось только навести глянец. Но еще большее наслаждение, чем чистить башмак, мне доставляет ощупывать его поверхность, шарить рукой внутри него. Лапы у меня здоровенные – пальцы профессионального душителя, ладони, что лопаты говночиста. Очень неуютно чувствуют себя мои ручищи на белой скатерти или на листе бумаги. И в свою очередь неуютно в моих лапах серебряной чайной ложечке или карандашу, постоянно рискующими быть сломанными, как спичка.

На прошлой неделе, проходя мимо мусорного бака, я обнаружил в нем чоботы. Рваные, драные, все прогнившие, униженные донельзя, – прежде чем выбросить, бедолаг даже лишили шнурков, – башмаки лежали, высунув язычки и тараша пустые глазенки. Я взял их из мусорной кучи, со скупой мужской лаской своими ороговевшими большими пальцами прижал отваливающиеся каблуки, остальные же пальцы погрузил в их сокровенное нутро. Мне показалось, что эта жалкая рвань словно ожила от моего дружеского прикосновения, и не без сердечной муки я вернул чоботы в мусорный ящик.

В своей конторе, в письменном столе, я тоже держу малый набор для чистки обуви, состоящий из баночки с бесцветным кремом, грубой щетки, чтобы счищать грязь, мягкой для наведения глянца, и еще бархотки. Если посетитель засидится и мне наскучит, я достаю все принадлежности и начинаю неторопливо натирать свои ботинки. Сначала прямо на ногу,

потом снимаю и водружаю их на стол. Преимущество бесцветного крема заключается в том, что, когда чистишь им обувь, можно и даже должно обходиться без щетки. Какое счастье зачерпывать пальцами эту белесую, полупрозрачную, терпко пахнущую массу и втирать ее в кожу, напивать ею все поры, каждую складку, промазывать швы! Со стороны посетителя было бы просто свинством мешать мне предаваться любимому занятию, дарующему бодрость, чувство свободы и покоя.

Мои руки обожают обувь, если можно так выразиться, даже страдают, что они не ноги. Так девочки-переростки переживают, что не родились мальчиками.

16 марта 1938. Угнездившись, как всегда, в своем углу и сжимая правой рукой мою левую, Нестор насмешливо глянул на меня сквозь свои очки, сделавшиеся еще более устрашающими после того, как он заменил утерянный осколок полоской лейкопластыря, и шепнул:

– Ты знаешь барона Адреца?

Ну, разумеется, нет. Откуда бы мне знать барона? Но Нестор и не ожидал ответа.

– Сейчас расскажу тебе о нем. Звали барона Франсуа де Бомон, он был владельцем замка Ла Фретт в Дофине. Это было в XVI веке, когда религиозные войны давали возможность храбрецам попытать удачу.

Как-то раз на охоте Адрец и его егеря загнали медведя. Деваться зверю было некуда, так как за его спиной простиралось ущелье. Затравленный зверь бросился на одного из охотников, но тот успел выстрелить и они в обнимку рухнули в снег. Стоявший поблизости барон бросился было на помощь своему слуге, но вдруг замер, пораженный удивительным зрелищем: человек и раненый медведь, не разжимая объятий, медленно сползали в пропасть. Барон был заморожен их неторопливым движением к смерти. Когда черная масса наконец рухнула в ущелье, оставив лишь серый след на белом снегу, Адрец испустил вопль восторга.

Через несколько часов егерь предстал перед бароном, окровавленный, израненный, но живой, тогда как медведь убит насмерть. Охотник почтительно поинтересовался у барона, отчего тот вдруг раздумал его спасти. Адрец мечтательно улыбнулся, как от сладчайшего воспоминания, и произнес таинственную и грозную фразу: «Никогда не думал, что падающий человек столь великолепен».

С тех пор барон не отказывал себе в удовольствии наблюдать падения. Воспользовавшись суматохой, царящей в стране, раздираемой религиозными войнами, он захватывал католиков в протестантских провинциях и протестантов – в католических, для того, чтобы их низвергнуть. Низвержение сопровождалось изысканной церемонией: узнику завязывали глаза и заставляли танцевать под звуки виолы на ничем не огражденной вершине башни. Барон же сладострастно любовался, как человек приближается к пропасти, удаляется от нее, вновь приближается и, наконец, с криком ужаса срывается вниз на воткнутые у подножья башни копыя.

У меня никогда не являлось желания проверить историческую достоверность повествования Нестора. К чему? Тут была очевидна психологическая, а бы сказал, несторическая достоверность. Свой рассказ о мрачных утехх барона Адреца Нестор не сопровождал никакими пояснениями, однако позже бросил фразу, которая, как я сейчас понимаю, перекликалась с историей барона: «Миг, когда человек по случайности открывает в себе извращение, которым тайно страдал, несомненно, самый пронзительный в его жизни». Еще припоминаю, что он употребил, причем одобрительно, словечко, которое мне показалось мудреным: эйфория. «Адрец открыл в себе кадентную эйфорию», – заметил Нестор, после чего надолго задумался над столь непривычным словосочетанием, возможно, подыскивая более точное определение овладевшей бароном неведомой страсти.

20 марта 1938. В утренней газете я обнаружил список 2783 лиц, исчезнувших бесследно в течение прошедшего года. Разумеется, некоторые из них попросту сбежали от семейных

обязанностей или опостылевшей супруги. Однако многие стали жертвами преступления, причем убийцы позаботились уничтожить «основную улику» посредством огня, земли или воды. Если еще учесть, что самые коварные убийства не отличить от «естественной кончины», то можно догадаться, в сколь кровавом обществе мы обретаемся. Поскольку обычно все бывает шито-крыто, нам ежедневно приходится пожимать руки душителям или отравителям, короче говоря, руки, замаранные убийством. Юстиция занимается, по сути» неудавшимися преступлениями, то есть теми, которые не удалось утаить. Ничтожное количество заведенных дел об убийствах – не больше дюжины за год – призвано удостоверить, точнее, создать видимость, что в нашем обществе уважается человеческая жизнь.

На самом же деле наше общество располагает ровно такой юридической системой, которую заслуживает общество, где процветает культ убийства. Обратите внимание на таблички с названиями улиц. Они просто пестрят именами выдающихся вояк, то есть профессиональных убийц да еще самых кровавых в нашей истории.

22 марта 1938. Несмотря на то, что старинная монастырская церковь была давно отреставрирована, на службы и молитвы нас водили в современной постройки часовню, убранную и расписанную в византийском стиле. По будним дням мы посещали ее всего дважды – для утренней и вечерней молитв. Зато по воскресеньям и церковным праздникам – целых семь раз. Нам приходилось еще присутствовать на обедне, торжественной мессе, вечерне, повечерии и при явлении Святых Даров. У каждого из нас было свое гнездышко – постоянное место. Поскольку места разнились открывавшимся обзором, то и здесь существовала своя иерархия размещения, правда, несколько отличная от принятой в учебном классе. Вообще-то высшей кастой считались певчие – случалось, их вызывали на спевки прямо с урока, что давало счастливым право на академические поблажки. Однако во время службы они размещались на хорах, под ложноготическим витражом, вокруг фисгармонии, на которой упражнялся аббат Пижар, каковое их положение не представлялось завидным, если не считать возможности лицезреть сверху все наши затылки разом. Именно Нестор обратил мое внимание на преимущества подобного обзора и даже поделился планом найти предлог, дабы завладеть местечком на хорах. Но то был лишь порыв, о котором он тут же позабыл. Жалею, что не запомнил точно услышанное как-то от Нестора рассуждение о хорале, где он противопоставлял осуществившееся в хорале строгое, словно архитектурное, согласие с разрушительным, дионисийским согласием, царящим на школьном дворе.

Как раз певчие послужили для меня причиной некоторого потрясения, в самом метафизическом смысле, которое Нестор основательно высмеял, изрядно вправив мне мозги, в чем я насущно нуждался. Мне казалось само собой разумеющимся, что удостоиться столь великой чести, как петь в церкви, могут только лучшие из лучших, прилежнейшие из прилежных, столпы добродетели, почти святые. Однако выяснилось, что если добродетель и не служила препятствием при отборе достойных облечься в белый стихарь, то важнее все же были совсем иные качества. Истина оказалось столь постыдной, что святые отцы признались бы в ней разве что под пыткой. Дело в том, что в певчие отбирались одни красавчики. Понятно, что прилежные уродцы отменялись сразу, но отбор на этом не заканчивался – его целью было подобрать смазливых мальчуганов на любой вкус: блондинов и брюнетов, худощавых и коренастых, розовощеких ангелочков и бледнолицых аскетов, изнуренных праведников и невинных резвунчиков.

Короче, Нестор открыл мне глаза. Он еще не раз обращался к данной теме, но главное, что мне запомнилось, это его упрек святым отцам (казалось бы, профессиональным наставникам юношества) в непонимании, что любой мальчик прекрасен лишь в той мере, в какой он принадлежит тебе, а принадлежит тебе он лишь в той мере, в какой ты ему служишь. Помещая

мальчика Иисуса на свои плечи, Христофор одновременно Его похищал. В том и явилась вся благодать Христа, что Он это дозволил. Иисус был увлечен могучей силой, которая благоговейно, с великим трудом, поддерживала Его на поверхности бурных вод. Все же величие Христофора заключалось в том, что он стал одновременно и вьючной скотиной, и подобием дароносицы. Этот переход через реку сочетал в себе послушание с похищением. Разумеется, обязанности душеприказчика заставляют меня делать рассуждения Нестора более внятными и наделять страстью большей, чем он в них вкладывал, но точно помню его попытку разглядеть в маленьком певчем образ Иисуса и стремление повергнуть прелата к стопам своего служки.

Именно там, в «византийской» часовне, рок впервые явил себя, что послужило как бы генеральной репетицией разыгравшейся вскоре трагедии.

Я, как обычно, сидел в предпоследнем кресле ряда, а по левую от меня руку, у самого бокового прохода, который в этом месте становился совсем узким из-за выступавшей исповедальни, восседал Нестор. Необычным было новое соседство – по правую руку от меня уселся Бенуа Клеман, юный парижанин, которого родители «сослали» в Бовэ подальше от столичных соблазнов. Нас, провинциальных дикарей, он мгновенно покорила, демонстрируя одно за другим свои сокровища, вещицы одновременно мужественные и романтические – револьвер с барабаном, компас, нож с фиксатором, чертика в бутылке. Теперь я даже задаюсь вопросом – не у него ли Нестор выманил гироскоп, свое, как он его называл, «карманное совершенство»? Но несомненно, что между мальчиками зародилось сообщничество, если не дружба, что, по мнению Клемана, давало ему право на фамильярность по отношению к Нестору, которая меня весьма угнетала по двум причинам: во-первых, я попросту ревновал, а во-вторых, мне казалось, что она унижает моего друга. Они частенько о чем-то торговались, чем-то обменивались. Я не стремился участвовать в их делишках, убеждая себя, что Нестора интересуют только богатства Клемана, а стоит им иссякнуть, как он тут же потеряет к новичку интерес и поставит его на место.

Мое местоположение между юными дельцами несколько не мешало им торговаться. Едва началась служба, как они принялись оживленно переговариваться через мою голову, не обращая на меня ни малейшего внимания. Разумеется, я не пропустил ни единого слова, да, собственно, данная сделка уже не единожды обсуждалась при мне. Нестор выторговывал у Клемана зажигалку, сделанную из лимонки времен Мировой войны. Клеман требовал за нее десять белых билетиков, каковая плата казалась Нестору чрезмерной. «Знаю я эти зажигалки, – делился он со мной после очередного торга, – они никогда не пашут». Чтобы проверить качество данного товара, требовалась хотя бы капля бензина, а раздобыть его мог только Нестор.

Как раз тем воскресным утром Нестору это наконец удалось, и только лишь окрепли величественные звуки, сопровождавшие Дароприношение, он передал через меня Клеману драгоценный пузырек. Клеман тут же принялся переливать бензин в набитую ватой лимонку, что требовало особой осторожности еще из-за вечно шнырявших по центральному проходу семинаристов-надзирателей. Нестор, внимательно наблюдавший за столь ответственной операцией, наверняка предотвратил бы несчастье, если бы его не отвлек отец-попечитель, который, взобравшись на кафедру, начал свою проповедь столь необычно, что потрясенный Нестор, казалось, вмиг позабыл и Клемана, и лимонку, и пузырек. Слова, произнесенные отцом-попечителем, я потом не без труда отыскал в «Опытах» Монтеня, где он их позаимствовал, пересказав анекдот о португальском конквистадоре XV века Альфонсо Альбукерке. «Во время свирепого шторма, елейно повествовал пастырь, Альбукерк посадил себе на плечи мальчика-юнга, чтобы их судьбы стали нераздельны. Конквистадор верил, что это отведет от

него божий гнев – дабы не губить невинное дитя, Бог и ему дарует прощение».

После данного вступления святой отец без всякого перехода обратился к удивительному приключению нашего небесного покровителя святого Христоносца и последовавшему за сим воздаянию в виде зацветшего посоха. Трудно предположить, уверил нас пастырь, что во время шторма Альбукерк вспомнил подвиг Святого Христофора и попытался оному. подражать, хотя ему наверняка было известно, что Христофор, как, впрочем, и любой святой, покровительствует землепроходцам и мореплавателям. Нет, вероятнее всего – и это самое поразительное! – что святой и конквистадор независимо друг от друга вверили свою судьбу ребенку, совершив одинаковое деяние: они обременили свои плечи грузом, но то был груз благодати, бремя невинности. Покровительствуя, они подпали под покровительство, спасая – спаслись!

– Чешет, как по писаному, – услышал я вдруг шепот Нестора. – Небось, сочинил, записал и вызубрил слово в слово. Здорово бы пригодился такой манускрипт для моей коллекции.

Святой отец тем временем и нас, школяров, приплел к похождениям Христофора и Альбукерка.

– Поскольку все вы находитесь под покровительством Святого Христофора, то отныне и присно обязаны миновать стремнины зла, усаемые своею добродетелью. Не забывайте, что именуясь Пьером, Полем или Жаком, вы одновременно зоветесь Детоносцами, – Пьером-Детоносцем, Полем-Детоносцем, Жаком-Детоносцем. А тому, кто обременен сим священным грузом, не послужат препятствием ни реки, ни бурные моря, ни даже пламя преисподней.

В этот миг под креслами нашего ряда пробежал огненный ручеек, образовав пылающую лужицу в центральном проходе. Клеман, увлеченно заряжавший свою лимонку, не заметил, как пролил бензин на пол. Когда же он попытался высечь огонь, залитая горючей жидкостью граната тотчас вспыхнула, и Клеман выронил ее из рук. Школяры в панике повскакивали со своих мест, семинаристы же наоборот рухнули на колени, полагая, что им явлено чудо. У дверей началась давка. Клеман сунул мне пузырек, мешавший ему сражаться с лимонкой, которая каталась под скамьями, разбрызгивая огненные искры. Я обернулся к Нестору и обнаружил, что тот бесследно исчез. Наконец, опомнился попечитель, зычный глас которого призвал присутствующих к спокойствию и порядку. Да в общем-то, перепугались мы понапрасну – как известно, чем пламя ярче, тем его легче сбить. В результате ущерб, причиненный пожаром, ограничился парой обгоревших молитвенников, что, однако, несколько не умаляло вины поджигателей. Обвиняющий перст проповедника указал на преступников, тут же ставших «отверженными». Клеману и Тиффожу надлежало преклонить колена в центральном проходе. Когда мы предстали перед учителями и одноклассниками, по рядам пронесся шелест ужаса, так как орудия преступления были налицо: Клеман сжимал в руке лимонку, я – пузырек с бензином, и явившийся источником всех бед. Дабы показать, что инцидент исчерпан, попечитель во весь голос затянул *credo*, поддержанный певчими, сначала робко и вразнобой, потом все более полнозвучно.

Когда же мальчики, один за другим, огибая нас с Клеманом, потянулись к клиросу за причастием, занавеска исповедальни всколыхнулась, оттуда выскользнула легко узнаваемая тень и замешалась в толпу жаждущих причаститься. Нестор едва не коснулся меня, пробираясь к алтарю – со скрещенными руками, уткнув в грудь свой тройной подбородок, весь погруженный в думы.

25 марта 1938. Каждую ночь я боролся со сном, так как в другое время невозможно было ни помечтать, ни поразмышлять, то есть почувствовать себя личностью. Только ночью можно было, наконец, побыть в одиночестве после гама, царившего на переменах и в столовой, который на уроках и в церкви сходил на шелестящий шепоток. По ночам нам не возбранялось выходить в уборную, так что при желании можно было совершить ночную прогулку, каковым

правом я не злоупотреблял, опасаясь столкнуться нос к носу с местным лунатиком, без которых не обходилась ни одна спальня, как ни один замок без собственного привидения.

Страх предстать перед педсоветом, усугубленный чувством одиночества, преследующим «отверженного», и вовсе лишил меня сна. Встав с постели, я пробирался вдоль вытянувшихся в ряд кроватей, когда понял, что встреча с привидением неминуема. Сперва я услышал шорох шагов, а потом увидел огромную тень, движущуюся с остановками. Она склонялась к кроватям, разглядывала спящих, а затем продолжала свое прихотливое движение. Мне не пришлось долго вглядываться, чтобы распознать в ней Нестора, облаченного в ватник, делавший его еще массивнее. Конечно же, и он меня сразу узнал, судя по тому, что мое, казалось бы, неожиданное появление нисколько его не смутило и не заставило хотя бы на миг отвлечься от своего занятия. Даже подойдя вплотную, Нестор не проявил ко мне ни малейшего внимания, если не считать таковым произнесенного вполголоса рассуждения. Возможно, оно адресовалось мне, но обычно он подобным образом разговаривал сам с собой:

– Вот она, точка предельного сгущения. Игра стянулась в узел. Движение замерло, обрвав позы, которые, конечно, меняются, но крайне медленно, так что это неважно и есть знаки, которые необходимо расшифровать. Из всех них можно вывести единый и совершенный – альфу-омегу. Но как? Да и является ли точным знаком поза спящего? Все они здесь, до единого, каждый наг и бессознателен. Но какая-то часть их бытия от меня ускользает. Они здесь, но одновременно и отсутствуют, так как померк их взгляд. И все ж не в этих, ли потных, покинутых мыслью телах сжатие достигло своего предела?

Освещенный тусклым голубоватым светом ночников, рядок кроватей напоминал череду озаренных луной могил. Некоторые мальчики дышали с присвистом – так свищет студёный ветер в ветвях кипарисов. Воздух был тяжелым и спёртым, как в хлеву, поскольку наши наставники, потомки пикардийских и брейских крестьян, считали сквозняк источником всех болезней. Мы добрались до уборной, куда Нестор, к великому моему удивлению, затащил меня вместе с собой. Потом он щелкнул задвижкой и распахнул во всю ширь окно. Контуры городских крыш и колоколен четко выделялись на фоне мерцающих небес, словно начертанные тушью. Колокола Сент-Этьена заунывно отбили три часа. После затхлого воздуха спальни свежий ночной ветер показался нам ледяным. Тут Нестора охватило; вдохновение: «Сгущение полно великих тайн, – возгласил он, – потому что оно и есть сама жизнь. Но и пустота в свою очередь несет благо. Неодолимая сила влечет нас к пустоте, то есть к небытию, из которого все мы вышли». Нестор обернулся ко мне и вскричал с неожиданной страстью: «Она, вот эта еловая дверка с ерундовым запором, отделяет бытие от небытия!»

Унитаз из потемневшего дерева, зачем-то вознесенный на постамент из двух ступенек, горделиво красовался в глубине комнатки, словно настоящий трон. Нестор повернулся ко мне спиной и неторопливо, будто совершая некий обряд, поднялся по ступеням. Приблизившись к «трону», он спустил штаны, которые легли на пол, обвившись вокруг его ступней. Затем он заглянул внутрь унитаза, снял с жестяного крючка веничек из рисовой соломки и принялся надраивать им вазу, время от времени нажимая на рычаг, чтоб спустить воду. Сзади мне были видны лишь его могучие напряженные ягодичы. Меня не столь поразили их размер, и так очевидный, сколько их, если можно выразиться, одухотворенность. Как бы это сказать? Два его огромных полушария, обезображенных свисавшими складками жира, излучали удивительную наивность, даже более – нечто, по первому впечатлению вовсе чуждое натуре Нестора: доброте. Прежде я благоговел перед авторитетом и всемогуществом Нестора, был ему признателен за покровительство, за постоянные знаки внимания, но полюбил Нестора, лишь повидав его ягодичы, в которых выразилась вся его внутренняя ранимость и незащищенность.

Наконец, закончив работу, Нестор повернулся ко мне. Ватник доходил ему до пупа. Его

пузо и ляжки образовывали три волны белесой студенистой плоти, в которых утонул крошечный член. Воссев на «трон», Нестор тотчас обрел облик самоуглубленного и отрешенного индийского мудреца, такового Будды. Затем он продолжил прерванный монолог.

– Я ничего не имею против общего сортира, который во дворе, – сообщил Нестор. – Он создан для быстрого оправления. нужды одновременно многими. Подобное отправление я не назову неблагочестивым, но все же оно и не религиозно. Пойми тонкость! Необходимость присесть на корточки, как и все неудобство данной позы, требует смирения. Но с другой стороны, приседание – действие обратное коленопреклонению, поскольку колени, вместо того, чтобы упираться в землю, уставлены в небеса. Книзу же устремлена омега, и сама земля словно помогает акту испражнения, притягивая самую сходную с ней часть нашего тела.

Нестор воздел палец.

– Но отсюда не следует, что в нашем организме нет ничего, более подобного земле. Нет, поселяющиеся в его жарких недрах микробы неторопливо создают подлинную землю, ибо что есть дерьмо, как не земля, напитанная энергией живого организма. Недостаток очка заключается в том, что живая, органическая земля, порожденная нашим телом, мгновенно смешивается с землей минеральной. Очко пригодно для материалистов. Натуры же изысканные находят неиссякаемый источник наслаждения в созерцании форм, изваянных омегой, которые нередко используют скульпторы и даже архитекторы. Утонченные души влечет возвышенное удовольствие, которое дарует «трон», особенно ночью, когда вокруг властвует покой и умиротворение.

Засим установилось долгое молчание. Ворвавшийся в окно порыв ветра раскачал эмалированный абажур и донес до нас отдаленное пыхтение паровоза. Вновь повисло молчание, затянувшееся до тех пор, пока в дверь не начал ломиться некий страждущий. Перепуганный и растерянный, я ждал, как поступит Нестор. Тот оставался неподвижен, как скала. Прошло немало времени, прежде чем он наконец встал с сиденья и принялся разглядывать содержимое унитаза.

– Сегодня ночью, – заключил он, – омега соизволила обратиться к средневековью. Погляди, Лягушонок, тут настоящая крепость: башни, циклонические стены. Вот так штука – средние века, феодализм! Но ведь мы уже неделю проходим пламенеющую готику, – вспомнил он, отвергая жестом рулон туалетной бумаги, который я ему протянул.

– Нет уж, эта ночь достойна, чтобы ей был оказан должный почет. Я тут припас глубокочисленнейший манускрипт, который собирался использовать только в самом торжественном случае. Правда, я не ожидал, что он подвернется так скоро, но уверен, что лучшего повода не найти.

Тут он достал из заднего кармана три листка и сунул мне под нос. С душевным трепетом я прочитал первые строки: «Во время свирепого шторма Альбукерк посадил себе на плечи мальчика-юнгю, чтобы их судьбы стали нераздельны. Конкистадор верил, что это отведет он него божий гнев – дабы не губить невинное дитя, Бог и ему дарует прощение». Проповедь отца-попечителя, собственноручно им записанная! Нестор принялся комкать и тереть листки своими огромными лапами, чтоб сделать помягче. Затем он отдал их мне, и, опершись двумя руками об унитаз, предоставил завершить работу.

Но и после этого Нестор меня не отпустил. Он увлек меня в лабиринты служебных лестниц и коридоров, где мне еще ни разу не доводилось побывать. Спустившись на нижний этаж, он остановился у стенного шкафчика и открыл дверцы. В шкафчике обнаружилось множество рядов гвоздиков с нанизанными на них ключами. Решительно завладев тремя ключами,

Нестор повлек меня еще ниже, в подвал, где царила непроглядная темень – по крайней мере до тех пор, пока мой вожатый с потрясшей меня дерзостью не зажег свет в одном из кухонных помещений. Потом, отвалив тяжелые двери ледника, он брякнул на кухонный стол бараний окорок, круг швейцарского сыра и бадью абрикосового конфитюра. Позволив мне жестом присоединиться, он тотчас забыл обо мне и стал пожирать яства без хлеба и воды.

Я дрожал от холода и страха, меня мутило от вида угощений, меня продолжал мучить ужас перед грядущей карой за поджог. Однако присутствие Нестора любое событие превращало в заманчивое и волшебное приключение. Я не верю, что у маленьких детей безупречный эстетический вкус. Если среди малышей распространить анкеты с вопросом, что они считают прекрасным и безобразным, возможно, там обнаружится немало удивительных прозрений, но слишком уж часто они подпадают под обаяние силы, тем более силы тайной, магической, которая умеет нащупать критические точки унылой повседневности и, сокрушив ее метким ударом, добраться до утаенных ею сокровищ. Нестор был исполнен подобной силы, и мое благоговенье перед ним было столь велико, что я так и не решился заговорить ни о его странном поведении в часовне, ни о грозящем мне из-за его лимонки наказании.

Когда я, наконец, вновь растянулся на своем узком ложе, было еще темно, но в соседней казарме уже трубили зарю. Оставался всего-то часок до полседьмого, когда в спальню ворвется дикая лавина огней и звуков, грубо разогнав мои нежные видения.

Я прекрасно понимал, что если бы Нестор попался вместе со мной и Клеманом, то уже не смог бы мне помочь, а так у него были развязаны руки. Все правильно, однако его внезапное исчезновение в момент, когда загорелся бензин, и последующее упорное молчание об этом происшествии поколебали чувство защищенности, которое у меня возникло с тех пор, как он меня взял под свою опеку. А ведь пострадал-то я ни за что, послужив в их с Клеманом делишках не больше, чем передаточным звеном. Конечно, ночная встреча с Нестором и устроенная им демонстрация собственного могущества и власти слегка меня ободрили, но, когда утром надзиратель оповестил, что назавтра назначен педсовет, который вынесет свой приговор, прежде допросив нас с Клеманом поодиночке, я тотчас снова впал в отчаянье, даже в панику. А тут еще и одиночество, на которое меня обрекало положение «отверженного». Короче, я до того потерял голову, что решился на побег.

Поскольку побег казался святым отцам немыслимым, надзиратели не слишком-то разглядывали уходящих домой экстернов, и мне удалось без приключений обрести свободу. Обогнув церковь Сент-Этьен, я пересек улицу Малерб и по улице Таписсери направился прямо к вокзалу. Других маршрутов я в Бовэ не знал. Мне повезло. Поезд на Дьепп отправлялся через две минуты, так что хватиться меня не успели. Я взял билет до Гурнея и забился в купе третьего класса, уверенный, что каждый пассажир тотчас различает на моем лице два позорных клейма – «отверженного» и беглеца. Поезд шел со всеми остановками, да еще находил поводы обернуть движение вспять, так что три десятка километров до Гурнея заняли целый час.

Все это время меня мучил вопрос, как объяснить отцу свой столь неожиданный визит. Впрочем, мои муки оказались напрасными, так как предупрежденный звонком из Св. Христофора отец встретил меня прямо на перроне со своим обычным равнодушием, которым он словно подчеркивал, что я не самый желанный гость. Он машинально пощекотал мне щеки своими усами, после чего объяснил, холодно, без малейшего гнева или раздражения, что если прямо сейчас сесть на обратный поезд, то я уже к вечеру буду в Бовэ, но даже и утренний поезд, отходящий в семь пятнадцать, позволит мне поспеть в школу как раз к педсовету. Дома родной запах мастерской немного умиротворил мою душу, но наша квартирка на первом этаже так зримо отражала повадки стареющего отшельника, сочетающие педантичную аккуратность с безобразной небрежностью, что я почувствовал себя там не менее чужим, чем в

Св. Христофоре, хотя родился в ней и вырос. Ночь я провел ужасно, мучимый попеременно бессонницей и кошмарами. Меня постоянно преследовала картина пожара в часовне, когда вокруг меня вдруг взвилось пламя. Это был прообраз адского пекла, но не только, ведь пожар в Св. Христофоре мог принести мне свободу. Если бы огонь уничтожил всю школу с ее обитателями, он бы спалил и мои беды.

– Задремал я только на рассвете, как раз когда отец пришел меня разбудить. Но стоило мне проснуться, как мной тут же вновь завладел образ пылающего Св. Христофора. Я был готов и сам погибнуть в пламени, каковая перспектива доставляла мне даже некое мрачное удовлетворение. Я, конечно, понимал, что школа навряд ли загорится столь кстати, но почти верил в такую возможность, так как вбил себе в голову, что иначе мне никак не избежать кары.

Отец заверил, что в Бовэ меня встретит семинарист. Однако вокзал был пуст. Это меня несколько не удивило, так как я предвидел, что хотя бы на краткое время будет нарушен естественный ход событий. На лицах прохожих я без труда различил следы бессонной ночи.

Школа была окружена возбужденной толпой, расступившейся только для того, чтобы дать пожарным размотать шланги. Тут же стояла и машина с выдвижной лестницей. Видимо, ее подогнали на всякий случай, хотя толку от нее не было, поскольку, как мне объяснили, пожар разгорелся в подвале. И впрямь – отдушины котельной лениво курились едким черным дымом. Все окна располагавшегося над ней малышейового класса были перебиты, являя взгляду хаос стульев, парт и обгорелых грифельных досок, каковой разгром учинили потоки воды из пожарных шлангов. Кроме того, прямо перед подиумом зияла дыра, своего рода кратер. Именно здесь огонь, долго тлевший в подвале, наконец вырвался наружу подобием извержения вулкана. К счастью, это свершилось ранним утром, в четверть седьмого, еще до начала занятий, и все надеялись, что обошлось без жертв. Однако вдруг распахнулись ворота, и выехавшая оттуда санитарная машина начала медленно прокладывать себе путь в толпе. В ее окне я различил заплаканное и растерянное лицо матери Нестора.

Я поспешил проскользнуть в ворота, пока они вновь не затворились. Все интерны собрались во дворе и стояли неподвижными группками, переговариваясь вполголоса. Экстернов успели распустить по домам. Никто не обратил на меня ни малейшего внимания. В этот день мне пришлось убедиться в невероятной людской слепоте к вещим символам, которые только я умею различить. Никто не заметил столь, казалось бы, очевидной, бросающейся в глаза связи между пожаром и ожидавшим меня наказанием! Остолопы, которые собирались со мной расправиться за мелкую провинность, при том еще мнимую, ни за что бы не поверили, что я, и никто иной, повинен в обрушившемся на Св. Христофор несчастье. Даже если бы я сам признался.

Я принялся искать Нестора. Интересно, что понадобилось его матери в санитарной машине? То, что я узнал, меня сразило. Ранним утром отец Нестора попросил его раздуть котел. Нестору уже не раз приходилось делать за отца эту работу. Что произошло в подвале, никто толком не знает, но примерно час спустя в малышейовый класс ворвалось пламя. Когда пожарным удалось наконец проникнуть в котельную, Нестор уже задохнулся в дыму.

28 марта 1938. Сегодня утром меня странным образом пробудила уверенность, что уже пора вставать. Будильник показывал без четверти два, но он остановился. Я встал с постели и подошел к столу, чтобы взглянуть на ручные часы. Они тоже стояли, показывая десять минут третьего. Набрав номер, я убедился, что и впрямь ровно семь часов.

На улице стоял туман. К тротуару был приткнут мой драндулет, который я взял из гаража, чтобы успеть до начала рабочего дня сгонять в Мо к одному из клиентов. Однако машина не завелась – наверняка из-за тумана разрядился аккумулятор. Соответственно не работали

и часы на приборном щитке, показывая четверть третьего.

Столь удивительные совпадения могли бы меня встревожить, если бы я к ним уже не привык. Но моя жизнь просто кишит невероятными совпадениями, которые я считаю не более, чем вежливыми напоминаниями. Постоянно бдящий рок напоминает мне о своем незримом, но и неотвратимом влиянии на мою жизнь.

Как-то прошлым летом я спал с распахнутым окном. Проснувшись, я тотчас включил радио, чтобы музыка развеяла тягость первых минут бодрствования. Музыка оказалась как раз подходящей – громкой, бодрой, бравурной. Но тут на крыше, прямо у меня над головой, завязалось настоящее побоище. Птицы, обычно ведущие себя вполне прилично, затеяли жуткую свару. Потом по характерному шороху я догадался, что драчуны соскальзывают по скату крыши, и тотчас клубок перьев сперва рухнул на подоконник, а потом шмякнулся на пол и распался надвое. Падение охладило боевой пыл птиц, и обе сороки, мигом очухавшись, дружно вылетели в окно. Тут же грянул финальный аккорд и дикторша сообщила: «Вы слушали увертюру к опере Россини «Сорока-воровка». Я улыбнулся, свернувшись под одеялом: «С приветом, Нестор!»

Однако подчас знаки служат ответом – обычно ироническим – на вырвавшуюся у меня нескромную просьбу. А ведь знаки и символы, которые заполнили мою жизнь, казалось, могли бы приносить мне удачу.

Полгода назад, увязнув в долгах, я купил полный билет Национальной лотереи и произнес над ним заклинание: «Нестор, хотя бы разок». Нет, не буду утверждать, что он меня не услышал, еще как! И ответил. Показал нос. Номер моего билета был Б 953 716, а выиграл миллион номер Б 617 359. Моя цифра наоборот. Так я был проучен за попытку извлечь мелкую выгоду из своей особой связи с космической энергией. Сперва я обозлился, потом рассмеялся.

4 апреля 1938. Газета «Фелькишер Беобахтер», официальный орган правящей в Германии партии, выбросила лозунг: пушки важнее масла. Разумеется, он куда шире, являя своего рода сатанинскую инверсию. Утверждать, будто пушки важнее масла, все равно, что сказать: смерть важнее жизни, ненависть важнее любви!

6 апреля 1938. «Рено» выпускает несколько видов автомобилей с газогенераторами – грузовики, от трехтонок до пятитонок, и автобусы, от восемнадцатиместных до тридцатиместных, – источником энергии для которых служат продукты горения. Загружаешь топку дровами и через каких-нибудь пять-шесть минут: мотор заводится. Подобные двигатели неприхотливы, эффективны, надежны. Они снабжены простого устройства фильтром, которому не грозит ни засориться, ни прорваться.

Это весьма характерно, так как отныне прогресс может обратиться вспять. Еще совсем недавно сама мысль, что возможен автомобиль, работающий на дровах, казалась смехотворной. Вскоре нам представят, как последнее достижение техники, двигатель, работающий исключительно на соломе, а в результате осчастливят изобретением конного экипажа.

8 апреля 1938. Мне пришлось томиться в Св. Христофоре до шестнадцати лет. Поведение мое было безупречным, оценки чудовищными. Я нацепил маску простачка, которая с тех пор так и пристала к моему лицу. Разве что последние события – разрыв с Рашель, мрачные записки и еще несколько явленных мне знаков – вдруг слегка оживили мои черты. Эта маска служила мне защитой в чуждой среде, позволяя не маскировать свою душу, изbleвывавшую всю духовную пищу, которой ее потчевали святые отцы. К окончанию школы мне удалось не запомнить ни строки из Корнеля и Расина, зато тайком выучить наизусть творения Лотреамона и Рембо. Из биографии Наполеона держать в памяти лишь его поражение при Ватерлоо, сетуя, что англичане не повесили одного клятвопреступника, зато подробно изучить историю розенкрейцеров, жизнь Калиостро и Распутина. Увлеченный расшифровкой символов, я из

всех наук усваивал только то, что могло мне в этом помочь. Короче говоря, к моменту окончания школы стало очевидно, что экзамен на бакалавра мне не выдержать. Жестоковейные святые отцы зачислили меня в партию изгоняемых из школы, которая формировалась каждый год как раз перед экзаменами, дабы таким образом повысить средний балл, после чего я оказался в Гурнее-ан-Брей, где отец попытался меня пристроить к своему ремеслу механика. Однако в присутствии этого молчаливого равнодушного человека у меня путались мысли и все валилось из рук. Надо еще добавить, что если я был никудышным учеником, то он был ничуть не лучшим учителем – привыкнув работать в одиночку, отец с большой неохотой отверзал уста для каких-либо разъяснений. Кончилось тем, что я перешел к его конкуренту, державшему единственную в Гурнее мастерскую по ремонту автомобилей. А вскоре, призванный в армию, «выдвинулся» в Париж, где у меня обнаружился дядька, владеющий гаражом на площади Терн. Дядя встретил меня радушно, чем полагал досадить своему брату, с которым ни разу не виделся после рассорившего их раздела отцовского наследства. Отслужив армию, я стал его главным подручным, а через пять лет, после дядиной смерти, хозяином гаража. Таким образом, судьбе было угодно, чтобы я овладел сходной с отцовской профессией, однако ж, поднявшись выше его по общественной лестнице. Конечно, можно предположить, что я заранее поставил перед собой честолюбивую цель развить и упрочить семейную традицию, но это бред! Своим ремеслом я занимаюсь безо всякого рвения, лишь по необходимости, как и выполнял приказы армейского начальства, как оплачиваю налоги, как сплю с женщинами. Я живу, словно во сне, но страстно мечтаю наконец проснуться. Я уже говорил, что в последнее время моя маска начала оживать. Да и моя левая рука, которая вот уже три месяца выводит на бумаге слова, наверняка, недоступные правой, слагающиеся в свежие мысли и образы, не первый ли росток нового Тиффожа? Запахло весной. Затем грядут – капель, ледоход. . .

11 апреля 1938. Вчера 99,06% австрийских избирателей проголосовали за воссоединение с Германией. Однако причиной подобного единодушия послужил отнюдь не ужас перед несокрушимой силой. Нет, это свидетельствует, что в каждом проголосовавшем укоренилось влечение к гибели, в результате чего толпа, поставленная перед выбором жизнь-смерть, взорвалась криком: «Смерть! Смерть!», подобно евреям, требовавшим у Понтия Пилата: «Варавву! Варавву!»

13 апреля 1938. До двенадцати лет я был маленьким и субтильным. Потом я столь неудержимо попер ввысь, притом почти не набирая веса, так что моя худоба, прежде всего лишь уродливая, стала сперва вопиющей, а затем и вовсе устрашающей. В двадцать лет я достиг метра девяносто одного сантиметра при весе шестьдесят девять килограммов. К тому еще добавлю, что быстро увеличивавшаяся близорукость заставляла меня обзаводиться все более сильными очками, которые, когда я отправился на призывную комиссию, уже напоминали пресс-папье. Но даже их у меня отобрал местный охранник, не из жестокости, а следуя правилам, отчего мне было не легче, когда я, голый и слепой, переступил порог зала заседаний мэрии. Мое появление изрядно развеселило восседавших за длинным столом отцов города. Особенно их позабавил мой инфантильный член, отнюдь не соответствующий росту его обладателя. Местный лекарь произнес ученое словцо, вызвавшее всеобщее оживление, так как прозвучало довольно непристойно, почти скабрёзно: микрогенитоморф. Мой случай вызвал бурное обсуждение. Хотя избежать призыва мне все же не удалось, но меня спланировали в войска связи, не требующие от призывников телесного совершенства.

Не успел я с грехом пополам отслужить армию, как на меня обрушилась очередная дурацкая напасть. Как и предсказал Нестор, мои зубы принялись расти – в том смысле, что меня целыми днями теперь терзали муки голода.

Голод мог напасть на меня прямо в разгар рабочего дня, в мастерской или рабочем кабинете. Вдруг подводило живот, начинали дрожать конечности, на висках выступал пот, под языком скапливалась слюна. Во время первых приступов я тотчас бежал к соседнему булочнику, который изумленно наблюдал, как я заглатываю одну за другой булочки и плетенки. Позднее, уже зимой, я как-то положил глаз на припахивающие водорослями корзинки с устрицами, выставленные напоказ прямо на улице перед винным погребком. Как раз в ту пору зародился позже распространившийся повсеместно обычай непременно запивать устрицы сухим белым вином. В погребеке я вскрыл пару дюжин превосходных португальских моллюсков, сопроводив их стаканчиком вина. Свирепое сладострастие, с которым я вонзил зубы в зеленую соленую, йодистую слизь, упиваясь морской свежестью этих козьяков, с вялой покорностью предающихся устам, выгрызающим их из перламутровых обиталищ, подтвердило мою склонность к людоедству. Я понял, что тем полнее удовлетворю данное влечение, чем более натуральную пищу буду употреблять, вплоть до совсем сырой. Вскоре я совершил замечательное открытие, что сардины, которые обычно едят жареными, можно поедать прямо сырыми, конечно, если хватит терпения соскрести чешую, которая отстает весьма неохотно. Однако еще большее потрясение я испытал, открыв для себя «конский бифштекс», приготовляемый действительно из рубленого конского мяса, смешанного с желтками и круто приправленного солью, перцем, уксусом и чесноком, который едят сырым с гарниром из лука и каперсов. Но и столь подходящее для меня блюдо нуждалось в усовершенствовании, дабы удовлетворить мою не слишком распространенную страсть. В результате споров с официантами единственного в Нейи ресторанчика, где подавали сию дикарскую пищу, мне постепенно удалось отказаться от всех специй и приправ, призванных лишь отбить вкус живой плоти. Однако кроме качества мяса, меня не устраивало и количество, поэтому я вскоре предпочел собственноручно пропускать через мясорубку хорошие шматы конины, купленные в мясной лавке. Именно там я осознал, сколь могучее влечение всегда испытывал к мясным прилавкам и крюкам, на которых явлены взору во всей бесстыдной наготы и мощи ободранные туши. Меня приводили в исступление и красный филей, и склизкая, с металлическим отблеском, печенка, и розовые ноздреватые легкие, и алые прорехи, открывавшиеся меж бесстыдно растопыренных гигантских телячьих ляжек, но еще больше – витающий над всем этим запах застывшего жира и свернувшейся крови.

Открыв в себе подобное пристрастие, я ничуть не был обескуражен и, признаваясь себе: «Я люблю мясо, я люблю кровь, я люблю плоть», делал упор на глаголе «любить». Получалось, что причиной ему – любовь. Я люблю мясо, потому что люблю животных. Не исключено, что я сумел бы задушить собственными руками и с удовольствием слопать даже зверя, которого сам взрастил и воспитал. Я вкушал бы его мясо даже с большим аппетитом, чем какое-нибудь анонимное. Кого я совершенно не понимаю, так эту дурочку мадемуазель Тупи, которая стала вегетарианкой в знак протеста против умерщвления живых существ. Неужто ей не ясно, что если все мы вдруг заделаемся вегетарианцами, то отпадет нужда и в домашних животных. Этого, что ли, она добивается? Лошади, к примеру, стоило машинам избавить их от рабского труда, тотчас стали вымирающим видом.

К тому же, нежность моей души, удостоверяет, – если это нуждается в подтверждении, – еще одно пристрастие: к молоку. Возвращенная мне употреблением сырого мяса первобытная острота вкусовых ощущений, позволяющая различить в кажущейся безвкусной сырой пище множество привкусов, нашла в молоке достойный объект применения, после чего иного питья я уже не признавал. В Париже, пожалуй, и не найти настоящего молока, то есть не загубленного позорным обычаем пастеризовать его и обезжиривать. Вообще-то только на ферме можно раздобыть натуральное молоко, взятое прямо из самого источника этой жидкости –

синонима жизни, нежности, детства. Потому, должно быть, на парное молоко так ополчились гигиенисты, чистоплюи, сыщики и прочие зануды. Что до меня, то я не признаю молока, не припахивающего хлебом, в котором не плавает хотя бы один волосок или соломинка, свидетельствующие о его подлинности.

Ежедневные два кило сырого мяса и пять литров молока постепенно изменили мою комплекцию и взаимоотношения с собственным телом. Тогда как лицо вызывает у меня омерзение, со своим телом я живу в полном согласии. Хотя мой вес колеблется возле ста десяти килограммов, ноги так и остались тощими, отчего кажутся длинными. Вес почти целиком приходится на ягодицы и мою бугристую спину. Бугристую, потому что спинные мышцы образовали на обеих лопатках по громадному желваку, каждый из которых напоминает неподъемной тяжести переметную суму. Выгляжу я так, словно и собственный вес мне снести не под силу, на самом же деле мне ничего не стоит оторвать от земли, хоть за капот, хоть за багажник, какой-нибудь Розенгард или Симку-В.

Рашель, имевшая возможность разглядеть меня во всех подробностях, разумеется, превосходно изучила мои физические недостатки, конечно же, особо отметив микрогенимоморфизм, и не упускала случая поглумиться над ними. «По фигуре ты вылитый грузчик, – потешалась она. – Или даже выючная лошадь. Этакий здоровенный тяжеловоз. Нет, скорее мул, ведь они не способны к деторождению».

Но особенно не давало ей покоя углубление посередине моей грудной клетки, на языке ученых педантов называемое грудной впадиной. Когда Рашель совсем уж меня допекла, я сочинил ей сказку, которую она выслушала, разинув рот.

– Виноват мой ангел-хранитель, – заявил я. – Я пытался оправдаться. Ангел старался меня изобличить. Мы поссорились. Я замахнулся, чтобы дать ему пощечину, но он меня опередил, ткнув пальцем прямо в грудь. Вот это был тычок! Ангельский палец оказался тяжелее и жестче мрамора. Задыхавшись, я рухнул навзничь. Физический удар такой же силы оказался бы смертельным. Но то был ангельский тычок, смягченный белоснежным пухом, ибо рука ангела, как в боксерскую перчатку, была облечена в его духовное оперенье. Я оклемался, но остались меты – ямка на груди и выступы на спине, сходные с женскими сосцами, но в отличие от них пустые и бесплодные. И еще у меня, бывает, перехватывает дыхание. Тогда мне кажется, что в мою грудную клетку все еще уперт тяжелый мраморный палец. Подобный приступ я называю ангелическим удушьем или просто ангелическим.

– А ты уверен, что это был твой ангел-хранитель? – осведомилась Рашель с непривычной серьезностью.

– Подчас я в этом и впрямь сомневаюсь. Может, он вовсе и не мой хранитель, а чей-то еще, потому был так ко мне несправедлив. Твой, к примеру. Или моего давно умершего школьного друга.

– Ну, признайся, – не отставала Рашель, – в чем это ангел пытался тебя изобличить?

Кстати, кроме ангелической, иными хворями я никогда не страдал. Да и болезнь ли это? Несколько врачей, к которым я обращался, подробно меня обследовали и, не найдя никаких аномалий, пускались в домыслы один нелепей другого. Очередной медик в ответ на мой откровенный вопрос отмел всякую связь между приступами удушья и грудной впадиной.

– Возможно, нет материальной связи, – согласился я. – Но ведь бывает связь символическая.

Так или иначе, благодаря ангелической болезни моя дыхательная система стала насквозь символичной. Именно данная хворь просветлила глухую ночь, в которой обретались мои легкие, изредка одаряя их даже духовными откровениями. В подобных случаях приступ бывал так силен, словно невидимый великан стискивал меня мертвой хваткой, но одновременно меня

посещали озарения, когда казалось, что сами небеса, заполненные парящими ласточками и переборами арф, запустили прямо в мои легкие свой двойной корень.

14 апреля 1938. Надо ли уточнять, откуда взялась могучая невостребованная сила, скопившаяся в моих плечах и крестце? Разумеется, это наследство Нестора. Если бы у меня была хотя бы тень сомнения, то ее бы развеяла ужасная близорукость, которую он завещал мне в придачу, словно желая удостоверить, что я его полный наследник. Его сила, распирающая мои мышцы, как и его мысль, направляют мою мрачную руку. Только ему одному доступна сокровенная тайна способности моей судьбой вторгаться в естественный ход вещей, впервые возвестившей о себе пожаром, охватившем Св. Христофор, и с тех пор постоянно напоминающей о себе, как 5 правило, незначительными событиями. Их цель – не позволить забыть о самой сокровенной и жгучей загадке моего бытия, которую поможет разрешить лишь грядущее Великое Испытание.

15 апреля 1938. Вчера, на Великий четверг, я посетил заутреню в Нотр-Дам. В церкви я всегда испытываю двойственное чувство. Надо признать, что несмотря на все свои заблуждения, Лютер был прав, утверждая, что на престол Св. Петра воссел Сатана. Его наймиты – священники – вовсе не стыдятся своих сатанинских ливрей. Одно суеверие мешает различить в роскошных облачениях иерархов дьявольскую усмешку: в митре сходство с дурацким колпаком, в посохе – с вопросительным знаком, символом скептицизма и неверия, в алой кардинальской мантии – с багряным одеянием Блудницы из Апокалипсиса. И не только в одежде, а и во всей безумной роскоши римского обряда, становящейся невыносимой в соборе Св. Петра с его опахалами, *sedia gestatoria** и чудовищным балдахином работы Лоренцо Бернини, толстобрюхим, о четырех лапах, словно бы присевшим над престолом, чтобы на него нагадить.

Однако из-под этой кучи дерьма все же сочится чистый ручеек, против которого бессилён и сам Сатана, сделавший все, дабы исказить Новый Завет. Но ведь источник духовного света – личность Христа, которого церковники вынуждены славить, глумясь при этом над его учением. Подчас робкий лучик все же пробивается сквозь чашу церковной лжи и насилия. Вот ради подобных редких проблесков я и посещаю время от времени церковные службы.

Вчерашней мессы уже коснулась унылая тень Страстной пятницы, поэтому она была менее пышной и более благочестивой, чем иные. После «Gloria» колокола отзвонили в последний раз перед Страстной субботой. Затем прозвучала молитва «Отче наш» под аккомпанемент органных вариаций на тему Баха.

Да простит меня всемилостивый Господь, но стоит зазвучать столь торжественному инструменту, как орган, его бравурные, помпезные звуки пробуждают во мне воспоминания о музыкальной карусели, на которой мне приходилось кататься в Гурнее-ан-Брей в праздник урожая. Карусель наигрывает свой бойкий, но однообразный мотивчик. Мальчуганы раскинули голые ляжки по лакированным бокам привставших на дыбы деревянных лошадок, угрожающе вскинувших к небесам свои разинутые пасти и безумные глазищи. Эскадрон юнцов парит в метре над землей, подхваченный этим органчиком, представлявшим из себя сложнейший механизм с множеством клапанов, цилиндров, молоточков, целой рощей трубочек и фигуркой грудастой лупоглазой ведьмы, четко обозначающей ритм. Память, свойство которой – возвышать ушедшее, преобразило былую музыкальную кавалькаду в хор мальчиков и сквозь струйки ладана, подсвеченные витражом, мне почудилось, будто юные хористы словно закружились в хороводе, унесли на той давней карусели. . .

От своих видений я очнулся, лишь когда зазвучало Евангелие и уж совсем избавил меня

*Паланкин Римского папы (*ит.*).

от них последовавший затем весьма своеобразный обряд Поклонения. Двенадцать хористов расположились в креслах и один за другим выставляли из-под стихарей свои ступни, белизна и нагота которых казалась особенно трогательной среди богатого убранства храма. Монсеньер Вердье, невзирая на свой сан и дородность, сперва преклонял перед каждым мальчуганом колени, затем проливал им на ноги пару капель из серебряной амфоры, потом же, обтерев нагие ступни белой тряпичей, склонялся почти до самой земли, чтобы облобызать их. Завершив обряд, он одарял паренька хлебцем и монеткой – так германские воины после первой брачной ночи преподносили своей молодой *Morgengabe**. На мальчиков подобное поклонение производило разное действие. Кто начинал испуганно озираться, кто скромно потуплял глаза, но мне больше всех понравился мальчуган с ангельским личиком, который давился от беззвучного хохота.

Эту картину, когда старик, облаченный в золото и пурпур, склоняется до земли, чтобы прикоснуться губами к обнаженной детской ступне, я никогда не забуду. Сколько бы мерзостей ни творила на моих глазах Церковь, я всегда буду помнить полученный вчера глубокий и подробный ответ на вопрос, которым задавался Нестор незадолго до своей гибели.

20 апреля 1938. Обычно под счастьем понимают благополучие и покой, оттого стараются по возможности упорядочить свою жизнь, что лично мне чуждо. Соответственно несчастьями называют удары судьбы, грозящие сокрушить привычный строй жизни. Но мне-то как раз несчастья не грозят, ибо им нечего сокрушать. В отличие от других, мне свойственно противопоставление радость-горе, а не счастье-несчастье, весьма с ним несхожее. У меня нет ни быта, ни близких – семьи, друзей. Ремесло же мое столь далеко от моих интересов, что я затрачиваю на него не больше мысли, чем на пищеварение или дыхание. Обычно я пребываю в глухой, дремучей, безнадежной тоске. Однако ее мрак иногда разрывают неожиданные и беспричинные сполохи радости, лишь на миг, но в глазах потом еще долго пляшут золотистые пятна.

6 мая 1938. Только одна из сегодняшних утренних газет решилась обнародовать снимки всех разом членов нового кабинета министров. Вот это шайка! Двадцать две физиономии, хотя и в разной мере, но все до единой отмеченные угодливостью, подлостью и глупостью. Да, собственно, уже знакомые – мы не раз имели счастье их лицезреть в разных комбинациях, к тому же большинство из них входило в предыдущий кабинет.

Надо бы сочинить «Мрачную конституцию» с преамбулой из шести пунктов примерно такого содержания:

1. Святым может быть признано лишь частное лицо, то есть не обладающее светской властью.

2. Политическая власть признается полностью входящей в компетенцию Маммоны, Каждый политический деятель целиком берет на себя ответственность за все преступления, ежедневно совершаемые государством. Соответственно, чем выше занимаемый пост, тем преступнее считается его обладатель. Главным государственным преступником провозглашается Президент, за ним следуют, согласно табели о рангах, министры и прочие сановники, судьи, генералы, прелаты, которые все по локоть в крови, а также иные служители Маммоны, олицетворяющие кучу дерьма, именуемую Общественным Строем.

3. Органы власти всех стран как нельзя лучше соответствуют своим преступным функциям, ибо, производя «обратную выбраковку», выявляют наиболее преступные элементы нации, коими и пополняют свои ряды. В результате любое совещание министров, конклав или встреча в верхах так смердит падалью, что эта вонь способна отпугнуть даже и стервятника, если

*Утренний дар (нем.).

он не слишком голоден. Но и на менее высоких собраниях, как, например, заседании муниципального совета, штабном совещании, короче, любом официальном мероприятии, сбивается такая гнусная банда, что мало-мальски порядочный человек и близко к нему не подойдет.

4. Вместе с полномочием принимать законы политик автоматически получает право им не подчиняться, но и сам объявляется вне закона. Таким образом, человека, облеченного государственной властью, каждый имеет право раздавить, как клопа или мандавошку. Следует произвести *благодетельную инверсию*, заменив парламентскую неприкосновенность свободой отстрела, предоставляющей право любому гражданину без соответствующей лицензии прямо среди бела дня расстреливать политиков. Политическое убийство должно считать санитарной мерой, богоугодным делом.

5. Конституцию 1875 года стоит пополнить статьей, предписывающей после падения кабинета весь его состав расстреливать без суда и следствия. Несправедливо, что политик, которому нация отказала в доверии, не только остается безнаказанным, но и может продолжить карьеру, овеванный славой своего громкого провала. Данная статья принесет тройную пользу: во-первых, позволит постепенно избавлять нацию от самых отпетых мерзавцев, во-вторых, помешает вновь пролезть в правительство уже обанкротившимся политикам и, в-третьих, внесет в политическую жизнь то, чего ей катастрофически не хватает, – серьезность.

6. Каждый гражданин, облачаясь по доброй воле в любой вицмундир, должен помнить, что тем самым поступает под начало Маммоны и навлекает на себя месть всех порядочных людей. Закон обязан пополнить ряды тех вонючек, отстрел которых разрешен в любое время года, шпиками, священниками, дворниками, а также академиками.

13 мая 1938. Благодетельная инверсия. Ее цель – преодолеть последствия произведенной прежде злокозненной инверсии, то есть вернуться к истинным ценностям. Сатана, князь мира сего, с помощью своих присных – правителей, судей, прелатов, генералов и полицейских – подставил Господу зеркало, в результате чего правое стало называться левым, левое – правым, добро – злом, зло – добром. Всевластие Сатаны над городами, кроме прочего, подтверждается обилием проспектов, улиц, площадей, названных именами профессиональных военных, то есть профессиональных убийц, которые сами-то, кстати сказать, умерли в собственной постели, поскольку все проделки Князя тьмы отмечены, словно когтем, сатанинской усмешкой. Даже гнусное имя Бюжо*, самого кровавого живодера последнего столетия, и то позорит улицы многих французских городов. Собственно, война, которая есть абсолютное зло, и должна была породить дьявольский культ. Она и есть черная месса, которую не таясь служит Маммона, и обманутая чернь повергается ниц перед замаранными кровью идолами, которых в своем безумье именует: Родина, Самопожертвование, Отвага, Честь. Подлинным храмом данного культа стал Дом Инвалидов, вознесший над Парижем свой золоченый купол, словно распертый миазмами, которыми смердят гниющие там – Августейшая Падаль и еще несколько палачей помельче. Бессмысленная бойня 14-18 гг. тоже породила культ с вечно пылающим жертвенником под Триумфальной аркой, со своими псалмопевцами, которыми стали такие поэты, как Морис Баррес и Шарль Пеге**, не пожалевшие всего своего таланта и влияния, чтобы побольше раздуть всеобщую истерию 1914 года, чем и заслужили высокий сан *Верховных палачей молодежи* – вместе со многими другими, само собой.

Разумеется, данный культ зла, страдания и смерти невозможен без лютой ненависти к жизни. Любовь – одобряемую *in abstracto* – он принимается злобно преследовать, стоит лишь ей телесно воплотиться и осуществиться в конкретном акте. Секс, этот взрыв восторга и

*Тома Бюжо (1784-1849) – французский маршал, покоритель Алжира.

**Морис Баррес (1846-1926) и Шарль Пеге (1873-1914) – французские писатели.

созидания, высшая полнота жизни, к которой стремится все живое, вызывает дьявольскую злобу у всех благочестивых подонков как церковных, так и светских.

Р.С. Один из наиболее характерных и опасных примеров злокозненной инверсии – идеал *чистоты*.

Чистота – это дьявольский перевертыш невинности. Невинность предполагает любовь к жизни, радостное приятие как небесных, так и земных даров, неведение сатанинского противоположения чистота-порок. Подлинную, наивную добродетель Сатана подменяет карикатурой на нее, похожей лишь внешне, – чистотой. Суть же ее полностью противоположна, ибо в ней соединились страх перед жизнью, человеконенавистничество и болезненное стремление к небытию. Добыть химически чистое вещество можно лишь с помощью головоломных реакций, настолько, данное состояние антиприродно. Человек, одержимый демоном чистоты, сеет вокруг себя смерть и разрушение. Борьба за чистоту религии, чистка государственных органов, требование расовой чистоты – все это различные вариации на одну грозную тему, неизменно влекущие бесчисленные преступления, излюбленное орудие которых – огонь, символ и чистоты, и ада.

20 мая 1938. Карл Ф. показал мне забавную американскую машинку. На ее магнитную ленту при помощи переносного микрофона с длинным шнуром можно записать любые звуки, а потом прослушать их сколько угодно раз. Там были записаны голоса различных животных. Больше всего меня поразил любовный зов оленя, который пробудил бы во мне самые сладостные воспоминания, если бы даже не был столь сходен с моим утренним ритуальным кличем. Хозяин приборчика признался, что давал послушать свои ленты профессору-орнитологу из Музея естественной истории. Ученый муж так и не смог догадаться, что птичий щебет принадлежит отнюдь не пернатому, а имитатору из мюзик-холла. Зато добытые с большим трудом подлинные звериные рыки все чохом объявил неумелым подражанием.

Самую потрясающую ленту Карл Ф. приберег на десерт, не сомневаясь, что она произведет на меня должное впечатление. На ней был записан ропот толпы, причем постоянно нарастающий – сперва попросту недовольный, потом злобный, наконец, яростный. Эта запись свидетельствовала, что под окнами Карла хотя бы раз действительно ярилось чем-то обозленное тысячеголовое чудовище, вознося к небесам свои проклятья, в которые уже вплетался звон разбитых камнями стекол. Не на меня ли направлена вся их ненависть? Я покрылся холодным потом и, видимо, сильно побледнел, так как хозяин заметил, что я не в себе. Он поинтересовался моим здоровьем и потом до самого конца моего визита, который я постарался сократить, озадаченно меня разглядывал.

Как бы я сумел ему объяснить, что пока еще жив только благодаря маске простачка-автомеханика с площади Терн, кем он и сам меня считает? Если бы люди догадались о таящейся во мне темной силе, они тотчас бы меня линчевали. Я и сам только лишь пытаюсь проникнуть в тайну моей судьбы. В детстве меня словно коснулась волшебная палочка, и я обратился в мраморную статую. Но в том-то и дело, что моя живая плоть стала не вовсе каменной, а лишь наполовину. У меня есть сердце, правая рука, они живые, я всегда готов приветливо улыбнуться. Но таится во мне и нечто жесткое, беспощадное, холодное, столкновение с чем будет губительно для любого существа. Это было своего рода полупосвящение, каковое я был вынужден признать, точнее, охотно признаю всякий раз, когда некий знак мне его подтверждает.

3 октября 1938. Уже четыре с лишним месяца не делал записей, да и вовсе не открыл бы этот блокнот, если бы не свершившееся сегодня утром событие, столь знаменательное, что просто обязано быть здесь запечатленным, причем во всех подробностях.

Встал я около шести в совершенно разобранном состоянии. Я сразу понял, что против

столь острого отвращения к жизни бессильны любые обряды – и кричание, и омовение. Причем, данное состояние сопровождалось и усугублялось, возможно, мнимой, ясностью мысли. Навалившееся на меня безысходное отчаянье казалось единственно достойным ответом на бессмысленность бытия. Все иные движения духа как прошлые, так и будущие, могло оправдать только опьянение, без которого жизнь становится до конца невыносимой: собственное алкогольное, любовное, религиозное. Человек, порождение небытия, в течение немногих отпущенных ему лет существования, может справиться со своей отчаянной тоской, только надираясь допьяна.

Я даже не смог побриться. Накинул свою спецовку и, не выпив кофе, побрел в гараж. Чтобы защититься от явной враждебности ко мне мира, я вынужден был облечься в броню, став недоступным для человеческих слабостей, и явился в гараж с твердым намерением навести там порядок. Первым пострадавшим оказался бедняга Бен Ахмед. Не зная грамоты, автомехаником он был гениальным, но работал на ощупь, безо всякой metody, только по наитию. Прочищая вентили Жоржа Ирата мотором, как у легкого «Ситроена», он зарядил их в специальную машину, однако, не решился наметить карандашом нужный размер отверстий, изобразив на кромке кружки диаметром в 2 - 3 миллиметра. Наверняка его смутила необходимость использовать карандаш. Я злобно обругал умельца и, прогнав его, сам взялся за работу. Вскоре мне выпал повод гаркнуть на Жанно, опоздавшего на работу, после чего я поставил его к станку, вручив дюжину автомобильных камер, и приказал исправить клапаны. Потом я заперся в стеклянной клетушке, служившей мне кабинетом, с кипой накладных, которые требовалось оформить. В полвосьмого Гаяк пригнал свой «402-Б», чтобы проверить зажигание, потом явился почтальон с корреспонденцией. Короче, день кое-как вошел в колею.

Без четверти девять, когда я беседовал с м-ль Тупи об ее Розенгарде, Бен Ахмет, наконец, врубил мотор Жоржа Ирата. Одним ухом я слушал м-ль Тупи, другим пытался оценить работу двигателя, который, казалось, пашет, как зверь. Наконец, упорство Бен Ахмета, изо всех сил жмущего на акселератор, мне поднадоело. Мотор мурлычет, как сытый кот, зачем же его так зверски мучить, заставляя работать вхолостую? Бен Ахмет просто обожал этот рев и запах выхлопных газов, которыми так и норовил завонять весь гараж. В это время мадемуазель Тупи бубнила мне о частной религиозной школе Св. Доменика, где она преподавала философию. Впрочем, интерны всегда вызывали мой интерес, поэтому я с непритворным любопытством старался вызнать у мадемуазель, каково живет девицам в закрытых учебных заведениях. Жорж Ират неожиданно так взревел, что заглушил нашу беседу. Тут сквозь рев мотора я различил сухой металлический щелчок. Из окна мне было видно, как Жанно, вскинув руку к виску, повалился на станок, потом рухнул на колени, а затем откинулся на спину. Я тотчас сообразил, что вылетевший из камеры колпачок попал ему прямо в голову. Я сразу бросился к нему и, подняв на руки его тощее бесчувственное тельце, вдруг почувствовал прилив нестерпимой, пронзительной нежности.

Меня нежданно осенило благословение свыше. Я никак не мог оторвать глаз от съжившейся в моих объятиях фигурки, разглядывал ее сверху донизу – от сухощавого лица, обрамленного окровавленной каштановой шевелюрой, до бессильно свесившихся сжатых тощих ножек в здоровенных чоботах. Бен Ахмет изумленно уставился на меня. Я замер и готов был простоять так до конца света. Гараж вместе со своими тентами и мутными окнами словно куда-то провалился. Целые девять незримых ангельских хоров осеняли меня своей сияющей благодатью. Воздух был полон благоуханием ладана и переборами арф. Река нежности величаво струилась в моих жилах. Наконец Бен Ахмет решился.

– Смотрите, – сообщил он, показывая на растекавшуюся на утрамбованной земле лужицу, – у него кровь!

– А я и не знал, – выдавил я, – какое счастье нести ребенка!

Эти простые слова породили в моей душе долгое и гулкое эхо.

Мое очарование нарушила м-ль Тупи, буквально запихнувшая меня в свой Розенгард, куда я со своей ношей втиснулся с большим трудом. После чего мы помчались в ближайшую больницу, где выяснилось, что с Жанно ничего страшного не случилось. Огромная ссадина, сотрясение мозга, но главное, череп остался цел. Я отвез еще не очухавшегося мальчугана к его матери, которая чуть не хлопнулась в обморок при виде огромного тюрбана у него на голове. Собственно, я оказался потрясен больше, чем он, и до сих пор пытаюсь осмыслить великое открытие, которое мне преподнес этот несчастный случай.

6 октября 1938. Слово, которое рвется из-под моего пера, может показаться банальным и невыразительным, однако добыто оно из великой сокровищницы: *эйфория*. Как еще назвать исступление, охватившее меня с головы до пят, когда я поднял на руки безжизненное тельце Жанно? Я не случайно сказал «с головы до пят». В отличие от какого-нибудь порыва похоти, столь грубо и непристойно локализованного, волна чувства накрыла меня с головой, оросив до самого донца, до кончиков пальцев. Этот порыв страсти не имел ничего общего с поверхностным игривым влечением, то был восторг, охвативший все мое существо. Как тут не вспомнить праотца Адама до Грехопадения, вместившего в себя и женщину, и дитя, обладающе-обладаемого, постоянно свершающего половой акт, по сравнению с которым наши потуги? Открывшийся во мне дар в миг экстаза достигать состояния, в котором пребывал наш прапредокандрогин, не свидетельствует ли о моей способности к сверхчеловеческому бытию?

Однако хватит теории! Из произошедшего события следует извлечь практические выводы, обобщив *объективные данные*. К примеру, поддается измерению *вес* Жанно, который можно точно выразить в килограммах, определив, таким образом, какого веса должна быть ноша, чтобы привести меня в состояние Эйфории.

Словарь определяет ее попросту, как состояние блаженства. На деле же этимология этого слова более назидательна. *Эй* звучит, как призыв. *Фория* же восходит к греческому «Форере» – нести. Эйфория – то, что дает возможность снести жизненные невзгоды, соответственно даруя душевный покой, который и есть счастье. Но если копнуть еще глубже, то в этом слове прозвучит призыв *нести*, как способ достичь блаженства. Данное соображение вдруг мгновенной вспышкой осветило мое прошлое, настоящее, а может быть, кто знает, и будущее. Поскольку великая идея несения, *фори*, присутствует в самом имени Христофора, великана Христоносца, ее же иллюстрирует легенда об Альбукерке, ее же, в современном варианте, воплощают автомобили, ремонту которых я, хотя и не без внутреннего протеста, себя посвятил, – да, да, этот примитивный механизм тоже ведь человеконосец, антропофор, притом весьма эйфоричный.

Пора бы остановиться – у меня уже голова идет кругом от этого потока открытий. Но все же не могу не поделиться еще одним соображением. Эйфорию 3 октября спровоцировал не только вес мальчугана, но еще и мой собственный. Несмотря на свою худобу, Жанно все же килограммов на сорок тянет. К ним следует прибавить моих где-то сто десять кило. Тяжесть получается изрядная, но, несмотря на это, во время своего «форического экстаза» я именно что не ощущал веса, испытывал чувство полета. Ноша не только не добавила мне тяжести, но словно бы лишила и моей собственной. Вот в чем парадокс! У меня из-под пера частенько вырывается слово *инверсия*. Тут она несомненно присутствовала – благотворная, дивная, божественная. . .

20 октября 1938. Так и не лег спать. Всю эту ночь, теплую, звездную, я колесил без цели на своем драндулете. Прокатился по Елисейским полям до площади Согласия, по набережным. Потом попал в затор – дорогу мне перегородил караван тележек и грузовиков,

штурмовавших Чрево Парижа. Я вышел из машины и тотчас заблудился среди груд овощей и фруктов. В самой сердцевине города был словно разбит громадный огород или фруктовый сад, благоухающий острыми и сладкими запахами, грубые краски которого казались еще резче в освещении фар и газовых фонарей. Поначалу подобное изобилие рождает в памяти завтрак Гаргантюа. Однако постепенно его избыточность делает нелепой саму; мысль о питании, подавляет всякий аппетит. Я плутал среди пирамид из цветной капусты, гор из кольраби, я чудом не был погребен под лавиной лука-порея, устремившейся по сточной канавке после того, как самосвал вывалил свой груз прямо на тротуар.

Неверно думать, что такое обилие съестного его принижает. Наоборот – возвышает, делая неупотребимым, уничтожая в зародыше даже мысль о том, что все это пища. Не пища, а уже ее идея. Соответственно у моих ног была простерта идея яблока, идея гороха, идея моркови. . .

Кроме прекрасной торговли речной рыбой, свеженькой, сверкающей чешуей, как русалка, остальные местные дамы оказались жирными и хамоватыми. Поэтому моим вниманием целиком завладели городские силачи – грузчики, вследствие моего несомненного с ними сходства. Широкие спины, огромные ручки, стрижка под полубокс или под горшок. Все похоже, однако, это чисто внешнее сходство, поскольку их *фория* не возвышенна, утилитарна, нечто подсобное. Поэтому они всего лишь, попросту говоря, амбалы, а не *форы*. Я представил себе истинного фора парижского рынка, могущественного и щедрого, победно вскинувшего на свои гигантские плечи рог изобилия, откуда неиссякаемым потоком низвергаются сокровища – цветы, плоды, самоцветы.

28 октября 1938. Узнал из энциклопедии, что титан Атлас, оказывается, поднял на плечи не землю, не земной шар, с каковым его обычно изображают, а небо. К тому же так называется гора, которую вполне можно представить опорой небес, но, разумеется, уж никак не земли. Еще один пример злокозненной инверсии, посредством которой принижают подвиг одного из величайших форов, водрузившего себе на плечи разом и звезды, и луну, и Млечный Путь, и туманности, и кометы, и солнце. Его голова, воздетая в небеса, сама стала небесным светиллом. Л все переиначили – вместо голубой, золотистой бесконечности, которая одновременно увенчивала и осеняла его чело, на титана взгромоздили земной шар, чудовищный ком грязи, который пригнул ему затылок, застит зрение. Герой низвергнут и унижен, добровольное превратилось в подневольное, а наименование «*титан*» в данном случае стало синонимом просто силача.

Однако, чем больше я думаю об этом мифологическом герое, уранофоре, астрофоре, тем больше укрепляюсь в мысли, что он и есть тот идеал, к которому мне должно стремиться, дабы исполнить свое жизненное предназначение. Бог даст, мне доведется взвалить на плечи некую драгоценную, священную ношу. Это и будет наивысшим моим триумфом, когда я пойду по земле, обременив свой затылок еще более яркой, сияющей звездой, чем та, что указала путь волхвам. . .

30 октября 1938. Сегодня утром Жерве приезжал забрать новенький спортивный «Рено». Чтобы умерить свою неприязнь к этим пижонским лимузинам, я деру за их продажу зверские комиссионные. Восхищенный своей новой тачкой Жерве был, как никогда, упоен собственным социальным успехом, для достижения которого, как он наверняка полагал, необходим исключительный талант, существовавший, разумеется, лишь в его воображении. Ему только что стукнуло тридцать шесть, и он мне объяснил, что это подлинный расцвет жизни, вершина горы, на которую взбираешься с рождения, потом же следует спуск, заканчивающийся смертью.

На самом же деле, по моим наблюдениям, Жерве было тридцать шесть и десять лет назад, когда мы с ним познакомились, и еще раньше, не исключено, что он уже родился

тридцатишестилетним. Просто всегда он выглядел *моложе* своих лет, а теперь вскоре будет выглядеть *старше*, а с годами – намного старше.

Каждый мужчина должен всю жизнь пребывать в своем «лучшем возрасте» – тянуться к нему, пока не достиг, и удерживаться в нем, когда уже перешагнул. К примеру, Бертрону всегда было *полновесных* шестьдесят, а Клод обречен навсегда остаться семнадцатилетним пареньком. Что до меня, то я вечен, я – лишь *зритель* драмы ветшания, который с чуть грустным безразличием наблюдает один за другим расцветы и упадки очередных поколений, как лесная скала – круговорот времен года.

Общение с Жерве одарило меня еще одной идеей, свежей и вдохновляющей. Жерве не что иное, как *сверхприспособленец*. Медицине надо бы получше изучить данное явление, а педагогам впредь поостеречься: как бы в стремлении научить детей приспособливаться к любым обстоятельствам, невзначай не воспитать из них таких вот сверхприспособленцев.

Сверхприспособленцы чувствуют себя в привычном окружении как рыба в воде. Рыба сверхприспособлена к жизни в водной среде, но ведь ее благополучие целиком зависит от качества воды. Попробуйте-ка поместить ее в более теплую, чем она привыкла, воду или в более соленую, или, скажем, водоем вдруг обмелеет. . . Выходит, что лучше быть не сверх, а просто приспособленным к среде, как, например, амфибии, которым не слишком-то уютно ни в воде, ни на суше, но и там и сям они могут выжить. Не желаю Жерве беды, но существует опасность, что, стоит судьбе нанести ему удар, нарушить привычный образ жизни, и Жерве уже трудновато будет вновь войти в колею. А вот мы, амфибии, умеющие сидеть разом на двух стульях, привычные к переменам, снесем любое изменение среды.

4 ноября 1938. Всякий раз, когда прохожу мимо Лувра, я себя корю, что редко там бываю. Жить в Париже и не ходить в Лувр, бред; какой-то! Я не был там целых два года, и вот, сегодняя вечером наконец собрался. Наиболее зримым обретением стало осознание значительности произошедшей во мне перемены. Тому свидетельство – хотя бы изменение моих пристрастий.

Не понимаю людей, ухитряющихся стерпеть без слез сияние, излучаемое этим скопищем шедевров. Как завораживает архаический Аполлон с острова Патмос! Чарует несоответствие между величавой позой тела – монолитного, словно колонна, со сросшимися ляжками, прижатыми к торсу руками, – и загадочной улыбкой, коснувшейся его просветленного лица, нежность которой лишь подчеркивают шрамы, избороздившие мрамор.

Представляю, какой бы стала моя жизнь, если бы этот бог в меня вселился, направлял, денно и ночно. Да нет, я совершенно не способен представить, как бы я вынес жар этого метеора, который рухнул к моим ногам после двухтысячелетнего падения. В этой статуе воплощена главная цель искусства: хоть чуточку утолить страдания наших душ, измученных временем, точнее – его разрушительной силой, смертностью всего живого, неотвратимостью гибели всего, что нам дорого, – прикосновением к вечному. Потому творения искусства – лучшее для нас лекарство, долгожданная тихая гавань, глоток воды в безводной пустыне.

В античных залах я дольше всего разглядывал скульптурные бюсты, обращаясь ко всем этим лицам, столь явственно выражавшим ум, честолюбие, жестокость, самодовольство, реже – доброту, благородство, с одним и тем же вопросом, с тем самым, который всегда остается без ответа: какого действия вы, маски, порождения какой жизни, какой культуры?

По остальным залам я просто пробежал, задержавшись всего перед несколькими картинами, которым я вот уже пятнадцать лет считаю необходимым наносить своеобразные визиты вежливости, чтобы проверить свои от них впечатления, таким образом познав собственные перемены, ибо нет зеркал точнее. Можно сказать, что в Лувре я проводил те же опыты, которыми так увлекался Нестор, старавшийся в различных помещениях Св. Христофора определить степень *сгущения*. Атмосфера этих залов, густо насыщенная красотой, меня опьяняла,

порождала чувство, сходное с фориическим экстазом. Узор, который я терпеливо складываю из множества невнятных деталей, обогатился еще одной.

На обратном пути, проходя через турникет, я обратил внимание на мальчугана, о чем-то бурно препиравшегося с билетершей. Я тотчас понял предмет этого безнадежного для паренька спора. Дело в том, что мальчик захватил с собой фотоаппарат, а съемки в музее стоили полфранка, каковыми он не располагал. Значит, аппарат следовало сдать в камеру хранения, что стоило те же полфранка. В конце концов, мальчуган признал свое поражение и был вынужден отступить. Тут я, разумеется, счел своим долгом ему помочь, но не «повзрослому», то есть попросту заплатив положенные пятьдесят сантимов, а романтически, авантюрно. Я не поленился вновь миновать турникет с карманом пиджака, оттопыренным контрабандным товаром в виде фотоаппарата.

Этьену оказалось одиннадцать. Это был мелковатый для своих лет, очаровательно замурзанный паренек с неправильными, но тонкими чертами сухощавого нервного лица, мило сочетавшегося с его круглым брюшком и толстенькими косолапыми ножками. Его карманы с торчащими оттуда книжками, как и пальцы с безжалостно обгрызанными ногтями выдавали в пареньке особую породу. Он принадлежал к юным интеллектуалам, которые, казалось, уже с пеленок все знали и все понимали. По умственному развитию они сильно опережают сверстников, по физическому же – наоборот, отстают, поэтому все их речи кажутся наивными.

Мальчонка сразу же обнаружил, что знает здешние достопримечательности как свои пять пальцев, и прямоком повел меня к «Давиду» Гвидо Рени, которого намеревался сфотографировать. Непонятно, чем этот чванливый придурковатый детина, щекастый, лупоглазый, в дурацкой шапчонке с пером, кое-как втиснувшийся в звериную шкуру, так пленил Этьена? Из его слегка смущенных разъяснений я сумел понять, что этот Давид видится Этьену представителем особо почитаемой им людской породы – тех, *кто никогда не ведает сомнений*. Вот что, оказывается, восхитило Этьена! Бывают люди прекрасные, но не слишком органичные, беспомощные в жизни. А мы-то, если честно признаться, больше всего уважаем в людях именно приспособленность, приметы которой – умение соотносить желания с возможностями, четко отвечать на заданный вопрос, избрать занятие по способностям. Подобные люди рождаются, живут и умирают с необыкновенной естественностью, так как между ними и миром существует полное соответствие. Все же остальные – сомневающиеся, тревожные, скандальные, такие, как я, Этьен, лишь завидуем этой их естественности и восхищаемся ею.

Предаваясь данным размышлениям, я почти забыл о своем главном интересе, когда копия ватиканской статуи мне о нем напомнила. Хватило бы уже одной таблички на цоколе: *Herakles Pedephor*. Она изображала Геракла вместе с сидящим на его согнутой левой руке малолетним сыном Телефом. Педефор означает попросту Детоносец. Геракл Детоносец. . .

Этьен, разумеется, недоумевал, что привело меня в такой восторг. Тогда я присел перед ним на корточки и обхватил его ноги сзади колен. Мальчуган понял игру и сел мне на локоть. Я встал во весь рост и принял позу, словно опираюсь на палицу, как это делал мой прототип. Потом мы воспроизвели статую Гермеса, державшего на той же, неполноценной руке младенца Вакха. Но больше всего труда нам доставило изобразить копии двух статуй из Неаполитанского музея. На одной из них бьющий в цимбалы сатир повернул голову к оседлавшему его шею малолетнему Дионису, который левой рукой вцепился в его шевелюру, а правой – угощал гроздью винограда. Еще хорошо, что в зале больше никого не было, иначе не знаю, что бы о нас подумали, глядя, как я, вскинув на плечи своего неожиданного сообщника, добросовестно подражаю неподвижному танцу сатира, сопровождаемому страстным, хотя и беззвучным, боем в цимбалы, а Дионис стискивает мне шею своими запачканными голыми ляжками. Но все это ерунда по сравнению с мастерством, которое нам потребовалось, чтобы

изобразить вторую неаполитанскую статую – Гектора, несущего своего раненого брата Троила. Но как несущего! Ухватив за левую ногу, на закорках, вверх тормашками. Я вопросительно поглядел на Этьена, и тот вместо ответа протянул мне свою левую ногу. Я крепко схватил мальчугана за лодыжку и вскинул на закорки одним махом, чтоб он не стукнулся головой об пол. С внешней непринужденностью, поигрывая за спиной задыхавшимся от смеха пареньком, я в то же время буквально таял от форического упоения. Какой восторг! Слово медвяная река струилась по моим жилам!

У дверей Лувра мы расстались с Этьеном, и наверняка навсегда. Вспоминаю о пареньке не без тайной грусти, но уверен несомненно, непоколебимо, что отношения с каким-либо конкретным ребенком не для меня. Да и что это были бы за отношения? Они нашли бы один из проторенных путей, породив либо отцовские чувства, либо вождельство. Мое призвание шире и возвышенней. Завладеть одним единственным – мелочь, почти все равно, что ни одним. Отказаться же от одного-единственного – значит отказаться от всех разом.

10 ноября 1938. Всю ночь задыхался от ангелического приступа. Казалось, что меня засасывает песок, болото или я погребен под землей... Наутро, хотя грудь у меня все еще раскалывалась, я был счастлив, что избавился от своих ночных фантазий, – и настоящих тягот хватает с избытком. Чашечка почти невыносимо крепкого кофе. Кричанье во всю глотку. Потом еще одно. Не помогло. Единственная отрада – утреннее опорожнение. Быстро и аккуратно выдавил из себя отменную какашку, такую длинную, что ей пришлось перекрутиться, дабы уместиться в унитазе. Только умиленно глянув на этого пухленького младенца, порожденного мною из собственной живой земли, я, наконец, обрел душевное равновесие.

Запор – главная причина меланхолии. Как я понимаю пристрастие, которое испытывал Век Людовика к слабительным и клистирам! Нет хуже для человека, чем изображать ходячий бурдюк с дерьмом. Избавляют от данной участи лишь бодрые, обильные, регулярные испражнения. Увы, как редко даруется нам это счастье!

12 ноября 1938. Рашель и акт в чистом виде (когда потенция = 0), Жанно и эйфория. Урок ветхого Адама. Из этих деталей в моем сознании слагается единый узор, в котором можно различить шесть букв, составляющих имя Нестор.

Воля к власти. Вот что было главным устремлением Нестора. Теперь мне кажется, что для достижения власти над людьми у него было два пути. Один, целиком связанный с замкнутостью и, так сказать, коллегальностью жизни в школе, в самой сердцевине которой и угнездился Нестор, как паук в своей паутине, притом, что Нестору были доступны ключи от всех помещений, населенных слепо восхищавшимися им школьниками и робеющими перед ним учителями. Не случайно ведь Нестор умел столь точно определить степень сгущения этого тесного мирка, которое в школьном дворе было слабее, чем в часовне, в столовой насыщенной, чем в аквариуме, и достигало апогея в спальне, глухой ночью.

Но был и другой путь, возможность которого Нестор уже осознал, даже ступил на него, хотя и не успел далеко по нему продвинуться. Я говорю о *форическом* пути. Интерес к Христову и Альбукерку, конное ристалище, торжественное вручение мне велосипеда, который тоже ведь своего рода детоносец, свидетельствуют, что он был готов встать на этот путь. И думаю, что встал бы. Но действительно ли эти пути исключают друг друга? Бывает, что в одно и то же место можно прийти разными дорогами. Наше общежитие в школе – именно, что «общежитие» – не давало простора для фории. Она была там возможна разве что как тренировка, подготовка к будущим переноскам. Подлинная фория предполагает открытые пространства, притом разреженные, где она становится чем-то вроде кислородной маски, необходимой летчику на большой высоте.

Конечно, это чисто умозрительные рассуждения, но я добросовестно пытаюсь осмыслить

те немногие факты, которыми располагаю.

Так случилось, что со времени учебы в школе мне не приходилось сталкиваться со «сгущением», а тут я испытал на себе его воздействие целых два раза за одни сутки: первый раз в Лувре, второй – сегодня утром, и еще куда более могучее!

Это произошло на улице Риволи, если точнее – возле дома 119. Там есть проход через дворы, по которому можно выйти на улицу Шарлемань вблизи одноименного коллежа. Мой путь лежал на набережную Селестен, к одному из поставщиков, поэтому я свернул в эту сумрачную кишку, пролегающую через пару дворов-колодцев. В коллеже, видимо, только что кончились уроки, и меня чуть не смыл встречный поток галдящих школьников, устремившийся по узкому каналу. Потом он растекался по дворику, выплеснулся в другой, а когда и тот переполнился, вновь устремился по каналу в сторону Риволи. Я боролся с течением, как лосось в стремительной речке, ошалевший, помятый, но и невероятно счастливый, счастьем маленького цветка, все тычинки которого налетевший ураган оплодотворил пылью. Во мне бушевал восторг, сходный с тем, что я испытал, подняв на руки раненного колпачком от шины Жанно. Однако на этот раз он был еще полнее, ярче, а мое состояние, возможно, еще возвышенной форического экстаза, ибо вместо одного ребенка их было множество.

Теперь я понимаю, почему из всего занудного курса философии мне в память врезалась пара строк из декартовского «Рассуждения о методе»: «Дабы ничего не забывать, я исчислимое пересчитываю, а неделимое разглядываю». Уверен, что этот завет имеет прямое отношение к главному увлечению Нестора. Достоинство замкнутого мирка, живущего лишь по собственным законам, в том, что там легче следовать данному универсальному правилу.

Но я-то теперь живу в открытом пространстве, давно изгнанный из несторовой цитадели с ее исчислимыми обитателями. Я словно бреду наугад, но все же вдохновляемый уверенностью, что некая незримая нить ведет меня к неведомой мне цели. «Пусть память о Христофоре сделает твой шаг уверенным».

Вернувшись в гараж, я решил проверить, сколько именно детей проживает во Франции на данный момент. Свои изыскания я ограничил двенадцатью годами, возрастом, который считаю самым характерным, своего рода расцветом детства, за которым, увы, следует упадок вследствие начавшегося полового созревания. Вот цифры, которые мне предоставил знакомый журналист, специализирующийся на демографии:

РОЖДАЕМОСТЬ ВО ФРАНЦИИ

Год	Общее количество	Мальчики	Девочки
1926	767500	392100	375400
1927	743800	379700	364100
1928	749300	383600	365700
1929	730100	373000	357100

Выходит, что 1938 год был исключительно урожайным. Подобное сгущение детей до двенадцати еще долго не будет достигнуто, так как их число в 1939 году упадет, в 1940 чуть увеличится по сравнению с предыдущим, но зато в 1941 еще больше уменьшится.

15 ноября 1938. Вчера вечером супруги Жэрве почти силком затащили меня в Оперу на мощатовского «Дон-Жуана».

Оперу я всегда терпеть не мог, но только теперь понял почему. Потому что она карикатурно выпячивает черты, присущие каждому полу. Если мужчина, то настолько мужественный, что

просто зверюга. Если женщина, то настолько женственная, что постоянно бьется в истерику. Признаться, я даже толком не могу понять, почему уверен, что такое качество, как *бодрость*, столь ценимое мною, по сравнению с которым другие свойства мне кажутся не более, чем фальшивыми монетами или чеками без покрытия, совершенно чуждо жанру оперы. Опера способна быть мужественной, величавой, великолепной, даже по-своему красивой – помпезной, заносчивой, браваурной красотой. В ней могут наличествовать глубина, жестокость, страсть. Все, что угодно, только не бодрость. Ее начисто лишены и музыка, и декорации, и само действие, и тем более актеры. Опера для меня – зрительный зал вместе со сценой, – одно из тех душных пространств, где остро чувствуется отсутствие детей. Тьфу на нее!

Но как раз вчерашняя опера, вынужден признать, врезалась мне в душу, как заноза. По самой простой причине – в Дон-Жуане я узнал себя. Ну, разумеется, если меня загримировать, переодеть, короче, замаскировать. Ведь в этом лишенном бодрости мирке можно существовать лишь в ложном обличий, тая подлинный образ как от зрителей, так и от партнеров. К примеру, когда Лепорелло зачитывает список побед своего хозяина, соблазнившего в Германии сто сорок женщин, в Италии – двести тридцать, во Франции – четыреста пятьдесят и, наконец, в Испании – тысячу три, я узнал владеющую мной *страсть к уничтожению*. Дон-Жуану, как и мне, Рашель была бы вправе бросить: «Ты не любовник, а людоед». Поскольку я не слеп и не глух, я, разумеется, обратил внимание на ужасную гибель соблазнителя, подобная которой (и столь же назидательная) наверняка ожидает и меня. Я уверен, что как-нибудь ночью каменный гость, сошедший с надгробья, постучится и в мою дверь своим мраморным пальцем, а потом возьмет меня за руку, протянутую для приветствия, и мы вместе низвергнемся во тьму, из которой нет возврата. Однако ночным гостем будет отнюдь не оскорбленный убитый мною отец. В его лице я различу свой собственный облик.

Теперь я понял, какой конец меня ожидает: угнездившийся во мне каменный человек одержит окончательную победу над существом из плоти и крови. Это свершится именно ночью, когда я весь во власти рока; предсмертный крик и последний вздох замрут на моих каменных губах.

2 сентября. Ожидая окончания занятий у дверей муниципальной школы, расположенной на бульваре Соссей, я вообразил огромный совок, который бы вдруг сгреб высыпавших из школы детишек. Конечно, в первую очередь он подхватил бы толкающегося толстяка, но заодно и поторопившихся выбежать на волю школьников. Живо представляю себя барахтающимся в этой куче черных, отороченных красным сюртуков, голых ляжек и радостных мордашек.

9 декабря 1938. Газеты дружно галдят об аресте в Сель-Сен-Клу, в собственной вилле «Ля Вульзи», некоего немца по фамилии Вайдман, подозреваемого в семи убийствах.

12 декабря 1938. Сегодня утром выпал снег, слегка припорошив землю. Событие достаточно редкое, так что человек с фотоаппаратом ни у кого не вызовет подозрения. С аппаратом на шее я поднялся по проспекту Руль, добравшись до коллежа Сент-Круа в то время, когда ребята затеяли во дворе чехарду – потрясающий балет, фигуры которого, постоянно сменяющие одна другую, наверняка нечто означают. Но что именно? Все в этой игре пронизано смыслом – фигуры, комбинации, композиции, их разрушение, перемена. Только что означают данные знаки? Вопрос, который неизбежен в нашем символизированном мире. Увы, не нашел я пока ключа к его иероглифам.

Я припал к решетке школьного двора и сквозь прутья направил объектив на резвящихся ребятишек, испытывая восторг с долей смущения, который охватил бы охотника, отстреливающего зверей в клетках зоологического сада. Моя цель была – последовательно запечатлеть ежесекундно меняющиеся состояния этого маленького замкнутого сообщества. Будь я проклят, если, изучив фотографии на свежую голову, что-нибудь не раскумекаю! Посадить детей

в клетку... Любезная для моего людоедского сердца картина. Но ведь картонку с дырочками для чтения шифра тоже называют решеткой. И это, поверьте, не просто омонимия.

15 декабря 1938. Обеденный перерыв. Передо мной сидит Жанно и, запустив руку в шевелюру, читает книжку. Если его окликают, он упирает палец в строчку, на которой закончил чтение. Когда же приходится оторваться от чтения надолго, то он, выудив из кармана карандаш, помечает ее крестиком.

Читал он «Пиноккио» итальянца Коллоди. Я пролистал оставленную мальчуганом книгу, заранее уверенный, что она, как и все детские книжки, напичкана ужасами. Писатели, видимо, считают детей какими-то безмозглыми, толстокожими скотами, которых можно расшевелить, лишь врезав хорошенько по мозгам! Перро, Кэрролл, Буш – отпетые садисты, у которых достославному маркизу недурно бы поучиться.

Поначалу «Пиноккио» показалась мне более гуманной книжкой. Это была история ожившего деревянного человечка, связанная с древней и трогательной традицией театральных феерий. Однако мое заблуждение развеял зловещий эпизод, когда самого Пиноккио и его друга Луминона за плохую учебу превращают в пару ослов. Несчастные простирают руки, на коленях молят о пощаде. Но их мольбы постепенно превращаются в ослиные иа-иа, их сложенные ручонки – в ослиные копытца, лица – в ослиные морды, их штанишки рвутся сзади с мерзким треском под напором черного мохнатого хвоста. Я и вообразить себе не мог столь ужасной картины. Даже несчастья Ослиной шкуры, которая была вынуждена себя изуродовать, дабы пресечь инцестуальные поползновения собственного отца, не произвели на меня столь гнетущего впечатления, как агония этих двух пареньков.

Однако я понял, что чудовищное несчастье, постигшее Пиноккио и Луминона, – событие вполне обыденное, которое наблюдаешь сплошь и рядом. Половозрелость – вот имя злой ведьмы, одним взмахом волшебной палочки умеющей обратить карету в тыкву, а мальчика в осла. Двенадцать лет – вершина детства, возраст наивысшего расцвета, когда мальчик превращается в перл творения. С каким радостным доверием относится он в эту пору к окружающему миру, который кажется ему замечательно устроенным. Его лицо и тело столь прекрасны, что сравнения с обычным двенадцатилетним мальчуганом не выдержит ни один красавчик постарше. А потом – катастрофа. Одна за другой являются уродливые приметы возмужалости – щеки обрастают гнусной щетиной, тела обретают свойственный взрослым трупный оттенок, выскакивают прыщи, член становится и впрямь ослиным, огромным, бесформенным и зловонным. Низвергнутый с трона маленький принц делается похожим на тощего, горбатого, шелудивого пса с блуждающим взглядом, жадно роющегося в отбросах кинематографа и мюзик-холла, короче, на подростка.

Впрочем, все это вполне естественные перемены. Время цветения миновало – пришел черед плодов и колосьев. Вот-вот попадет простак в капкан законного брака и вместе с другими потянет тяжеленный воз. То есть примет на себя бремя размножения, приобщится к тому демографическому поносу, который вдруг прохватил человечество. Печально, обидно. Но с чего бы? Не на этом ли навозе взрастут новые цветы?

18 декабря 1938. Следствие по делу Вайдмана, семикратного убийцы, в самом разгаре. Это детинушка ростом метр восемьдесят один сантиметр и весом сто десять килограммов. Как раз мои габариты.

21 декабря 1938. Утром шел на работу проспектом Руль и уже миновал школьный двор. Дальше до самого моего гаража тянулась вереница мастерских и насосных станций. Я не успел далеко отойти от Сент-Круа, когда вдруг меня поразил крик, перекрывший детский галдеж. Этот гортанный вопль, долго звучавший на одной ноте, словно рвавшийся из самых потаенных телесных недр, завершился чередой модуляций, одновременно радостных и торже-

ственных. В нем было удивительное сочетание благозвучия и полнозвучия, музыкальности и дикости.

Я поспешил вернуться к решетке, уверенный, что обнаружу в школьном дворе некое удивительное, невообразимое явление или существо. Ничуть не бывало. В моих ушах все еще переливался этот кристалл, сверкающий всеми обертонами человеческой плоти, а ребятишки сновали по двору, как ни в чем не бывало, словно звуковое чудо мне только померещилось. Интересно, кто же из этих человечков сумел издать столь верный и торжествующий зов? Для меня все они были на одно лицо, поэтому я мог заподозрить каждого.

Я еще долго стоял, вслушиваясь в замирающее эхо «крика», который, и затухая, приглушал звонкий галдеж ребячьих игр и потасовок, разбудивший во мне воспоминания о Св. Христофоре. Потом пробил колокол, и ребятишки потянулись к дверям колледжа. Вскоре двор опустел, и я отправился дальше. Однако перед этим я записал точно день недели и время, когда до меня донесся «крик», хотя глупо было бы рассчитывать, что подобное чудо свершается по часам.

23 декабря 1938. В угрюмом здании на бульваре Соссей располагаются подготовительные и начальные классы муниципальной школы, и для девочек, и для мальчиков. У меня уже вошло в привычку каждый день в шесть часов вечера встречать выходящих из школы малышей. Однако сегодня я подгадал еще и к перемене, и был потрясен согласием доносившихся из-за стены школьного двора голосов. Я замер, замороженный этим дружным хором, в котором, однако, хорошо различались отдельные голоса, прихотливым чередованием пауз и всплесков, фермат и повторов *mezza voce*. Я все ждал, что услышу крик, подобный тому, что столь глубоко меня растрогал позавчера, у решетки колледжа Сент-Круа, поскольку уверен, что он порождение не индивидуального гения, а выражение в едином вопле всей сути детства.

Подлинного «крика» мне так и не довелось услышать, но вдруг могучий согласный хор прорезала изящная трель, дивное пиццикато, одновременно и ласковое, и насмешливое, тончайшее, словно кружево. У меня тотчас защипало в глазах и я едва ли не прослезился. Непременно выпрошу у Карла Ф. его американскую машинку и буду день за днем записывать музыку *каждой* школьной перемены, а дома прослушивать, прослушивать магнитные катушки, пока не уловлю основные мотивы этих симфоний. И кто знает, может быть, в конце концов я сумею подпеть ребячьему хору или по крайней мере воскресить в памяти звуковой образ той или иной перемены: 25 ноября, вечерняя – пожалуйста, 20 декабря, утренняя – мигом. Ведь удастся же проиграть в уме какой-нибудь квартет Бетховена или этюд Шопена.

Предаваясь мечтам освоить новый музыкальный жанр, я наблюдал за изливавшимся из школьных ворот бурным потоком мальчишек, удивляясь бодрости, которую им удалось сохранить после нескольких часов заточения. Я обратил внимание, что первыми вырываются на волю всегда одни и те же несколько пареньков. Они-то уже запали мне в память, в отличие от своих однокашников, как всегда, устроивших в воротах шумную давку.

В это время из других ворот истекал лепечущий ручеек девчушек, к которым я приглядывался с острым любопытством. Прекрасно, что мальчиков и девочек обучают отдельно! Мужчины и женщины столь различны, столь мало приспособлены для совместного проживания, что было бы глупо, даже преступно не разлучить их с раннего детства. Но в то же время всем известно, что кошка и собака способны ужиться, только если их выкормили из одной соски.

28 декабря 1938. Какое невыносимое уныние наводят опустевшие школы, их дворы в пору рождественских каникул! Как прожить без этих животворящих оазисов, без этих кислородных подушечек, хоть на миг дающих возможность продышаться от смрада взрослого мира? Выходит, что ребячья свобода для меня худшая пагуба. От их рассеяния я страдаю физически,

начинаю задыхаться, как в разреженном воздухе.

В таком вот мерзком настроении я посетил сегодня утром мессу во славу Невинных Младенцев, убиенных Иродом. Почему вдруг эта кровавая бойня связалась в моем сознании с тем воплем, который никак не могу забыть? Ожидая, когда начнут читать отрывок из Евангелия от Матфея, описывающий избиение младенцев, я спрятался за колонну и рыдал от умиления и жалости.

31 декабря 1938. Буквально через несколько секунд наступит 1939. Одетые в клоунские колпаки мужчины и женщины, наверно, мечут горсти конфетти друг другу в лицо. Я встал с постели изнуренный, измочаленный, вконец измученный бессонницей. Мне казалось, что я иду по краю бездны одиночества, как лунатик по карнизу. Уверенность, что в наступающем году небеса разразятся ливнем огня и серы, наводила на меня ужас и отчаянье. Я раскрыл Библию, но эта туманная, как раз в моем вкусе, книга отозвалась во мне лишь многократно усиленным эхом собственного моего плача.

Горе мне выжгло глаза,
Истомлено мое тело.
Нет мне желанней жилища
И ложа милее, чем гроб.
Я взываю к могиле: «О, мать моя!»
Я взываю к червям: «О, мои братья!»
Под водою колышутся тени умерших.
Божьему оку преисподняя открыта до дна,
Ибо бездна разверста пред Божьим Престолом.
Она дотянулась до хлада межзвездных пространств,
Она землю сжимает в объятьях своей пустоты,
Она воды хранит
В надежных сосудах своих облаков,
Она спрятала Божий Престол,
Окутав его облаками.
Она провела по глади морской о коем,
Разделяющий темень и свет.
Бог пожелал, чтобы я заплутался в ночи.
Он порвал мой пурпурный наряд,
Он корону сорвал с моей головы и расшиб о скалу.
Он и меня размозжил,
Вырвал с корнем, как древо, из сердца надежду.
Но Бог и казнит, и целит,
Той же дланью наносит рубец и врачует.
Я верю – моим устам вернет он улыбку
И те разразятся ликующим гимном.
Тотчас земля переполнится счастьем,
Вспенится радостью море,
Любовь захлестнет все деревни,
Возликуют деревья в лесах, вскинув гордые кроны –
Так резвые кони трясут своей гривой.

2 марта 1939. Не делал записей с начала года. Да и вообще не уверен, жил ли. В детстве зимой я будто низвергался в бездну. Сумрак, холод и промозглость зимы порождали во

мне чувство невыносимости бытия. Потребовались годы, чтобы я понял, что все это лишь приметы времени года, отвратительнейшего, надо сказать. По мере того как я старею, время постоянно ускоряет свой бег, и прежде казавшиеся длительными периоды сжимаются, становясь переносимыми. Однако зима еще не настолько сжалась, чтобы я мог разом перемахнуть эту пропасть. Когда-нибудь, возможно, и сумею. А пока еще у меня не хватает сноровки, и я уж в который раз рухнул в шахту Января-февраля с чувством, что канул туда безвозвратно.

Я уже потому ненавижу зиму, что сама она испытывает ненависть к телу. Обнаженную плоть она бичует и казнит с рвением пуританского проповедника. В этом смысле можно сказать, что холод – моралист построжее самого упертого праведника. И это понятно – ведь *тела суть знаки*, а зима несимволическое время, когда затихают голоса и гаснут огоньки, которые обычно указывают мне путь. Зимой я растерян, живу, словно уткнувшись лицом в стенку и заткнув пальцами уши. . .

Однако сегодня утром порывы теплого ветра разогнали тучи и, наконец, утих дождь, хлеставший всю ночь по окнам гаража. Дыхание моря согнало угрюмость с небес. Возвращаясь домой, я вдруг оказался в толпе девчушек с голыми, закоченевшими коленками. Ничего, Моявель, доживем еще до белых маек и носочков, до летних юбочек и коротких штанишек! Готовь свою американскую машинку, чтобы воровать голоса детей, и фотоаппарат, чтоб похищать их образы.

Но не забывай при этом о своем предчувствии беды, которая рано или поздно разразится!

4 марта 1939. Шестьдесят два кардинала с приставленными к каждому секретарем и почетным караульным позавчера заперлись в ватиканском зале конклавов. Когда они пели *Veni Creator*, разгневанные небеса заглушили их молитву могучими грозowymi раскатами. Таким образом, весь мировой цвет церковных подонков разом оказался взаперти, под надзором маршала конклава князя Чиджи и под бдительным оком выставленных у каждой двери папских гвардейцев вкупе с аудиторами Роты.

Никому не под силу описать тот чудовищный шабаш, который устроили эти 186 старцев, наверняка сумевших довести сгущение до невиданных поныне пределов. Лишь черный дым, валивший из трубы Сикстинской капеллы, свидетельствовал о том, сколь дьявольским забавам предавалась эта опьяненная своей безнаказанностью свора.

Наконец сегодня, в пять часов тридцать минут пополудни, кардинал Какка Доминиони с главного балкона собора Св. Петра, под которым был уже расстелен ковер с гербом Пия IX, возвестил, что выбор сделан.

– С великой сердечной радостью, – заверил прелат, – называю вам имя нового папы, ибо избран Достойнейший Из Достойных – кардинал Еугенио Пачелли.

После чего собравшаяся под балконом толпа дружно затянула *Te Deum*.

Понятия не имею, что за тип этот Пачелли. Однако почему-то он носит то же имя, что и подозреваемый в убийствах Вайдман. Потом я как-то видел в газете его фотографию: вылитая мумия Рамзеса II, если ее высушить до полной потери человеческого облика. Типичный антипастырь, одержимый всеми бесами Чистоты. Как раз по нынешним временам, учитывая грядущий вскоре апокалипсис.

15 марта 1939. В стайке девочек, выходящих из школы, что на бульваре Соссей, я заметил удивительную красоточку, выглядевшую уже вполне женщиной, несмотря на отсутствие груди и ободранные коленки. Собственно, даже не я ее углядел, а скорей она меня. Свершилось нечто роковое. Вот уже две недели я каждый день дежурю у ворот школы то с фотоаппаратом, то с американской машинкой Карла Ф., спрятанной в недрах моего драндулета и выдающей себя лишь микрофоном, вознесенным на стержень, который я укрепил между двух дверей. А то и разом с обоими приборами, у которых ведь различное назначение: машин-

ка предназначена, чтобы записывать музыку перемены, а фотоаппарат, чтобы запечатлевать выходящих из школы детей.

Теперь я знаю, что девочку зовут Мартина – так ее окликали подруги. Я уже стал подумывать, что неплохо бы опробовать форию с девчушкой. То, что я вырос в чисто мальчишеской среде Св. Христофора, превратило для меня девочек в *terra incognita*, которую пора бы, наконец, исследовать.

21 марта 1939. Начало весны было для меня отмечено двумя вехами – черным камнем и белым камнем. Уверен, что отныне судьба будет мне отмерять точно поровну удач и неприятностей.

Черный камень: я узнал из газет, что Вайдман, за делом которого я внимательно слежу, родился во Франкфурте 5 февраля 1908 года и был единственным ребенком в семье. Я тоже единственный ребенок. И родился я 5 февраля 1908 года в Гурнее-ан-Брей. Мало того, что у семикратного убийцы те же рост и вес, что у меня, так он еще и рожден в один со мной день. Даже выразить не могу, как для меня мучительны все эти совпадения.

Белый камень: вчерашняя вечерняя перемена, которую мне удалось записать от начала до конца, относится к высшим достижениям своего жанра. В первый раз музыкальная симфония обогатилась действием, превратившись в ораторию. Вот она вся у меня на катушке, которую я уже прослушал раз двадцать и буду прослушивать вновь и вновь.

Зачином данного шедевра послужил могучий возглас, прозвучавший словно среди всеобщей тишины, так как он вобрал в себя все детские голоса до единого. Затем этот монолит разбился на множество отдельных выкриков – вариаций на заявленную тему, постепенно затихавших. И вдруг – пауза, долгая, томительная, леденящая душу. Затем – новый согласный возглас, но на этот раз в нем различались отдельные выкрики, в которых звучали все неисчислимы оттенки негодования. И вот явилось слово, выделявшееся на этом блеклом фоне, как написанное густым багрянцем: ПОДЛЕЦ! Наученный горьким опытом, я узнал эту паузу, всегда предшествующую оскорблению, призванную его подготовить и оттенить, поэтому, когда слово наконец прозвучало, я уже вжался в кресло, словно предчувствуя оплеуху. Потом, как повелось, согласный хор вновь распался, разбился на очажки звучаний, причем легко угадывалось, чем занимается та или иная ребячья группка: одни играли в футбол, другие – в «пятый угол», пара пацанов выясняли отношения, кто-то выкрикивал считалочку. Однако подобная конкретика лишь затемняла глубинный смысл данной музыкальной драмы, суть которой – стремление некой общности к внутреннему разнообразию, жажда превратиться из нерасчлененного всеединства в совокупность личностей. Но то были тщетные потуги – вновь многоголосье слилось в единый вопль, восторженный и трогательный одновременно, в котором, словно в зеркале, я различил радостные и торжествующие ребячьи мордашки. Потом бухнул колокол, разом обратив в руины возведенный детьми музыкальный храм, взорвал его, стер в порошок, оставив только шорох калош по утрамбованной земле.

Прокручивая магнитную катушку уже раз в двадцатый, я не уставал радоваться, что машинка сохранила все оттенки пятнадцатиминутной симфонии, многие обертоны которой, казалось бы, легко распознаваемые, я ухитрился проворонить. Собственно, когда я слушал музыку перемены живым ухом, она представлялась мне хотя и восхитительной, но все же какофонией, раскрывшись как цельное творение лишь при многократном внимательном прослушивании.

Только ярчайший символ способен сокрушить стену, возведенную нашими близорукостью и тугоухостью. Дабы понять, что все в нашем мире – символ и притча, следует постоянно

быть начеку.

6 апреля 1939. Альбер Лебрен переизбран Президентом Франции. За него проголосовало пятьсот шесть сенаторов и депутатов из девятидесяти, собравшихся в версальском Дворце конгрессов. Что ж, эти господа доказали свое умение делать правильный выбор – Лебрен наиболее удачно совмещает в себе подлость с ничтожностью личности.

14 апреля 1939. Сегодня вечером Мартина запеленала свое худощавое личико черной шелковой косынкой. В ее мордашке, лишенной таким образом комментария в виде белокурых кудрей, теперь ясно прочитывалось сходство с ликом мадонны, серьезность которого лишь подчеркивало его детски невинное выражение. Ах, как она была прекрасна! Девчушка поглядела на меня пристально, однако без улыбки.

1 мая 1939. Когда мне случается колесить по городу на своем драндулете, чувство полного довольства я испытываю, лишь ощущая на шее ремешок фотоаппарата, в то время как сам он покоится у меня между ног. Это по сути огромный член, заправленный в кожаный гультфик. Машинка тотчас распаивает свое циклопье око, стоит мне приказать ей: «Гляди!» – и сразу вновь захлопывает. Великолепный орган, наблюдательный и памятный, с проворством ловчего сокола бросающийся на добычу, дабы похитить у нее для своего хозяина самое в ней сокровенное, но и обманчивое – ее внешний облик. Потрясает уже то, что эта симпатичная штуковинка одновременно и таинственная бездна, умеющая вместить всю красоту мира, которая покачивается на ее кожаном ремешке – то есть подобье кадилницы! Каждый кадр разматывающейся в ее недрах пленки подобен острому взгляду слепца, прозревшего лишь на миг и потому не способного забыть единственный в его жизни зрительный образ.

Я всегда любил фотографировать, проявлять, печатать. Сделавшись владельцем гаража, я тут же превратил одну темноватую комнатку с водопроводным краном в фотолабораторию. Но лишь теперь я понял истинный смысл, так сказать, провиденциальность, своего давнего пристрастия. Очевидно сходство фотографирования с неким колдовским обрядом, имеющим целью подчинить себе личность фотографируемого, чему доказательство – свойственный некоторым страх быть в прямом смысле «снятым». Также фотографирование сходно с обжорством. Если приглянувшийся объект нельзя слопать, как, например, какой-нибудь пейзаж, то его уж на худой конец снимают на пленку.

Бросается в глаза отличие фотографа от живописца, которому для работы необходим яркий свет. Он кропотливо, ни от кого не таясь, кладет мазок за мазком, чтобы выразить на холсте свои чувства, свою личность. Фотографирование же – акт мгновенный и магический, напоминающий взмах волшебной палочки, которым фея превращает тыкву в карету, а юную красотку в спящую красавицу. Художник эмоционален, щедр, центрирован. Фотограф скуп, алчен, обжора, и наоборот – центробежен. Если так, то я – прирожденный фотограф. Не имея возможности подчинить детишек своей власти, я завладеваю ими с помощью оптической ловушки. Не правда ли, весьма гуманный способ овладения? Что бы со мной ни стряслось, я навсегда сохраню нежные чувства к этим картинкам, сверкающим и глубоким, как озера, в которых я по вечерам словно совершаю восхитительные тайные омовения. Волшебная бумажка, где запечатлен потерянный рай, о котором я вечно скорблю, будто взяла в полон саму жизнь, бодрую, полнокровную, бьющую через край. Фотоколдовство, именно средство овладеть фотографируемым, обрести над ним власть, схожую с властью насильника или убийцы над своей жертвой. Однако я ставлю перед собой куда более обширную, истинно великую задачу даровать материальному существу иное, более возвышенное бытие, преобразив его всей *мощью моей фантазии*. Несомненно, что фотографии отражают материальную жизнь, но это одновременно и фантазмы, то есть они естественно вплетаются в мир моих грез. Фотография обращает материальное в духовное, возводя таким образом на более

высокий уровень существования. Она мифологизирует объект. Объектив – это узкие врата, миновав которые, мои возлюбленные становятся богами и героями, но одновременно – моими *пленниками*, персонажами моего тайного пантеона.

Таким образом, чтобы до конца удовлетворить свою страсть к людоедству, мне не придется фотографировать всех детей в мире или даже только во Франции. Поскольку фотография как бы абстрагирует объект, превращая конкретного ребенка в некий детский тип: фотографируя одного, ты обретаешь их тысячу, десять тысяч. . .

Первое мая выдалось погожим, солнечным, и я, наскоро позавтракав, отправился на охоту за детскими образами, разумеется, приладив аппарат на его законное генитальное место. Мои глаза сами превратились в видоискатель, шарящий в поисках образов по ветвям деревьев, по тротуару, заглядывающий в соседние машины. Праздношатание прохожих и даже уличных собак подтверждало, что сегодня действительно праздник трудящихся. Глядя сквозь ветровое стекло на прогуливающиеся толпы, я словно разглядывал витрину искусно декорированную оформителем по имени Первомай. Регулировщики, у которых тоже, по справедливости, должен быть выходной, трудились без обычного рвения, бодро приветствуя меня своими белыми жезлами.

Я бросил свой драндулет у моста недалеко от Елисейских полей. Унылые чайки, замершие навек рыбаки, зимующие яхты, семейство мелких служащих, надраивающих свой автомобильчик речной водой, – видимо, лучшее их развлечение в праздник. Одиноким речник, свирепо откачивающий воду с баржи, – каждое его движение сопровождалось желтоватым извержением чуть повыше ватерлинии. Мне пришлось, рискуя хорошенько искупаться, прыгнуть в приткнутую к берегу лодку, чтобы поймать видоискателем разом и желтый выброс, и черный угрюмый борт баржи, и суеющегося вверху, на фоне небес, человечка, который всякий раз подпрыгивал, чтобы обрушить на помпу весь свой вес. На пирсе бесчинствовал какой-то паренек, развлекавшийся тем, что ослеплял прохожих зеркальным лучиком. Я попросил парнишку направить лучик мне в объектив, заранее зная, что на фотографии получится белое пятно, из которого будет выглядывать физиономия, блаженно гогочущая во весь свой щербатый рот.

Стайки пацанов носились по эспланаде дворца Токио на роликах. Другая группка рядом играла в футбол. Конькобежцы презирали футболистов. У футболистов даже мысли не являлось встать на ролики. Различие между теми и другими было почти биологическое. Как муравьи бывают крылатые и бескрылые.

Мне приглянулись двое катальщиков, чернявых пареньков, наверняка братьев, одинаково одетых, похожих и лицами и фигурами: Только один был большой, а другой маленький – фавн и фавненок. Катались они классно – выписывали замысловатые фигуры, перепрыгивали одним махом через несколько ступенек. Я попросил ребят, взявшись за руки, немного поворачиваться перед огромным горельефом, изображающим Терпсихору и неизвестную нимфу танцующими на фоне идиллического пейзажа, и запечатлел обе эти пары, столь различные, но безусловно чем-то сходные. Затем я объяснил пацанам, что Терпсихора – одна из Граций, покровительствующая любителям роликов. Тут всеобщим вниманием завладел юный велосипедист, догадавшийся водрузить заднее колесо своей машины на роликовый конек. Я был восхищен изобретательностью паренька, совместившего несовместимое – две любимейшие детские забавы. Обездвиженное колесо покоилось на ролике, который мерзко скреб по каменным плитам.

После недолгой заминки катальщики вновь расшалились вовсю. Опять пошли догонялки, прыжки, вращения, перепляс, сопровождавшиеся устрашающим скрежетом коньков. Вот какой-то паренек на миг замер, чтобы перепрыгнуть ступеньки, но шлепнулся и кубарем покатился с лестницы, простершись у ее подножия, как тряпичная кукла. Присмотревшись, я узнал

в нем младшего из братьев, фавненка. Наконец, парнишка зашевелился, сел, потом привстал на правое колено. Он не плакал, но на лице его было написано страдание. Я опустился перед мальчуганом на колени и пощупал его подколенную впадину. Погрузив руку в эту влажную, мягкую, трепещущую ложбинку, я весь растаял от нежности. Ребро мраморной ступеньки отметило ее удивительно аккуратной ранкой, пурпурным овалом безупречной формы, циклопым оком с тяжелыми приспущенными веками, только что выколотым, еще кровоточащим. Оно постепенно вытекало струйкой лимфы, протянувшейся вдоль икры до приспустившегося носочка. Пока двое пареньков стягивали с раненого коньки, я обнажил два оптических дула – видискатель и объектив. Теперь только бы ему встать на ноги, хотя бы на минутку. Я помог мальчугану подняться, но его шатало, паренек был весь зеленый. «Сейчас шлепнется», шепнул какой-то пацан, что и последовало бы, но я успел подхватить бедолагу. Прислонив мальчонку к стене, я сделал первый снимок, хотя и был заранее уверен, что при столь ярком освещении он получится невыразительным. Тут необходим боковой свет, который оттенит бы пурпурное сияние циклопьего глаза. Я развернул мальчугана в четверть оборота, и мой механический глаз впился в кровавое циклопье око: стеклянный, но зоркий и меткий, – он словно вглядывался в выколотый глаз, с которым никогда не скрестишь взгляда. Встав на колени перед этой статуей, изображающей скорбь, я сделал последний кадр, охваченный восторгом, которого не смог скрыть. Наконец, наступил вожделенный миг. Спрятав аппарат в футляр, я правой рукой подхватил паренька под колени, левой – подмышки и встал во весь рост со своей драгоценной ношей.

Когда я встал в полный рост, плечи мои коснулись небес, и главу мою осеняли архангелы, певшие мне хвалу. Духовные розы одаряли меня нежнейшим из своих ароматов. Не прошло и месяца, как я уже во второй раз, охваченный форическим экстазом, держу на руках раненое дитя. Не свидетельство ли это, что новая эра в моей жизни наступила окончательно и бесповоротно?

Однако мой вдохновенный лик наверняка изумил окруживших меня мальчуганов. Так что пора было возвращаться с небес на землю, повести себя, как любой взрослый в подобном случае. . .

Я пристроил фавненка на заднем сиденье своей машины, отдав на попечение фавна. Подбросив ребятишек к аптеке на площади Альма, я отбыл восвояси, распевая песни и нежно поглаживая покоящийся между колен кожаный футляр для картинок, полный новых сокровищ, великолепие которых, как я уже чувствовал, превзойдет самые смелые ожидания.

4 мая 1939. Все утро бродил под прохладными сводами церкви Св. Петра в Нейи, озаренный солнечным светом, сочившимся через витражи. Услышав младенческий писк, я заглянул в боковой неф, где находилась купель. Там все было готово к обряду крещения. Кучка друзей и родственников столпилась вокруг черноволосого здоровяка, торжественно несшего на руках младенца, запеленатого в нечто вроде фаты. *Крестный отец подносит своего крестника к купели.* Я впервые уловил близкий мне смысл таинства крещения, своего рода венчания взрослого с ребенком.

Ну, разумеется, это не единственный, даже не главный смысл данного обряда. Кстати, случайно ли меня ни разу не приглашали в крестные отцы? Как бы то ни было, но мне приятно думать, что свидетелем крещения я стал не случайно, что это имеет *некое* отношение к моему призванию. Я увидел в этом если не доказательство того, что мир поворачивается ко мне лицом, то хотя бы намек на, возможно, мучительную, но отнюдь не губительную перемену. Верю, что лицевая сторона явлений будет уже отмечена моим вензелем, что удостоверит мою всегдашнюю причастность истинному бытию.

7 мая 1939. Проявление пленки, точнее, разглядывание негативов, весьма грустное заня-

тие. Когда смотришь негатив на просвет, изображение потрясает своим изяществом, которое, как ты уже знаешь, наверняка поблекнет на фотографии. Мало того, что позитив будет лишен всех прелестей негатива – богатства деталей, глубины тонов, таинственного освещения, но он еще обернет вспять осуществившуюся в негативе дивную инверсию. Лицо с белыми волосами и черными зубами, с черным лбом и белыми бровями, украшенное глазами с черными белками и светлыми пятнышками зрачков; пейзаж, где кроны деревьев прячут белыми лебедями в чернильных небесах, – причем, самые пышные из них негатив делает скудными, а редкие, наоборот, тенистыми – все это противоречит нашему зрительному опыту. Казалось бы, *инверсия*, но чисто изобразительная, следовательно, не такая уж и *злокозненная*, ибо легко *обратимая*.

Красноватый сумрак фотолаборатории – подлинное царство негативов. Вчера, около семи вечера, я заперся в своей клетушке и, как всегда, потерял счет времени. Уже глухой ночью я буквально выполз из нее на карачках. Все же есть нечто от черной мессы в самовластном распоряжении столь интимным достоянием личности, как ее внешний образ. При том, что увеличитель напоминает дарохранительницу, красное освещение наводит на мысль об адском пламени, а строго последовательное использование ванночек с реактивами – об алхимии. К тому добавлю, что запахи бисульфита, гидрохинона и уксусной кислоты образуют вонь, вполне достойную колдовского действа.

Но все-таки колдовская мощь процесса печатанья фотографий прежде всего выражается в возможности увеличить изображение, а также произвести инверсию. Нет, речь идет, не только об уже поминавшейся замене черного белым и наоборот. В негативе к тому же перепутаны правая и левая стороны. Так что с уже проявленной пленкой производится двойная инверсия, которой, бывает, предшествовала еще одна, так как видискатель старых фотоаппаратов напоминает зрачок младенца, видящий мир вверх тормашками. Только этих мелочей уже хватает с лихвой, чтобы доказать сходство фотографик с магией – черной и белой одновременно.

У меня уже набрался полный ящик негативов – колосков, которые я подобрал на своем опытном поле. Целый батальон на диво послушных детишек. Могу любого, на выбор, взять и размножить, хоть всю клетушку набить его изображениями – разложить фотографии на столе, увешать ими стены, даже к себе пришить. Захочу, так отпечатаю не целиком паренька, а любую часть его тела, увеличенную донельзя, – какую пожелаю и когда пожелаю. Возможность размножить изображение – великое благо. Окружающий мир, конечно, неисчерпаемый источник образов, за которыми охотиться и охотиться, но мой улов, как ни был он богат, уже иссяк. Сколько бы я ни накопил негативов, их множество всегда будет конечным. И мне ли, пастуху, не знать поголовье молодняка в своем стаде? Но с конечного числа негативов я могу отпечатать бесконечное количество фотографий. Когда я соберу полную коллекцию, актуальная бесконечность превратится в потенциальную, явить которую буду способен я один. Таким образом, фотография станет средством одомашнить дикую бесконечность.

14 мая 1939. Чета Амбруаз занимает три комнатухи в моем гараже. Амбруаз выполняет обязанности консьержа и сторожа, а мадам Евгения бездельничает, каковому занятию наверняка предавалась всю жизнь.

Амбруаз рассказал мне, как они познакомились. Свершилось данное событие лет сорок назад, на Северном вокзале. Он тогда был начинающим столяром, а мадемуазель Евгения барышней в глубоком трауре, прибывшей из брабантского захолустья. Уверен, что она принадлежала к породе белокурых красоток, добродушных, пухленьких и вечно ноющих, поскольку защитой им служит лишь несокрушимая сила их собственной слабости. Она поспешила в столицу за наследством. Отец Евгении, проживавший в Париже у своего сына, только что умер, оставив кое-какие средства. Евгения была уверена, что ее брат-священник не обездолит

свою младшую сестренку. По крайней мере, так она представила дело Амбруазу на перроне Северного вокзала. Ее будущий супруг уже тогда был тощим, как скелет, и даже успел облачиться в свою неизменную черную люстриновую тройку, но еще не утратил решительности и предприимчивости. Узнав, что барышне некуда податься, Амбруаз тотчас подхватил два ее чемодана и напрямик предложил поселиться у него, заверив в честности своих намерений. «Вот уже сорок лет, – обреченно посетовал как-то Амбруаз, – я все таскаю ее чемоданы!»

Едва вселившись в квартирку Амбруаза и легко дав себя соблазнить, Евгения тотчас там обустроилась и с тех пор повисла на шее сожителя ярмом, тем более тяжким, что надежды получить наследство вскоре рассеялись как дым: то ли священник оказался прохиндеем, как утверждала его сестренка, то ли отец умер без гроша. Все сорок лет – последние годы уже под моей кровлей, – парочка словно разыгрывает пьеску для двух персонажей. Мужской персонаж – костистый и кривобокий, подкручивая седые усы, без усталости клеймит откровенный идиотизм и выдающуюся лень своей подруги, с которой, кстати, так и не обвенчался. Последняя же – слоноподобная, белотелая, рыхлая, с зачесанными за огромные, как у спаниеля, уши серыми космами, развалясь в кресле, неустанно восхваляет своего трудолюбивого муженька, на которого просто молится. Еще бы – в свободное от своих служебных обязанностей время он успевает и убрать дом, и сбежать по магазинам, и приготовить еду, и помыть посуду. Что и говорить, если с его стороны это любовь, то еще какая трудная!

Евгения весьма болтлива. Невыразительным, ноющим голосом, каким-то монотонным речитативом она словно зачитывает бесконечный список несовершенств, присущих, по ее мнению, эпохе, вещам и людям. Признаться, я долгое время не вслушивался в то, что она несет. Когда мне случалось забегать к Амбруазу, я относился к монологам его супруги, как к привычному журчанию крана, из которого течет горьковатая теплая водица. Но как-то раз я заметил, что ее голос подчас, обычно в конце куплета, неожиданно взмывает чуть не на целую октаву, обогащаясь серебристыми обертонами, в которых слышится весенний щебет птиц и позвякивание пастушеского бубенца. Потрясенный внезапной сменой регистра, когда скучный речитатив мгновенно обернулся тем, что я называю «перезвоном бубенчиков», я разом проник в смысл слов, облеченных в звуки колокольцев и птичий щебет, а заодно и предшествующих им занудных речений, состоявших исключительно из гнусных поклепов, гадких обвинений и подлых вымыслов. Я узнал, что Жанно приворочивает в соседнем универсаме, Бен Ахмет подрабатывает сутенером у местной проститутки-соотечественницы, а заправщик-итальянец, которого я нанимаю в дни большого наплыва клиентов, отнюдь не удовлетворяется лишь своим законным процентом и чаевыми. Но главное – я понял, что мои вылазки на фотоохоту не укрылись от глаз зоркого и недоброжелательного свидетеля.

Как-то раз я возвращался с особенно удачной охоты, потряхивая фотоаппаратом, который резвился на своей привязи, как верный пес, довольный, что услужил хозяину. Счастливый и умиленный, я проходил мимо окон Амбруазов, когда вдруг услышал следующее высказывание:

– А вот и месье Тиффож возвращается с рынка. Прикупил свежего мяса, теперь запрется в темной комнатке и все скушает. Некоторые вещи лучше делать в темноте, правда?

Принадлежало оно, разумеется, Евгении, причем в ее голосе заливался целый оркестр колокольцев.

18 мая 1939. Долгое время я предпочитал делать снимки тайком от фотографируемого. И быстро, и без хлопот. К тому же, так я меньше трушу, что всегда сопутствует похищению человеческих образов. Но теперь я понял, что все же лучше, отринув страх, сходиться с фотографируемым лицом к лицу. Пусть он, заметив, что его снимают, удивится, возмутится, встревожится, или наоборот – обрадуется, возгордится, пускай в ответ скорчит рожу, сделает вызывающий, даже похабный жест. Когда лет сто назад при операциях начала применяться

анестезия, отнюдь не все хирурги пришли в восторг. «Хирургия умерла, сетовал один из подобных. Боль служила связующим звеном между врачом и больным. А теперь хирургическая операция мало чем отличается от вскрытия трупа». Почти тоже самое в фотографии. Телеобъективы, позволяющие делать снимки на большом расстоянии, исключая непосредственный контакт с фотографируемым, убивают самое волнующее в данном акте: некоторую душевную боль, испытываемую обеими противостоящими личностями, которая связует жертву, знающую, что ее фотографируют, с охотником за образами, знающим, что дичь об этом знает.

20 мая 1939. Подмена белого черным и наоборот – не единственная цветовая инверсия в фотографии. Некоторая инверсия свойственна и серым тонам, однако с меньшей амплитудой, причем убывающей по мере приближения к идеально серому цвету, который получится, если смешать в равном количестве белую и черную краски. Можно сказать, что данный цвет – ось инверсии, как и положено, неподвижная и неизменная. Интересно, было ли когда-нибудь обнаружено точное определение *совершенной серости*, не подверженной никаким инверсиям? Я, увы, ни о чем подобном не слышал.

25 мая 1939. Школьники уже разошлись по домам, а я все уныло поджидал Мартину. Наконец, она появилась, самой последней, в полном одиночестве. Я подошел к девушке с вымученной улыбкой, призванной скрыть, каких трудов мне стоило отважиться на столь решительный шаг. Поздоровавшись с ней, как со старой знакомой, я с места в карьер предложил девушке отвезти ее домой на своем драндулете. Девочка ничего не ответила, но уселась в мою колымагу, дверь которой я предупредительно распахнул. Расположившись на сиденье, она упоительно женственным движением одернула свою юбочку. :

От волнения я словно язык проглотил, не сумев за всю поездку выдать из себя и пары фраз. Мартина не захотела доехать до самого дома, и я пришел в восторг от столь явного признака зародившегося между нами, отчасти даже преступного сообщничества. По просьбе девушки, я посадил ее на острове Гравд Жатт, если точнее, на бульваре Леваллуа, возле огромного домины, который, едва построив, тут же принялись ремонтировать. Мартина выпорхнула из машины, легкая, как эльф, оставив меня недоумевать, зачем ей понадобилось зайти в нежилое строение и сбежать по ступенькам, ведущим в подвал.

28 мая 1939. Отец у Мартини железнодорожник. Когда же она поведала про своих трех сестер, у меня тотчас разгорелось любопытство. Ах, как хотелось бы посмотреть на еще три версии Мартини – четырех-, девяти-, и шестнадцатилетнюю. Словно одна и та же мелодия, сыгранная в разных регистрах! В этом моем интересе выразилась моя вечная неспособность удовлетвориться единичным, постоянное стремление отыскать в нем общее, угадать мотив, таящийся за многочисленными вариациями.

Я всегда высаживал девушку перед теми же руинами. Она объяснила, что ход через подвал ведет прямо к ее дому на бульваре Виталь-Буо.

30 мая 1939. Любопытно, что, когда я увлекся детишками, мой аппетит словно умерился. По крайней мере, витрины молочных и мясные прилавки уже не влекут меня с прежней силой. Сырое мясо и парное молоко я поглощаю уже без прежней жадности, скорее по привычке. Однако ж не похудел ни на грамм! Видимо, общение с детьми тоже своего рода пища, но гораздо более изысканная, можно сказать, духовная, да и сам испытываемый мной голод стал скорее духовным, чем физическим, терзающим более душу, чем желудок. . .

3 июня 1939. Каждый день читаю отчеты о процессе Евгения Вайдмана. Уже одно рвение государственных органов, обрушивших всю свою мощь, чтобы добить отверженного всеми, столь очевидно преступного человека, вызвало бы мое сочувствие к убийце. Но еще и присутствует нечто роковое в постоянно множасьихся свидетельствах нашего с ним сходства. К примеру, сегодня выяснилось, что он левша и все убийства совершил именно левой рукой.

Такой вот леворукий убийца! Леворукий, как мои записки.

Какое счастье, что одна мысль о Мартине рассеивает все мои наваждения!

6 июня 1939. Способность запечатлеть кожу, в подробностях передать всю ее фактуру, ее клетчатый, точнее, ромбовидный рисунок, подметить каждый прыщик или ранку, открыты поры или закрыты, жесткие на ней волоски или мягкие, – вот в чем главная сила фотографии и перед чем бессильна живопись.

10 июня 1939. Какое умиление я испытываю, представляя семейство Мартины, сестер, мать, отца, собравшихся вечером за столом! У меня-то никогда не было семьи, поэтому мне так сладко видеть себя сидящим вместе с ними за ужином, при свете люстры, наслаждающимся уютом их гнездышка, самым дивным из возможных сгущений. Всякий раз, выходя на охоту, я рассчитываю подстрелить не более одного зверя, но любопытно, что его след неизменно приводит меня к целой звериной стае. Возможно, меня направляет обостренный нюх людоеда, но это не единственная причина. После тысячелетий собирательства человек стал охотником. После тысячелетий охоты – открыл для себя земледелие. Устав метаться по заснеженной пустыне, я мечтаю о цветущем саде, где сладкие плоды будут сами падать мне в руки, или скорее даже – влиться в покорное бессловесное стадо, запертое на время холодов в теплом уютном стойле, и беззаботно пережить зиму в многочисленном обществе жвачных.

16 июня 1939. Поганец Лебрен отклонил-таки прошение Вайдмана о помиловании. Пускай даже Вайдман совершил несчитано-немерено убийств, все его преступления меркнут перед злодеянием всевластного государственного мужа, который, не выходя из своего кабинета, мог бы одним росчерком пера запретить убийство узаконенное.

17 июня 1939. Мои темные страсти, которые я бессилён превозмочь, заставили меня поддаться на уговоры г-жи Евгении и ее подружек свозить их в Версаль поглазеть на казнь Вайдмана. Гаденькое возбуждение, с которым пожилые дамы подбивали меня на эту поездку, уже само по себе могло меня от нее отвратить, если бы не уверенность, что я просто обязан хоть напоследок взглянуть на великана, совершившего семь убийств, о котором мне все уши прожужжали газеты, столь подробно освещавшие следствие, а потом процесс.

Из них же я узнал, что казнят его на рассвете. Однако, по настоянию г-жи Евгении, мы выехали в девять вечера, чтобы занять лучшие места. Амбруаз решительно отказался участвовать в нашем сомнительном мероприятии, признавшись мне тайком, что счастлив хотя бы один вечер провести без супруги. Не успели мы далеко отъехать, а я уже изнывал от дурацкой болтовни набившихся в мою тачку четырех злобных сплетниц. В их брюзжание постоянно вплетался звон бубенчиков г-жи Евгении, облекавший в звуки очередную гнусность.

Уже в пригородах Версаля чувствовалось, что грядет важное событие. Дело не только в людских толпах, запрудивших улицы в столь поздний час, но еще и в духе сообщничества, превратившего этих мужчин, женщин, даже и детишек в банду злоумышленников. Каждый прекрасно знал, чем приманил Версаль всех остальных. Ну что ж, и я ведь такой же...

Я не без труда приткнул свою тачку на стоянке, что на улице Маршала Жоффра, и дальше мы пошли пешком. Толпа все прибывала, постоянно возникали пробки. Площадь Арм и площадь Префектуры превратились в автостоянки. Вокзал извергал одну за другой лавины пассажиров. Но любопытствующие приезжали не только на поездах и машинах, а еще и на велосипедах, среди которых преобладали tandems, столь гармонично объединяющие мужчину с женщиной, одетой в те же брюки-гольф и пуловер с воротничком.

Ровно в полночь погасли газовые фонари, что толпа приветствовала воплем восторга. Тень, рассеянная лучами фар, подфарников и карманных фонариков, бурлила смехом и перебранками. Иногда какой-нибудь уличный мальчуган отпускал смачную шутку или вдруг сатанели клаксоны. Я плелся следом за своими гарпиями, которые, направляемые г-жой Евге-

нией, растянулись цепочкой, как альпинисты в связке. Маяком для нашего нелепого каравана служила площадь Сен-Луи, где сияли огнями целых три бистро. Благодаря предусмотрительности и настойчивости г-жи Евгении, нам достался как раз столик на пятерых на одной из веранд, растянувшихся вдоль всего тротуара. Однако нашей вожатой этого показалось мало. Она устроила себе насест, взгромоздив стул на столик, и нам пришлось изрядно попотеть, чтобы посадить туда пожилую даму. Теперь она возвышалась над толпой, напоминая Бога-Творца, почившего от трудов. Мне же и ее товаркам выпало поддерживать шаткую башенку, которая была готова в любой миг рухнуть под напором толпы, и любоваться лишь слоновьиными лодыжками г-жи Евгении и ее фетровыми ботинками на застегках. Вокруг нас бурлил огромный пикник. Люди закусывали. Над толпой, в густо налитом запахом горелого масла воздухе, гуляли бутерброды и бутылочки с лимонадом. К часу ночи во всех кафе разом кончилось пиво. Толпа чуть заволновалась, но вскоре на площадь подогнали цистерну с красным столовым вином, за которым тотчас выстроилась очередь с канистрами. Г-жа Евгения достала из своей хозяйственной сумки два термоса, театральный бинокль и теплую шаль, в которую сразу же закуталась. Затем пожилая дама одарила нас чашечкой кофе.

В два часа пополудни кучка жандармов попыталась расчистить площадку перед тюрьмой Сен-Пьер, где надлежало возвести гильотину. Схватка была недолгой, но жестокой – затоптали какую-то женщину. Жандармы отступили, но их место заняла национальная гвардия, одержав полную победу, то есть оцепив роковой квадратик площади. Волна, порожденная военными действиями, докатилась и до нашей веранды, сбив с ног пару гуляк, разомлевших от вина и ожидания; они в обнимку рухнули в проход между столиками. Мне и трем дамам лишь с большим трудом удалось сохранить в целости обсерваторию г-жи Евгении. Однако настроение испортилось, и не только у нас одних. Возбужденная толпа не понимала, какого черта ее томят ожиданием. Где же, наконец, обещанное зрелище? Начали раздаваться выкрики, сперва разрозненные, потом единые. По-ра, по-ра, по-ра, – грозно скандировала орда в свои сто тысяч глоток. Неужто я один испытывал омерзение к этому взбесившемуся быдлу? На месте гвардейцев, которым все равно ведь не избежать соучастия в убийстве, я бы открыл пальбу по этой мрази или лучше выжег бы разом всю свору огнеметами. Вдруг скандирование сменилось дружным воплем: *А-а-а-а!* Г-жа Евгения со своей сторожевой башни сообщила, что толпа приветствует запряженный тощей клячей черный фургон, переваливающийся по булыжнику площади. В свете колеблемого ветром газового фонаря металась тень двух существ, которые, разгрузив фургон, принялись из готовых деталей сооружать Безутешную Вдову. В гробовой тишине раздавались лишь удары киянок и скрип входящих в пазы стержней. Прижавшись лбом к поддельному мрамору столика, я был почти в обмороке. Однако расслышал слова г-жи Евгении, обрушившиеся на меня, словно камнепад: «Защелка, ящик с опилками, кольцо, нож». Затем она сообщила, что в неосвещенных прежде окнах тюрьмы забрезжил свет. Я ждал, что с минуты на минуту раздастся дикий, отчаянный вопль великого одиночки. Но нет, опять какая-то заминка. Толпа вновь заворчала и угрожающе всколыхнулась.

Уже светало, когда из празднично иллюминированных тюремных ворот появилась кучка людей; они казались крошечными по сравнению с идущим впереди великаном в белой рубашке, выделявшейся в полумраке светлым пятном. Руки у него были связаны за спиной, ноги скованы цепью, так что идти он мог лишь семенящим шагом. Толпа облегченно вздохнула. Человечки сгруппировались у подножья гильотины, великана же буквально внесли на эшафот четверо подручных палача. Походил он при этом на средневековый надгробный монумент. Когда гиганта поставили на ноги, свет фонаря ярко высветил его мертвенно-бледное лицо. И тут среди всеобщего затишья зазвенели колокольцы г-жи Евгении, нежностью звучания напоминавшие хор мальчиков, сопровождающий возношение Святых Даров:

– Господин Тиффож, да ведь вы на одно лицо! Это ж надо, вылитый ваш брат-близнец! Поглядите, господин Тиффож, ну просто, как две капли воды!

Повинуясь жесту Анри Дефурно, подручные тотчас набросились на бледнолицего великана и поместили его шею в кольцо гильотины. Однако, не сразу. Привычный ритуал был нарушен, ибо выяснилось, что гильотина гиганту не по размеру. Кольцо было расположено так низко, что ему пришлось скрючить свое могучее тело. А его мучители, повергнув смертника на колени, промахнулись мимо выемки, и теперь суетились, стараясь водворить шею смертника на уготованное ей место, что оказалось непросто – пришлось тянуть страдальца за уши и за волосы. Это было и смешно, и жутко. Но вот, наконец, лязгнул нож. Предсмертный хрип. Струя крови. Казнь свершилась ровно в четыре часа тридцать две минуты.

Укрытый от глаз тронем г-жи Евгении, я блевал желчью.

20 июня 1939. Всю ночь меня терзали кошмары и галлюцинации, перемежаемые столь же мучительными проблесками полной ясности сознания. Но то и дело из этой мешанины выплывал огромный лучезарный лик Распутина. Я всегда считал, что Распутин был не только проповедником половой распущенности, но все свое немалое влияние при дворе использовал против милитаристских устремлений царской камарильи. Началом Мировой войны принято считать 28 июня 1914 года, день, когда в Сараево был убит эрцгерцог Франц-Фердинанд. Но, разумеется, никто не помнит, что в тот же самый день, а возможно и час, в некоей сибирском городке неизвестная проститутка, подкупленная русскими националистами, пырнула ножом Распутина. Прикованный к постели старец в своих посланиях умолял царя не затевать войну, однако всеобщая мобилизация была все же объявлена.

Этой жуткой ночью я понял, что Распутин не только лишь пророк и жертва благотворной инверсии. Он явил мне третью и высшую свою ипостась, представ в облике величайшего фора нашего века. Ведь руки старца, обладающие целительной силой, умели вырвать ребенка из объятий болезни, даровав ему жизнь и благодать. Мои ночные кошмары шарахались из-под ног сурового и просветленного гиганта, на руках которого покоился спящий царевич Алексей. Старец, словно огромный канделябр, вознес ввысь свечечку с трепещущим от муки прозрачным огоньком.

23 июня 1939. Отныне – ни единой сигареты, ни одной рюмки. Дети ведь не пьют и не курят. Если сам ты лишен истинной бодрости, вынужден ее воровать, то уж изволь по крайней мере избавиться от мелких пороков, так и смердящих взрослостью.

25 июня 1939. Вот уже четыре дня маюсь запором. Мало того, что меня буквально изводит сильнейший зуд в анальном отверстии – в подобных случаях это обычное дело. Но вдобавок до того расперло брюхо, что я превратился в довольно странное произведение скульптуры – бюст из человеческой плоти, водруженный на постамент из дерьма.

27 июня 1939. Казнь Вайдмана совсем выбила меня из колеи. Глаза постоянно слезятся. Ангелическая хворь словно налила свинцом мои легкие. Стараюсь дышать поглубже, чтобы их проветрить, но все равно никак не могу продышаться. Так и сижу у распахнутого окна; разевая рот, словно рыба на суше.

Даже стал подумывать, не обратиться ли к врачу, несмотря на все отвращение, внушаемое мне людьми этой мерзкой профессии, которые с полным равнодушием тискают больное тело, которое, как никогда, взыскует ласки. А коли так, можно себе представить, как они врачуют душу! Страх берет, когда подумаешь об этих чудовищных психушках, куда запирают одержимых дьяволом. Бездарные пастыри, коих во множестве плодит католическая церковь, и не умеют, и не желают изгонять бесов, предпочитая записать одержимых в «душевнобольные», чтобы сплавить их врачам, которые заточат страдальцев в глухую темницу.

Если уж идти к врачу, то к самому зачуханному, нищему, «несведущему». Представляю

себя в его приемной среди шлюх и забулдыг. Уверен, что уже его взгляд дарует мне надежду на выздоровление.

Но есть идея получше. Если уж ветеринар пользует всех животных подряд от колибри до слона, то почему бы ему не заняться и человеком? Схожу-ка к ближайшему ветеринару. Терпеливо отстою очередь в компании какой-нибудь кошки, лечащейся от бесплодия, попугая, мучимого катарактой, а потом бухнусь в ножки лекарю и уж сумею умолить его не отказать мне в помощи, которую он оказывает нашим меньшим братьям. Пускай представит, что я морская свинка или собачонка. Пусть приласкает, хотя бы как зверька. Но уж в любом случае я буду избавлен от допроса.

3 июля 1939. Каким же я был глупцом – верил, что современное общество позволит спокойно поживать человеку, способному на невинную любовь. Как бы он ни таился, оно рано или поздно с ним расправится. Злобное и тупое улюлюканье толпы убило во мне романтического влюбленного. Однако уже близок час моего спасенья, которое сулит им погибель.

Спокойствие, Моявель, уйми ярость, смири гнев. Ты ведь понимаешь, что твои злоключения – мелочь пред ликом грядущей вскоре Великой Беды, которую они предвещают!

Все было, как обычно: я встретил Мартину у ворот школы и посадил на бульваре Леваллуа, возле стройки. Она весело выпорхнула из машины, шаловливо махнула мне ручкой и скрылась в подвале. Я сидел, опершись локтями о баранку своего драндулета, любовался сквозь ветровое стекло лиловыми сумерками, ожидая, пока спадет волна нестерпимой нежности, которая всегда накатывала на меня в присутствии Мартины.

Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я услышал раздавшийся со стороны стройки душераздирающий крик. Нет, он нисколько не походил на музыкальный, богатый обертонами клич, потрясший меня у решетки колледжа! То был вопль раненого зверя. Словно лопнул воздух. Сперва я оцепенел, потом меня будто всосало в образовавшуюся воздушную воронку, выбросив из машины, протаскив через завалы строительного мусора и низвергнув в подвал. Вокруг была темень, но мне указывали путь протяжные всхлипывания, доносившиеся из глубины подвала, где светился квадратик другого выхода. Привыкнув к сумраку, я, наконец, разглядел Мартину, раскинувшуюся на сыром, устеленном щебенкой полу, с задранной юбкой, обнажавшей ее тощие ляжки. Я окликнул девочку, но та словно оглохла. Лишь трогательно посапывала, закрыв лицо руками, тем выражая всю глубину своего горя. Решительно взяв девочку за руку, я ласково, как только мог, заставил ее сесть. Тут она открыла свое лживое личико и завизжала: «На помощь! Спасите! Он на меня напал, напал, напал!» Обращен был ее призыв к мужчине, силуэт которого только что явился в световом квадрате.

Тотчас загалдели голоса, раздался топот, меня ослепил свет карманного фонарика. Потом я услышал мужской голос: «Кто на тебя напал?» Ответ Мартины меня оглоушил. Тыча в меня пальцем, она заверещала: «Вот этот, этот, этот!» Я совсем ошалел. Рванул к выходу, но ловкая подножка свалила меня наземь. Поднявшись на ноги, я обнаружил себя, окруженным кучкой рассвирепевших мужчин, в то время как две женщины хлопотали вокруг Мартины. В мои руки вцепились чьи-то проворные длани, а вперившиеся в меня чернью лица принялись изрыгать гнусную хулу. Меня вывели из подвала с заломленными за спину руками и сдали ближайшему постовому.

Когда меня пинком толкнули в воронку, я испытал облегчение. По крайней мере, меня не растерзает собравшаяся вокруг озверевшая толпа. К тому же я надеялся, что в полиции все выяснится. Однако на первом же допросе в Неийском комиссариате я с ужасом понял, сколь жалко звучат мои оправдания по сравнению с уверенными показаниями Мартины, подкрепленными несомненными уликами. Не могу понять – то ли эта девочка сумасшедшая, то ли действительно уверена, что это я на нее покусился во мраке подвала? Или, может

быть, решила таким образом раз и навсегда от меня избавиться? Вообще-то я успел заметить, что детские вымыслы всего лишь потакают взрослым. Поставленный в тупик ребенок будет говорить то, что они от него ожидают. Так что рано или поздно какой-нибудь коварный молокосос все равно меня бы подставил.

Ночь я провел в Неийском комиссариате, а утром меня вновь затолкали в воронок и доставили на набережную Орфевр, где передали ведомству по борьбе с сутенерством, к которому относилась также и полиция нравов. Где-то ближе к вечеру меня допросил начальник данной службы. Точнее, он меня даже и не допрашивал, что знаменательно, а просто ознакомился с моими прежними показаниями.

Оказанный мне комиссаром вежливый, хотя и сдержанный, прием поначалу меня слегка ободрил после вчерашнего ужаса и ночи, проведенной в обществе сутенеров и карманников. Впервые за сутки со мной обращались, как с человеком, даже не без некоторой деликатности. Однако именно он хладнокровно нанес мне смертельный удар. Оказывается, еще утром нашлись свидетели, сообщившие, что я постоянно невесть за чем крутился рядом со школой на бульваре Соссей. Тотчас в гараже был произведен обыск, обнаруживший фотографии и магнитные ленты. Когда же меня ознакомили с некоторыми показаниями г-жи Евгении, я окончательно понял, что крепко влип. Не дав мне опомниться, комиссар добил меня заключением медицинской экспертизы, не оставлявшим сомнений, что изнасилование было совершено. И, наконец, на основании следственных материалов охарактеризовал меня парой слов: сексуальный маньяк. Тут распахнулась дверь, и в комнату вошла Мартина. Вот оно что, оказывается, все тут было заранее продумано, чтобы меня растоптать! Сколь меня ни обливали грязью до сих пор, все это померкло перед гнусными обвинениями, которые обрушила на меня маленькая чертовка. Показания она давала четко, внятно, со множеством непристойных подробностей. У меня рука не повернется передать даже сотую часть тех гадких измышлений с редчайшими проблесками правды, которые она навывдумывала мне на погибель. Напоследок комиссар довел до моего сведения, что изнасилование ребенка до пятнадцати лет подпадает под действие статьи 332 уголовного кодекса, предусматривающей наказание сроком до двадцати лет исправительных работ.

– Уверен, что адвокат будет доказывать, что вы душевнобольной. Значит, в ваших же интересах чистосердечно во всем признаться, – посоветовал мне комиссар на прощание. – Сейчас вас проводят к следователю, который снимет с вас повторные показания. Пока будет идти следствие, то есть до того, как против вас будет выдвинуто официальное обвинение, вы считаетесь одним из свидетелей, скажем... главным.

Ободрив меня последним сообщением, комиссар призвал охранника, который отконвоировал меня на самый верхний, третий этаж. Там у меня взяли отпечатки всех десяти моих пальцев, обмакнув их один за другим в типографскую краску, а потом сфотографировали в фас и в профиль. Это меня-то, записного похитителя образов? Смехотворнейшая злокозненная инверсия! После этого начались дела посерьезней.

Своей теснотой, духотой и близостью комнатка напоминала преисподнюю. Их было трое – коротышка, великан и ни то ни се. Последний барабанил по клавишам старенькой пишущей машинки, тархтевшей, как пулемет. Великан усердно изображал добряка, в то время, как коротышка источал ненависть. Беседу начал великан, сообщив, что речь идет о простой формальности. Мол, все улики налицо, показания свидетелей сходятся, мне осталось лишь подписать признание, которое они успели совместно сочинить. Я поспешил ему возразить, что в том-то и загвоздка, что главный свидетель Авель Тиффож не признает себя виновным в изнасиловании. Великан развалился в кресле, и на его лице расплылась гнусная ухмылка.

– Давайте я вам для начала расскажу сказку. Жил-был один холостяк. Он владел гаражом

на площади Порт-де-Терн. . .

И здоровяк с довольным видом принялся перечислять изобличающие меня факты, опущенные комиссаром. Благодаря фотографиям следователям стало известно происшествие возле дворца Токио, г-жа Евгения донесла им о случае с Жанно. Короче, вся цепочка улик, причем несомненных, приводила к однозначному выводу, что я просто не мог не изнасиловать Мартину. Таким образом, мои запирательства, мол, неразумны, и разве что озлобят присяжных, когда я предстану перед судом.

Однако я «запирался» еще целых шесть часов, обливаясь потом, шатаюсь от усталости, осыпаясь проклятиями и тычками. Наконец, коротышка подтащил меня к висевшему над умывальником зеркалу. «Взгляни-ка на свою рожу, – прошипел он. – Ведь вылитый убийца. У присяжных и сомнений не будет». Я невольно взглянул в зеркало и убедился, что это как раз чистая правда. Потом мозгляк сообщил, что у него дочка возраста Мартины, поэтому таких сволочей, как я, он с превеликим удовольствием собственноручно сажал бы на кол. Поскольку человечек оказался мне по плечо, он поторопился снова посадить меня на стул. Мне показалось, что теперь меня ожидает пощечина, и поспешно снял очки – вдруг да разобьет, тогда я ко всему еще и ослепну. Но коротышка предпочел плюнуть мне в лицо. Когда я понял, что произошло, и почувствовал струйку слюны, стекающую по моей щеке, я тут же встал на ноги. Троица в страхе отпрянула, ожидая буйства. Ах, как же они ошиблись! Мною, напротив, овладело глубокое, едва ли не радостное, умиротворение. Лишенный очков, я был погружен в мягкий, ласковый полумрак. Я чувствовал, как под моими ногами вдруг начал содрогаться пол. Так бывает на корабле – подрагивание палубы свидетельствует о том, что наконец разгорелись топки, и пассажиры знают, что уже поднят якорь, а в машинном отделении надолго завязалось таинственное и сложное взаимодействие механизмов, побуждающее пароход плыть. Вот-вот грядет Великий Рок, который определит и мою участь. В моем сознании явился полузабытый образ: подрагивающий гироскоп Нестора, его совершенная игрушка, служившая Нестору несомненным и зримым доказательством вращения земли. Каждой своей косточкой я чувствовал биение ритмов мироздания.

Я улыбнулся и предположил, что допрос окончен. С поразительной даже и в других обстоятельствах покорностью здоровяк вызвал охранника, который отвел меня в тюремную камеру. Всю ночь бурлящий во мне восторг не давал мне заснуть. Прочь повседневные заботы! Забулькал гигантский котел Истории. Никому не известно, что за варево там готовится, как и никто не ведает, кому доведется попасть в кипяток. Школа вскоре запылает, как то случилось в Бовэ. Но куда более, грозным пожаром, достойным статей великана Тиффожа и ужаса нависшей над ним угрозы.

12 июля 1939. Меня посетил мэтр Лефевр, назначенный моим защитником. Первым делом он предостерег меня от излишнего оптимизма. По его мнению, дела мои столь плохи, что у него нет иного выхода, как доказывать, что я слабоумный. Я в ответ посоветовал не терять со мной времени попусту, ибо не будет никакого суда, соответственно нет нужды и в защитнике. История уже на марше. Скоро вострубят иерихонские трубы и падут стены моей темницы. Мне показалось, что после подобного заявления мэтр еще более укрепился в намерении выдать меня за психа. Он спросил, не нужно ли мне, кроме карандаша и бумаги, которые мне предоставили на второй день заточения, какой-нибудь книжки, чтобы развлечься во время наступающей поры отпусков, когда все равно никто пальцем не пошевелит. Я сгоряча попросил Библию, но потом передумал. Единственная книга, в которой я насущно нуждаюсь, это уголовный кодекс.

16 июля 1939. Не следует обольщаться, что все эти люди ненавидят меня по недоразумению. Да если б они знали правду, если бы они меня *понимали*, то возненавидели бы во сто

крат больше, и уже совершенно сознательно. Вот если бы они понимали меня *до конца*, тогда бы они меня полюбили. Как любит Бог, понимающий меня до конца.

30 июля 1939. Уголовный кодекс. Весьма поучительное чтение! Общество словно оголяет свои срамные части, выбалтывает постыднейшие фантазмы. Очевидно, что главная задача правосудия – защита собственности. Ни единое преступление не карается столь жестоко, как поправление права собственности. За поножовщину и побои можно отделаться небольшим сроком. Ограбление же, если преступник был вооружен, или хотя бы в машине, на которой он прибыл на место преступления, хранилось оружие, карается смертью. Однако нелепая жестокость большинства законов делает их неприменимыми. Такое впечатление, что некий *теоретик*, сочинивший их в тиши своего кабинета, сделал все, дабы смирить мстительные устремления практиков – судей и присяжных, – так как, поступай они строго по закону, превратились бы в настоящих живодеров. Очередная инверсия. Закон, кажется, принадлежащий перу кровавого маньяка, словно призывает к здравому смыслу судей и присяжных, принуждая его смягчить.

Некоторые категории граждан закон считает преступниками *a priori*. Возьмем параграф 227: «Нищий или бродяга за хранение оружия, при том, что он не применял его и не угрожал применением, а также приспособлений, пригодных для совершения кражи со взломом. . . карается сроком от двух до пяти лет тюремного заключения». Или, к примеру, женщина, изобличенная в супружеской измене, может схлопотать пару лет тюрьмы, разве что сам оскорбленный супруг возьмет ее на поруки (параграф 337). Кстати, супруг имеет законное право прикончить ее вместе с любовником, если вдруг застанет их с поличным на супружеском ложе. Само собой, что жена подобным правом отнюдь не обладает (324). Об инцесте закон умалчивает, из чего следует, что мужчина может преспокойно жить со своей дочерью или матерью, а если пожелает, так с бабушкой или внучкой, даже вступать с ними в законный брак, плодить детей.

Просто карандаш выпадает из рук. Какая-то дикая смесь глупости, злобы и циничной трусости!

3 августа 1939. Мои бессонные тюремные ночи очень уж напоминают ночные бдения в Св. Христофоре. То, что рядом нет Нестора, не так уж важно, ведь он живет во мне. Можно сказать, что я сам себе Нестор. Когда я, мучимый бессонницей, лежу с закрытыми глазами, передо мной проносится вся моя жизнь, как это бывает на смертном одре.

Пытаюсь извлечь философский урок из моей катастрофы с Мартиной. Я все равно люблю детей, однако отныне – за исключением девочек. Но, собственно, что такое девочка? Или она бывает, как говорится, сорванцом в юбке, или, что чаще, маленькой женщиной. Вот почему у школьниц столь умилительно-комический облик: это ведь крошечные дамочки. Семянят на своих коротеньких ножках, колыша подолами платьиц, которые ничем, кроме размера, не отличаются от одеяния взрослых женщин. Да и поведение у них, как у взрослых. Не раз наблюдал трех-, четырехлетних девчушек, относящихся к мужчинам уморительно по-женски, в то время как мальчуган тех же лет относится к женщинам отнюдь не как взрослый мужчина. В таком случае стоит ли вести речь о девочках, *если их по сути не существует?*

Я в самом деле уверен, что девочек не бывает. Тут ложное удвоение. Природа стремится к симметрии. Поскольку существует разделение на мужчин и женщин, должно существовать и разделение на мальчиков и девочек. Однако девочка не больше, чем ложное окно, обманка, как, например, грудные соски у мужчин или не дымящие трубы морских лайнеров. Я пал жертвой миража, оттого и угодил в темницу.

3 сентября 1939. Пишу эти строки на площади Терн, в своем рабочем кабинете. Сегодня около полудня я был отпущен на свободу. В девятом часу меня привели к следователю, который произнес примерно такое напутствие:

– Тиффож, вы под подозрением, против вас серьезные улики. В мирное время я бы предъявил вам обвинение и отдал под суд. Однако объявлена всеобщая мобилизация, мы на пороге войны. А вы, согласно учетной карточке, подлежите призыву первой очереди. В конце концов, вы ни в чем не признались, а малышка Мартина, возможно, и в самом деле мифоманка, как многие девочки в ее возрасте. Короче говоря, ваше дело закрыто. Но помните, Тиффож, что именно война вернула вам свободу, и постарайтесь искупить свои ошибки доблестью на полях сражений.

В столь отменно деликатной форме мне советовали пожертвовать своей шкурой. Но будет ли толк? Школа вновь вспылала. Вся Франция, готовясь к войне, засуетилась, как растревоженный муравейник. Но ведь нет и в помине того подъема, который был в 1914! На этот раз не нашлось Пеги и Барресов, готовых устно и письменно изрыгать на молодое поколение свою патриотическую блевотину. В результате будущие солдаты даже хорошенько не знают, за что им предстоит воевать. А действительно, за что? Только я один, Авель Тиффож по прозвищу Детоносец, микрогенитоморф и последыш в семье великих форов, это знаю, а потому...

Шпики перевернули вверх дном мой кабинет. Конечно, сперли все до единой фотографии и магнитные ленты, но как ни странно, я обнаружил валяющимся на полу растрепанный блокнот с моими «Мрачными записками». Должно быть, этот малограмотный народец не сумел разобрать мои «леворукие» каракули. Прочитай их, они бы, возможно, и поняли, кто я таков...

4 сентября 1939. Посмеиваться я способен только днем. В тенетах ночи я дрожу от страха перед надвигающейся великой бедой. Пока мои ближние спят, я с ужасом вглядываюсь во мглу...

И вдруг мне даровано было слово. Когда мое ухо уловило невнятный шепот, я весь содрогнулся до кончиков пальцев, и каждый волосок на моем теле встал дыбом от ужаса. Совсем рядом прошествовала тень, в которой я различил некое существо, ступающее тяжелым шагом, от которого содрогалась земля.

Господи, подтверди, что я никогда не жаждал апокалипсиса. Что я ласковый, исполненный нежности, безобидный великан, огромные кисти которого сложены в виде люльки. Ты ведь знаешь меня даже лучше, чем я сам. Я еще не произнес слов, а Ты уже ведаешь, что я скажу. Отчего же так грозно нависли озаряемые сполохами небеса, отчего кровавая испарина выступила на почве, отчего дым крематориев затмевает небесные звезды? Я молил Тебя лишь о том, чтобы, втиснувшись в промозглые темные спальни, водрузить на свои плечи лесоруба насмешливых и своевольных наездников. Но Твои трубы разорвали в клочья ласковую темень. Твои знамена привели меня в ужас, Ты распугал мои сны, как легкую стайку бабочек, Ты повлек меня за руки и за волосы ввысь по своей сияющей лестнице!

С тайным восторгом причастился в боковом нефе церкви Св. Петра в Нейи, почувствовав в сухой пресной облатке свежий, бодрящий вкус плати Младенца Иисуса. Но какова же подлость католических священников, которые отказывают мирянам в причастии, в то время, как сами вкушают тело Господне орошенным Его теплой кровью!»

II ГОЛУБИ РЕЙНА

В Елисейском дворце Президент Республики обратился к маршалу, как к крупнейшему авторитету в военной области:

– Чем вы объясняете столь беспрецедентный разгром?

Господин Лебрен задал самый животрепещущий вопрос, в ответ на который мы ожидали подробного анализа военной стратегии. Я слушал очень внимательно, потому запомнил ответ маршала дословно:

– Видимо, телефонная связь оказалась ненадежной. Противник имел возможность перерезать провода. Думается, мы слишком поспешно отказались от почтовых голубей. Надо было в тылу соорудить голубятню, тогда Ставка не потеряла бы связь с войсками.

Мы в недоумении переглянулись.

Лоран-Эйнак

Прибыв 6 сентября на сборный пункт в Рейн, Авель Тиффож благодаря своей нестандартной фигуре был тотчас обмундирован с головы до пят. Если комплекты ходовых размеров успели уже разобрать, то амуниции для великанов и карликов осталось столько, что можно было бы одеть их всех, сколько ни есть на свете. Через три дня Тиффож был переброшен в Нанси, где квартировал 18 полк связи, и зачислен в учебную команду.

Попытавшись выучить азбуку Морзе, Тиффож явственно почувствовал, что внутри у него словно щелкнула задвижка. Впервые за долгие годы его заклинило – сработал тот же стопор, что отравил ему все детство и отрочество. В ту пору стоило Тиффожу взяться за изучение нового предмета, как ему тут же отказывали и соображение, и память. Чтобы поощрить прилежание новобранцев, взводный награждал наиболее отличившихся в деле освоения морзянки увольнительными в город. Разумеется, на долю Тиффожа выпало безвылазно пребывать в казарме. Выходило, что по причине всеобщей мобилизации его не освободили из заточения, а просто перевели в Другую тюрьму. Но это и для всех был период неопределенности. Если бы даже ему и довелось разрешиться не катастрофой, а победой, он бы все равно вспоминался как тягостный и бессмысленный.

Первые же занятия показали, кто из новичков чего стоит. Инструкторы, вынужденные каждый вечер составлять протоколы о сохранности телеграфных аппаратов, любой из которых обязан был пахать, как зверь, вообще предпочли бы не подпускать к ним новобранцев. В то время, как все же удостоенные этой чести буквально задыхались под лавиной сообщений, на большинство из них отвечая лишь сигналом бедствия ППМ (повторите, передайте медленней), обязанности Тиффожа заключались в том, чтобы крутить ручку электрогенератора. Занятие несколько однообразное, но Тиффож с ним смирился тем более охотно, что ему каждый день приходилось наблюдать, Как муштруют пехотинцев, заставляя их ползать по лужам, изматывая постоянными марш-бросками. В январе 1940 года неспособность Тиффожа выучить весьма условные, ничего не говорящие воображению, убогие значки азбуки Морзе вполне официально удостоверил экзамен на капрала, который он провалил. После чего рядовой второго класса Тиффож был переброшен в Эрстейн, расположенный в двадцати километрах от Страсбурга, между Рейном и 83-й автострадой.

Задача его подразделения, состоявшего из двух десятков телефонистов и стольких же радистов, заключалась в том, чтобы превратить почтовое отделение этого шеститысячного городка, большинство жителей которого было эвакуировано, в нервный узел дивизии, наладив связь между ее расположенным в здании мэрии штабом, с одной стороны, и тремя пехотными полками, защищавшими линию Мажино, разведкой из африканцев, легкой артиллерией, тяжелой артиллерией, инженерной службой, а также службой тыла, – с другой.

За несколько недель Тиффож истоптал все окрестные дороги и тропки, волоча за собой кабельную катушку или приладив нагрудник с телефонным шнуром, в то время, как два его помощника, снабженные стремянками и кошками, прокладывали шнур вдоль карнизов домов, перебрасывали его с дерева на дерево или с одного телеграфного столба на другой. Тиффож смахивал на огромного паука, источавшего паутину, тянущуюся следом за ним бесконечной нитью. Он полюбил свои походы по зимним просторам – они его бодрили и к тому же не требовали умственных усилий. Вскоре Эрстейн и впрямь превратился в средоточие паутины, где сплелись сорок воздушных телефонных линий, являвших собой превосходную мишень для вражеского самолета-разведчика. Так, по крайней мере, утверждал младший лейтенант Бертольд, славящийся своими враждебными выпадами против телефонистов.

Телефонисты и радисты втайне терпеть друг друга не могли. Последние, кичась своей и более современной, и менее громоздкой техникой, вообще не понимали, зачем надо прокладывать да потом еще охранять телефонный кабель. И казалось, свершившееся под самое

Рождество событие подтвердило ненадежность телефонной связи. Простершиеся между противниками мутные воды Рейна не помешали, однако, вражескому громкоговорителю обрушить на защитников линии Мажино лавину сплетен и бахвальства. Немцы поздравили с наступающим праздником каждую воинскую часть в отдельности, называя ее номер и перечисляя офицеров поименно. Потом пошутили, что теперь у них появилась возможность поздравить телефонистов лично, так как, наконец, завершена прокладка кабеля в районе Эрстейна. Затем последовало подробное описание используемых аппаратов и их технических возможностей. Тем бы дело и кончилось, если бы французский наблюдатель не засек на правом берегу реки раструб водруженного на грузовик громкоговорителя, с каковым попытался покончить при помощи снайперской винтовки. Данный поступок был грубейшим нарушением негласных правил добрососедства равно уважаемых обеими сторонами. Значит, следовало, ждать возмездия.

Осуществить отмщение выпало пикирующему бомбардировщику, совершившему с утра пораньше налет на здание почты. Как только пулеметные пули защелкали по черепице, Тиффож и шестеро его сотоварищей кубарем скатились в подвал, укрепленный деревянными подпорками. Самолетик еще несколько раз заходил на атаку и сбросил кучку маленьких бомб, не принеших никаких разрушений. Можно было бы сказать, что французская сторона отделалась легким испугом, если бы раскаленная печь, оставленная на время налета без присмотра, не подпалила ближайшую к ней коммутаторную доску, устроив таким образом небольшой пожар.

Среди царящей в дивизии скуки налет превратился в значительное событие. Даже пронзительный свист входящего в пике бомбардировщика вызвал горячие споры. Одни утверждали, что самолетик снабжен специальной сиреной, призванной вселить ужас в противника, другие, – что это предупредительный сигнал для летчика: когда самолет приближается к земле, звук нарастает, когда удаляется – затихает, отсюда, мол, и сходство с сиреной. Тиффож не принимал участие в этих перебранках, однако же к ним прислушивался, постепенно укрепляясь в мысли, что современная война лишь сражение символов – цифр и значков. Поэтому самое страшное – не понять вовсе или понять неверно зрительный или звуковой сигнал. Но ведь в таком случае Тиффожу и карты в руки. Однако он не умел расшифровать символы, не облеченные в тела, то есть лишенные истинной жизни, символы, которые, обратившись в мертвое умозрение, словно парили в мире абстракций, каждый сам по себе, безо всяких причинных взаимосвязей. Поэтому он терпеливо ждал мига, не сомневаясь, что таковой наступит, когда знаки облечутся в плоть и кровь. Тиффож был уверен, что стоит символам обрести плоть, наступит конец войне. Предвестником данного свершения послужило, казалось бы, незначительное событие, произошедшее через пару недель после налета.

Неуверенность начальства в надежности средств связи внесла в жизнь Тиффожа неожиданные изменения. Поначалу все свои упования командование дивизии обратило на радистов. Однако ограниченность действия передатчиков, учитывая растянутость линии обороны вкупе с нехваткой радистов и раций, поставило под сомнение полную надежность подобной связи. Кроме того, вражеский громкоговоритель предоставлял щедрые свидетельства того, что немецкая разведка не дремлет. Следовательно, приходилось использовать шифр, что затрудняло радиосвязь и повышало требования к радистам. Все это навело младшего лейтенанта Бертольда, страстного голубятника, на мысль соорудить неподалеку от штаба дивизии голубятню и развести почтовых голубей. Командир дивизии Гране, ветеран Вердена, участвовал под началом Рейналя в героической обороне форта Во, сообщавшегося с генералом Петэном как раз посредством почтовых голубей, чем и объясняется восторг, с которым он поддерживал предложение Бертольда. Младшему лейтенанту был необходим помощник, так сказать, прислуга за все, и эта роль выпала Тиффожу, который после завершения прокладки кабеля

маялся без дела, как ни к чему другому не пригодный.

Весь январь ушел на обустройство голубятни в притулившейся к ратуше нелепой башенке. Нижний ее этаж служил складом оборудования для дорожных работ. Голубятня располагалась на втором, куда вела винтовая лестница. Это была круглая комнатка с узкими оконцами, видимо, служившими встарь бойницами. Окошки снабдили защелками, которые в зависимости от позиции позволяли птицам либо свободно влетать и вылетать, либо только влетать, либо только вылетать, либо же не позволяли ни того, ни другого. Комнатку разделили перегородкой. Бертольд объяснил, что необходимо отделять свояков, здесь же воспитанных и уже успевших обзавестись семейством, от залетных, принесших весть из другой голубятни, куда они и возвратятся с ответным посланием. Чтобы последние не освоились на новом месте, их, по убеждению Бертольда, не следовало задерживать надолго и тем более позволять спознаваться самцам и самкам. Затем плотник сколотил переборки, разбив голубятню на семьдесят отсеков, в каждый из которых предстояло вселиться либо голубю-одиночке, либо семейной паре. Соответственно, голубятня была способна вместить до ста сорока голубей. «Это только для начала», – заверял Бертольд, видимо, мечтая, что все военные действия сведутся к перелетам туда-сюда бесчисленных птичьих стай. Поскольку военных голубей предполагалось поставить на полное пищевое довольствие, для будущих бойцов были припрятаны на нижнем этаже башни целых тринадцать ларчиков со всевозможным зерном. А именно: ячменем, овсом, просом, льном, рапсом, маисом, пшеном, чечевицей, викой, коноплей, бобами, рисом, горохом. Не забыли припасти и ящик с соленой землей, то есть порошком из кирпичной пыли, гипса и толченых устричных раковин, разведенным соленой водой.

20 января все было готово к приему пернатых солдатиков, как в порыве нежности именовал голубей Бертольд, и полковник Пюйжалон не замедлил подписать приказ о реквизиции почтовых голубей в районе дислокации дивизии, обязующий владельцев голубей письмом сообщить о наличии у них голубятни, после чего ожидать визита связиста-голубятника, который отберет птиц, достойных мобилизации, и выплатит установленный за каждую птичью головку денежный выкуп. После чего Тиффож отправился в путешествие по дорогам Эльза-са на грузовичке, набитом особыми плетеными корзинками, способными вместить по шесть запеленутых птиц.

Бертольд преподавал ему науку голубятника, следуя в основном «Пособию для подготовки к экзамену по специальности военное голубеводство» капитана Кастане. Тиффож усвоил, что чистопородный военный голубь, способный преодолеть от пятисот до девятисот километров в сутки и передать свои выдающиеся летные и умственные качества потомству, должен обладать выпуклым лбом, крепким клювом, быстрым глазом, чувствительными и нервными мышцами, бесстрашным и дерзким взглядом у самца, более нежным у самки, пушистым зобом, мощной шеей у самца, потоньше у самки, развернутой грудью, сильными плечами, прочным и обильно оперенным крестцом, крепкой грудиной, выгнутой спереди и узкой сзади, широкой и прочной спинкой, устремленной к поросшей шелковистым пухом гузке. Изучил Тиффож и требования, предъявляемые голубятнику, который обязан быть ласковым, терпеливым, осторожным, чистоплотным, сообразительным, а также наблюдательным, решительным и прилежным. Бертольд велел ему выучить наизусть несколько строк из «Пособия», которые подобало знать назубок каждому военному голубятнику: «Страстная любовь к голубям не что иное, как талисман, благотворное воздействие которого на голубятника обнаруживается всякий раз, когда он отворяет дверцу голубятни. Если человек по-настоящему любит голубей, то, будучи вспыльчивым и непоседливым, с птицами он терпелив и ласков, будучи неряхой –

заботится об их чистоте больше, чем о своей собственной».

Исполняя приказ о реквизиции, Тиффож целыми днями колесил по лесам и полям, проникал в крестьянские дворы, вступал в сражения с быками и спущенными с привязи сторожевыми псами, будил мирно спящие деревеньки, стучал в двери хижин, трезвонил в ворота усадеб, чтобы затем, вручив предписание, получить допуск в голубятню, о которой было получено письменное сообщение, чтобы оглядеть и ощупать птиц. Ловить и ощупывать голубей он наловчился на редкость быстро, что его самого отнюдь не удивило. Сперва следовало плавным движением занести руки над птицей и медленно опускать на нее. Затем же быстро захватить голубя, левой рукой прижав его лапки и крылья к хвосту так, чтобы сам хвост оказался между указательным и средним пальцами, а правой поддерживать птицу спереди под грудку, склонив ее головку вправо. Если требовалось освободить правую руку, нужно было левой прижать птицу к своей груди, чтобы она, воспользовавшись случаем, не вырвалась на волю. Тиффож выучил принятые у голубятников наименования птичьего окраса: лазурный с черной штриховкой на крыльях; свинцово-голубой, кирпично – или чешуйчато-рыжий, мучнистый, серебристый, мозаичный. Причем из голубей одинакового окраса следовало оказывать предпочтение птицам с более темным оперением, как более здоровым и жизнестойким. Он научился различать «открытых» голубей, у которых между тазовыми костями зазор до сантиметра, от «спаянных», у которых тазовые кости почти срослись. Выучился, даже не взглянув на птицу, только на ощупь, определять ее возраст и пол, а также – давно ли закончилась последняя линька и когда ждать следующую.

Каждый вечер Тиффож возвращался с очередной добычей, и Бертольд принимался неторопливо окольцовывать левые лапки новобранцев металлическими полосками с присвоенным каждому личным номером, состоявшим из последних двух цифр даты рождения с присовокуплением пары букв – АФ (армия Франции), одновременно рассуждая о достоинствах и недостатках пополнения. После чего вновь прибывших отправляли каждого в свой отсек, где их уже поджидала питательная смесь из различных зерен.

Благодаря росту и физической силе Тиффож мог себе позволить ни с кем не знаться, держаться в стороне от своих товарищей и не вникать в их повседневные заботы. Другой бы прослыл гордецом, его же считали всего лишь придурком или в лучшем случае простоватым нелюдимом. Впрочем, Тиффожу было наплевать: учитывая величие своей миссии, он и не рассчитывал на взаимопонимание с однополчанами. Их эта война, которую сразу же окрестили «странной войной», попросту взяла да сгребла в одну кучу. Вот они и вглядывались друг в друга с недоумением, иногда насмешливым, подчас опасливым. В то время как для Тиффожа война явилась важнейшим свершением, чем-то глубоко личным, хотя ее объявление ошеломило и ужаснуло его. И он понимал, что это лишь начало его злоключений, что рок сулит ему еще множество бед среди грядущих всемирных потрясений. Впрочем, до того как Тиффож был назначен голубятником, он считал свой полк тихой заводью, где он остается вовсе непричастным своему высокому призванию, поскольку у рока нет повода себя проявить.

Младший лейтенант Бертольд быстро заразил Тиффожа своей страстью к голубям, и теперь птицы стали для него источником постоянной нежности и умиления. Его дальние поездки по просторам Эльзаса поначалу лишь разнообразили скуку дивизионной жизни и давали возможность побыть одному. Но вскоре им овладел охотничий азарт, и голуби из благовидного предложения хоть ненадолго обрести свободу превратились в любимцев и баловней, наделенных неповторимой индивидуальностью. Когда Тиффож по утрам распечатывал письма голубятников, которые, подчиняясь приказу о реквизиции, выражали готовность передать армии своих

питомцев, у него руки тряслись от нетерпения. Случалось, что, добравшись до какой-нибудь одинокой фермы или окруженной старинной стеной усадьбы, он едва не рыдал, поглаживая своей ручищей трепещущие птичьи тельца, зная, что в его власти выбрать любую птицу. Однако Тиффож был убежден, что многие голубятники уклоняются от исполнения своего патриотического долга, не отписав в штаб отнюдь не по халатности, а из страстной привязанности к своим питомцам. Вот именно этих, утаенных птиц Тиффож просто жаждал осмотреть, ощупать, завладеть ими. Ведь больше всего любят как раз самых соблазнительных.

Постепенно он потерял интерес к добровольным даяниям голубятников и теперь пытался вызнать у торговцев и жандармов местоположение тайных голубятен, где наверняка запрятаны самые восхитительные особи. Также он привык обращать взор в небо, надеясь засечь какого-нибудь одиночку, и, проследив за ним, обнаружить тайное гнездовье.

И, наконец, одним прекрасным утром ему повезло. Тиффож точно запомнил дату – 19 апреля. Он трясся на своем грузовичке, держа направление вдоль Илля. На выезде из Бенфильда ему вдруг почудилось, что словно серебристая молния, прорезав небо прямо у него над головой, ударила в реденький сосновый лесок. Остановив машину, Тиффож достал бинокль, который всегда держал наготове, и принялся разглядывать деревья одно за другим с корней до верхушки. Впрочем, поиски не слишком затянулись, так как серебристое оперенье голубя ярко выделялось на зелени хвои. Это была превосходная особь, с мощными крыльями и маленькой головкой, горделиво выглядывавшей из заостренного, как нос корабля, белоснежного жабо. Голубок выклевывал семечки из зрелых шишек, однако лениво, словно для вида, чтобы оправдать свой краткий привал. Но вот он спорхнул с ветки и стремительно понесся над крышами Бенфильда. «Если он не здешний, то конец, – ужаснулся Тиффож. – Больше я его никогда не увижу».

Тут же вскочив в машину, Тиффож вернулся в городок и по табличке на двери отыскал ветеринара. В ответ на его расспросы лекарь заверил, что не знает в округе ни одного настоящего голубевода. Впрочем, одна вдова, г-жа Унрух, проживающая там-то и там-то, держит несколько каких-то странных птичек.

Госпожа Унрух, уклонившаяся от исполнения приказа о реквизиции, встретила Тиффожа презрительно и недоверчиво. Да, у нее действительно осталось от мужа несколько голубей, но все это ценные особи. Ее муж, профессор Унрух, ученый-генетик, сперва разводил голубей лишь для научных целей, изучая на них законы наследственности. Потом же увлекся и начал их коллекционировать, отбирая птиц, выделявшихся своей красотой, либо чистотой породы, либо необычностью облика. Так что часть птиц он держал ради науки, часть – ради забавы. И теперь, после скоропостижной кончины ее мужа, вряд ли кто сумеет разобраться: каких именно и для чего именно. Впрочем, лично ее мало интересуют как те, так и другие. А ухаживает она за голубями только из уважения к памяти недавно скончавшегося супруга.

Все это вдова пробубнила равнодушным тоном, не выказав намеренья показать Тиффожу птиц или хотя бы впустить его в дом. Только когда он решительно шагнул через порог, дама вызвалась проводить его к голубятне.

Уютное жилище супругов Унрух ничем не поражало, – кроме как стен, усеянных чучелами голубей всех пород и оттенков. Там были и пепельные вяхири, и клинтухи с золотистым отливом, ландские турманы, сизари, пышнохвостые, мохноногие, зобастые, галстучные. Каждый насест, где птица замерла навек в позе, которую избрал для нее чучельник, был снабжен табличкой с описанием ее родословной и наследственности. Сопровождаемый госпожой Унрух, Тиффож миновал две просторные комнаты, пернатые стены которых, ошетилившиеся птичьими клювами, вовсе не сочетались с мещанской основательностью мебели, люстр, гардин, в чем наверняка проявилось различие интересов профессора и его супруги. Видимо, хотя они

и жили вместе, но существовали словно бы в различных мирах, которые так и не воссоединились, как не сливается, например, вода с постным маслом. Небольшая терраса вывела их во дворик, такой крошечный, что его легко было превратить в подобие вольера – потребовалось всего лишь натянуть над ним сетку и разделить на отсеки. Во дворике бодро суетились птицы, не показавшиеся Тиффожу какими-то особенными, поскольку в каждой угадывалась принадлежность к распространенной породе.

Изучив данную коллекцию, полуэкзотическую, полутератологическую*, Тиффож остался разочарован. Но тут он заметил неподалеку клубок рыжих перьев, строго овальной формы, без намек на лапки или головку. Однако стоило Тиффожу, заинтересовавшись пернатым яйцом, протянуть к нему руку, оно тотчас распалось надвое. Возбуждавший любопытство Тиффожа клубок оказался тесно прижавшимися друг к другу двумя красавцами-голубями цвета опавших листьев, причем похожими как две капли воды. Не дав птицам ускользнуть, Тиффож принялся внимательно их разглядывать, пытаясь найти хотя бы единое отличие. Когда же, убедившись в тщетности своих попыток, Тиффож обратил взгляд на госпожу Унрух, то был поражен, обнаружив на ее дотоле суровом лице ласковую улыбку.

– Теперь я вижу, – признала госпожа Унрух, – что вы настоящий голубятник. Нужно много лет ухаживать за птицами, чтобы научиться так осторожно к ним прикасаться. И, разумеется, необходимо призвание. Даже мой муж не касался их ласковой. Он иногда просил меня ему помочь, чтобы приохотить к разведению голубей, но в конце концов убедился, что я неспособна освоить столь сложное и тонкое искусство. . .

Сжимая в каждой руке по голубю, Тиффож сводил и разводил руки, разделяя птиц и вновь соединяя в простой и гармоничной формы тело, казавшееся нерасторжимым единством. Стоило ему сблизить руки, как рыжие близнецы тут же сливались в яйцо, мгновенным движением будто входя друг другу в пазы. Их тянуло одного к другому, словно магнитом.

– Эти обычные с виду птицы, – объяснила г-жа Унрух, – наверно, самые ценные во всей коллекции. Это искусственные близнецы. Как-то муж решил проверить эксперимент японского ученого Мариты. Тот помещал внутрь яйца понемногу лягушачьих или мышиных клеток, так, чтобы они соприкасались с зародышем, что приводило к разделению яйцеклетки. В результате рождалось два-три близнеца – либо обыкновенных, либо сросшихся. У нас было несколько уродцев – двухголовых птенцов, но ни один из них не выжил.

Тиффож, уже готовый удалиться, прихватив с собой двойняшек, напоследок спросил г-жу Унрух о серебристом голубе, который, собственно, и являлся целью его визита. Вдова вновь помрачнела и пробормотала нечто уклончивое, впрочем, не утверждая категорически, что впервые слышит об этой странной птичке. Тиффож совсем было собрался откланяться, но вдруг его внимание привлек шумный плеск крыльев. Взглянув на стоявшую возле стены дома облезлую айву, он обнаружил присевшего на ветку того самого серебристого голубка, который, спесиво распушив грудку, ласково курлыкал. Казалось, голубь вполне сознает свое величие. А это была действительно отменная особь – с изящной удлинённой головкой, украшенной фиолетовыми глазищами и белоснежным хохолком – «чубчиком», как его называли голубятники, – с обтекаемой формы корпусом, бугорками суставных связок у оснований крыльев, свидетельствующими об их мощи. И ко всему еще, с платинового отблеска одеяньем, словно и впрямь металлическим, а не из живых перьев.

Занявшись голубеводством, Тиффож сразу же убедился, что его руки внушают птицам доверие, в чем, кстати, он был заранее уверен. Вот и сейчас, стоило Тиффожу посадить на ладонь серебристого красавца, как тот раскинул хвост веером, что было знаком покорности,

*Тератология – наука об уродствах.

подчинения птицы человеку. Только тут Тиффож обратил внимание на побледневшее лицо и дрожащие губы г-жи Унрух.

– Месье, – сумела, наконец, выговорить вдова, – я не вправе помешать вам забрать у меня эту птицу. Но знайте, что, пополнив армейскую голубятню очередной особью, вы лишите меня самого дорогого, что у меня осталось в жизни после кончины мужа. Для него этот голубь был символом нашей любви, нашего брака. И для меня это не просто птица, а...

Тут вдова осеклась, увидев, как решительно Тиффож скинул с плеча дорожную корзинку. Поместив туда серебристого голубя, он взглянул женщине в глаза, и она тотчас почувствовала, что для Тиффожа эта птица – символ еще в большей мере, чем для нее. Она поняла, что все ее мольбы разобьются о его охотничий инстинкт, самое жесткое и бесчеловечное в натуре Тиффожа.

Поскольку теперь голуби составляли весь смысл жизни Тиффожа, он и вовсе погрузился в себя. Если он и прежде не был болтуном, то стал попросту молчальником. В результате Тиффож столь отдалился от своих товарищей, что, когда он отправлялся на целый день охотиться за голубями, его отсутствия никто не замечал. В общем-то обязанности голубятника оставляли ему больше досуга, чем прежние. Однако все свободное время он проводил либо за баранкой грузовичка, в радостном предвкушении нежданной удачи, либо же в голубятне. То были сладчайшие минуты. В этой пернатой воркующей келье Тиффож забывал обо всем на свете, и каждый раз покидал ее, загаженный пометом, осыпанный голубиными перьями, но с выражением счастья на лице. И все-таки Тиффожу не хватало существа, насущно нуждающегося в его опеке, чтобы излить на него всю свою нежность, пока в конце апреля он не подобрал на обочине полумертвого от холода и голода птенчика, вылупившегося не в сезон и вдобавок выпавшего из гнезда. Он поместил за пазуху замурзанного птенца и самоотверженно его выходил.

Устроив найденышу гнездышко в отдельной клетке, Тиффож ежедневно предпринимал многочисленные попытки его накормить, что оказалось непросто. Собственно, птенец был готов слопать все, что не отправишь в его алчно разинутый клюв. Однако выяснилось, что желудок птенца не столь силен, как аппетит, поэтому Тиффожу пришлось сперва несколько раз лечить его запоры глауберовой солью, а потом – диареею рисовой диеты. Направляемый смутным, но оказавшимся верным инстинктом, Тиффож в конце концов понял, что, прежде чем потчевать своего питомца, ему самому следует тщательно пережевывать пищу, повалять языком, пропитать слюной, то есть, по сути, воспроизвести процесс пищеварения. После чего он только и делал, что опорожнял сперва мисочки с бобами и горошком, позже – корзинки с мелко порезанным мясом, превращая их содержимое в однородную кашу температуры человеческого тела, которую он прямо изо рта отправлял в распахнутой навстречу пище голубиный клювик. Когда птенец подрос, Тиффож поместил его в голубятню. Хотя голубок вырос тщедушным, с тусклым, в отличие от своих сотоварищей, оперением, он оставался любимцем Тиффожа, которому казалось, что в его глазах светится ум, уже познавший разочарование, благодаря раннему опыту беды и одиночества.

Гране немало досаждал неумный характер полковника Пюйжалона, которого ему постоянно приходилось осаживать. Дело в том, что у дивизионного была тайна, которую он скрывал столь тщательно, что проникнуть в нее удалось только незадолго перед разгромом, да и то самым наблюдательным. Хотя сперва показалось странным, что, выбирая жилище, Гране предпочел более удобным и уютным кирпичный флигелек на окраине, однако вскоре

все благополучно забыли об этом чудачестве. Разгадка же таилась в том, что к домику прилегал участок земли соток на десять, который Гране собственноручно распахан и засеял. Он оказался страстным земледельцем. Поскольку главным его увлечением было огородничество, счастливым он себя чувствовал, только когда на склоне дня вооружался граблями или тяпкой.

Пюйжалон в отличие от Гране мечтал о грандиозных передислокациях. Носился, к примеру, с идеей, что «подразделения надо бы постоянно менять местами», и не упускал случая заявить, что терпеть не может «стабильных ситуаций». Во всех офицерских столовках дивизии с восторгом повторяли его слова, сказанные при прощании с неким капитаном перед тем, как тому отправиться в Страсбург: «Надеюсь, что координаты моего КП будут ежедневно меняться». Однако все замыслы и предложения полковника Гране спускал на тормозах, потому что главным в жизни для него было дождаться урожая моркови и горошка.

Начавшиеся с 10 мая военные действия еще больше обострили их отношения. Пюйжалон, уверенный в том, что бессмысленно сидеть на месте, под прикрытием линии Мажино, пока враг громит Восточную группировку, рвался на подмогу генералу Жоржу, поэтому держал своих подчиненных в постоянной готовности к марш-броску. В то время как Гране утверждал, что следует ожидать прорыва, который непременно предпримет фон Либ, армия которого дислоцируется на противоположном берегу Рейна. После капитуляции 28 мая бельгийских войск, за которой последовала череда поражений, завершившаяся вскоре взятием немцами Парижа, возникла угроза окружения дивизии с юга, и полковник стал опасаться, что Ставка, связь с которой почти прервалась, эвакуируется, позабыв уведомить об этом Эрстейн. Поэтому он решил лично съездить в Нанси, чтобы на месте выяснить, как и что. В экспедиции должны были принять участие, кроме личного шофера полковника, два штабных офицера. Однако в последнюю минуту Пюйжалон решил захватить с собой и Тиффожа, чтобы в случае, если дорога назад будет перекрыта, отправить сообщение в Эрстейн с почтовым голубем. Утром 17 июня Тиффож загрузился в автомобиль вместе со своей походной корзинкой. Предчувствуя, что расстанется с голубятней навсегда, Тиффож прихватил с собой чернявого малыша, серебристого великана и близнецов цвета опавших листьев.

В безоблачном небе ярко сияло солнце, поля были все усыпаны цветами, деревья шелестели своей пышной листвой. Казалось, природа стремилась облечь позор Франции в изящное и торжественное убранство. Притулившись на заднем сиденье с корзинкой на коленях, Тиффож поглаживал пальцем левой руки своих питомцев, которых умел узнавать на ощупь, одновременно размышляя о том, какой будет кара, которая вот-вот обрушится на одновременно жестокий и вялый народ, как воздаяние за свершившуюся ровно год назад казнь Вайдмана. Ответ он получил неподалеку от Эпиналя, где их машину завернули жандармы, которым по неведомой причине предписали перекрыть дорогу на Нанси. Полковник Пюйжалон, разумеется, для них был не указ. В соседнем городке творилось нечто невообразимое – сплошная куча-мала солдат, автомобилей, мотоциклов. Картина напоминала конец света. Невозможно было достать ни капли бензина и ничего съестного; все торговцы предпочли закрыть свои магазинчики. Эта обезумевшая и озлобленная орда нахлынула из Нанси, где уже сутки, как смирились с неминуемой сдачей города. Устремлялась же она к Пломбьеру. Возле закрытого быстро остановилась телега, и несколько солдат принялись барабанить в железные ставни, требуя воды, а потом попытались высадить дверь, используя столик как таран. Пюйжалон было вмешался, но получив решительный отпор, предпочел отступить, приказав шоферу держать направление на север вдоль берега Мозеля. Тиффож испытывал одновременно и ужас, и восторг, однако никак не мог забыть дурацкой шутки какого-то хулигана, который, просунув в окно машины свою лохматую голову, радостно завопил: «А-а, почтовые голуби! Они теперь на колесах почту развозят!»

Чтобы одолеть девять километров до Фаона по запруженной разношерстной толпой дороге, потребовалось целых два часа. А там и вовсе случился затор. Вокруг бившейся в припадке женщины собралась толпа, перекрывшая все движение. Завязался оживленный спор – одни утверждали, что бедняжка выпила воды из Мозеля, отравленной немецкими наймитами, другие предполагали у неё эпилепсию, а крестьянин с галльскими усищами заявил, что она попросту истеричка, которой стоит хорошенько надавать по щекам. Примирил спорщиков порыв ветра. Он приподнял юбку несчастной, и все увидели, что из ее разодранной промежности торчит головка мертвого ребенка.

Вконец обозленный полковник, сообразив, что единственный способ вырваться из этого человеческого месива – перебраться на другой берег Мозеля, приказал шоферу свернуть направо. При этом он выразил надежду, что коль скоро мост не взорван, немцы еще далеко. За мостом начиналось местное шоссе, казавшееся просторным после запруженной толпами автострады. Дорога вилась среди колосющихся полей. Идиллический пейзаж умиротворил смятенные души путешественников. Они пронесли мимо разморенной полуденным солнцем деревушки Жирмон, потом пересекли прохладный, полный птичьего щебета лесок, затем взобрались на пологий холмик, на вершукке которого притормозили у высившейся над кучкой домиков гостиницей с вывеской: «Фонтан радушия». Напротив просторного козырька для дилижансов и впрямь обнаружился медный фонтан, бодро метавший струю в гранитную чашу в форме сердца. Приказав остановить машину, полковник решительным шагом скрылся в гостинице. Однако вскоре вернулся в сопровождении бледного толстяка, видимо, хозяина, который жестами изображал всю глубину своей скорби, заверяя, что ничем не может услужить.

– Ресторан закрыт, – объяснил полковник. – Выпить у них найдется, а закусить нечем. Сделаем так: Тиффож с Эрнестом попытаются купить у местных хотя бы что-нибудь пожевать. А я тем временем попробую связаться с Эрстейном.

Около часа потребовалось Тиффожу, чтобы обойти все дома соседней деревеньки под названием, как оказалось, Зинкур. В конце концов, ему удалось раздобыть банку горошка, кило хлеба и четверть фунта масла, заплатив за это втридорога. Возвратившись с добычей, Тиффож обнаружил офицеров пирующими за уставленными бутылками столиком. Разогретый вином Пюйжалон пребывал в превосходном настроении.

– О-о, горошек! – воскликнул он, увидев Тиффожа. – Очень кстати. С голубями пальчики оближешь!

В первый миг Тиффож не понял полковника, но тут же мрачное предчувствие погнало его на кухню. На кухонном столе он обнаружил пустую корзинку для голубей. Кафельный пол был устелен рыжими и серебристыми перьями. В очаге весело потрескивало пламя, обжаривая три сочившиеся жиром жалкие голые тушки, которые уныло поворачивались на вертеле.

– Полковник приказал, – объяснил Эрнест. – Велел одного оставить. Мол, вдруг да пригодится. Я выбрал черненького, он самый тощий. – И так как потрясенный Тиффож не сумел выдать ни слова, добавил: – Глупость какая-то. Три голубя на пятерых мужиков. Каждому на один зуб!

Молча выложив провизию и бросив прощальный взгляд на забившегося от ужаса в угол корзинки малыша, Тиффож вернулся в ресторанный зал, где постарался сесть подальше от галдящих офицеров. «Три голубя на пятерых? Дудки!», промелькнуло в его смятенном мозгу. Он-то к ним не притронется. Ведь не кто иной, как он, любовно воспитывал этих птичек. И, конечно же не в пищу, а как надежных гонцов, пернатых вестников. Но вдруг Тиффожу пришла совсем противоположная мысль. Может быть, наоборот, именно ему стоит съесть всех убиенных птиц, ни с кем не поделившись? Во-первых, его мучил лютый голод, который так и подзуживал его насытиться в одиночку. Да и что могло быть гнуснее пожирания собственных

питомцев в компании окосевших солдафонов? Если уж птицам суждено попасть в желудок, то вкушать их плоть следует благоговейно и вдумчиво. Подобная трапеза, сходная с религиозным обрядом, станет лучшей тризной по трем убиенным солдатикам. Тиффож почувствовал прилив жгучей ненависти к пустобреху Пюйжалону и угодливо поддакивающим ему штабным. А что до Эрнеста, то наверняка именно он, чтобы отвертеться от похода за провизией, убедил полковника пожертвовать голубями. Вновь Тиффож оказался один против кучки хамов, презирающих его за неуклюжесть и нелюдность. Но он ведь лучше их всех, праведнее, в отличие от них он избранник судьбы, которая и поможет ему одолеть эту надравшуюся шваль.

Тут мрачные размышления Тиффожа были прерваны. Вдруг поток света хлынул в стремительно, хоть и бесшумно распахнувшуюся дверь. Хозяин гостиницы бегом устремился к столику, где пировал полковник.

– Тревога! Немцы! – сообщил хозяин вполголоса, но с такой мимикой, словно кричал во всю глотку.

Вся троица вмиг вскочила на ноги и примкнула портупеи. Из кухни выглянула растерянная физиономия Эрнеста.

– Они приехали на мотоциклах из Адиньи. Спасайтесь! Только не на машине, – уточнил трактирщик, – они вас догонят и расстреляют в упор. Бегите через поле и постарайтесь добраться до заповедника. Я покажу, в какую сторону.

Затем трактирщик, опять омыв ресторанный зал волной солнечного света, выскочил наружу вместе с ринувшимися за ним следом Пюйжалоном, Эрнестом и штабными.

Оставшись в одиночестве, Тиффож медленно поднялся и, улыбнувшись, глубоко вдохнул воздух. После плевок в лицо на набережной Орфевр почва и так постоянно колебалась у него под ногами, а тут – новый подземный толчок. Тиффож вспомнил, что Пюйжалон, по его собственному утверждению, терпеть не может «стабильных ситуаций». Поздравляю вас, господин полковник! Покинув опустевший сумрачный зал, Тиффож отправился на кухню. В голубиной корзинке черной тенью метался последний голубок. Тиффож сгреб его в горсть, но, спохватившись, выпустил и отставил корзинку. Аппетитно подрумяненные солдатики вытянулись в струнку на вертеле. Завернув три тушки в пергаментную бумагу и уложив сверток в рюкзак, Тиффож собрался было покинуть кухню, однако в дверях столкнулся с хозяином ресторанчика.

– Вы еще не убрались? – изумился толстяк. – Немцы в деревне, понимаете? Не хватало, чтобы в моем доме нашли французского солдата! Догоняйте-ка ваших друзей! Скорее!

Тиффож покорно поплелся за трактирщиком. Деревня словно вымерла. Казалось, что ее обитатели попрятались от полуденного зноя. Только сердцеобразный фонтан неумоимо разбрызгивал свои воды.

Проскользнув булыжной улочкой мимо домов, Тиффож с трактирщиком вторглись в чей-то огород. Тиффож вспомнил Гране. Для того-то по крайней мере война имела смысл, причем самый что ни на есть личный. Разгром же обрекал его разделить общую судьбу. Что же до самого Тиффожа...

За огородом начиналась тропинка через поле. Тут трактирщик сделал жест – мол, беги туда, и, бросив на Тиффожа проникновенный прощальный взгляд, отправился восвояси. «Торопится поставить вино в холодильник. Хочет встретить немцев по-людски, – подумал Тиффож. – Уж для него-то разгром точно имеет смысл».

Тиффожу пришлось прошагать два-три километра, как ему казалось, на юг, пересечь шоссе, перейти по мосту небольшую речушку, прежде чем он вышел на опушку леса. Тиффож догадался, что здесь и начинается заповедник. Тут прямо перед ним вырос Эрнест, словно вы-

нырнул из-под земли. Полковник оставил Эрнеста дозорным, приказав спрятаться в ложбинке. Сам же с офицерами засел в стоявшем неподалеку домике лесника. Эрнест отвел Тиффожа в избушку, где Пюйжалон тотчас выразил удовлетворение, что тот захватил корзинку с последним голубем.

– Молодчина, сынок! – возгласил полковник. – В минуту опасности ты не бросил свое, столь мирное, но все же оружие. Твой поступок будет отмечен благодарностью в приказе. А теперь записывай. Я продиктую донесение в Эрстейн. Если нас захватят в плен, мы тут же выпустим голубя.

Тиффож покорно извлек из голубиной корзинки чернильный карандаш и стопку плотной бумаги специально для голубиной почты. В то время как полковник, вышагивая из угла в угол и похлопывая стеклом по хромым гамашам, диктовал вдохновенное послание, обращенное ко всем бойцам его полка («Дети мои, ваш командир, оказав отчаянное сопротивление врагу, попал в лапы к немецким захватчикам. Осуществляя командование вверенной мне частью, я не раз имел счастье убедиться в вашем мужестве, потому я верю, что в годину тяжких испытаний, выпавших нашей отчизне...»), Тиффож сочинял свое собственное послание, предназначенное лишь младшему лейтенанту Бертольд: «Мой дорогой лейтенант, мы влипли. Полковник приказал зажарить трех голубей. Черненькому пришлось сделать длинный перелет по жаре. Сразу его напоите, но обязательно теплой водой. Он слабенький, поэтому давайте ему каждый день по две капли рыбьего жира. Пегая великанша опять снесла два белых яйца – все потому, что предпочитает общество самок. Шести голубым вандамам надо прочистить желудок. Дайте им натошак по паре капель касторки. Боюсь, что у белого турмана загноится левое крыло – я заметил на связке желтоватую ссадину. Ее надо помазать йодом...» На двух листках он стремился излить всю свою нежную заботу о питомцах. Пюйжалон уже давно смолк, а Тиффож все еще строчил свое послание. Наконец, поставив подпись, он быстро сложил листки втрое, свернул в трубочку и поспешно поместил в капсулу, опасаясь, что полковник заставит его прочитать депешу вслух. Стоило Тиффожу привязать капсулу к левой лапке голубка, как тот сразу вострепнулся и стал буквально рваться в полет. Однако Тиффож до поры вновь отправил его в корзинку.

Солнце уже клонилось к закату, когда они все пятеро попали в плен, прямо на той самой опушке заповедного леса в окрестностях Жирмона. Их окружил немецкий патруль. Фельдфебель гаркнул: «Оружие на землю!», и три револьвера бесшумно нырнули в мох. Тиффож бережно достал из корзинки чернявого голубка и плавным движением выпустил его в направлении лежавшего на земле оружия. Взмахнув крыльями, голубь опустился на один из револьверов, скосив бусинку глаза на его рукоятку. Когда сухопарые лапки голубя соскользнули с вороненого дула, он чуть присел, затем взмыл в воздух, шумно пронесся над головой у немцев и скрылся из глаз.

Тиффож наклонился, чтобы поставить корзинку на землю. Не успел он выпрямиться, как получил могучий пинок сапогом в задницу. Боль пронзила весь его позвоночник. Тиффож обеими руками вцепился в крестец и с помощью полковника распрямился.

– Молодчага, – подбодрил его Пюйжалон. – Здорово ты их сделал! Завтра или еще через день-другой ребята прочтут мое послание. Больно? Не горюй, я представляю тебя к медали за ранение.

На следующий день разлученный с офицерами Тиффож был заточен во дворе одного из страсбургских заводов. Среди сотен товарищей по несчастью единственным его знакомцем оказался шофер Эрнест, но водить дружбу с этим голубиным убийцей у него было еще меньше

охоты, чем с кем-либо. В первую же ночь он тайком съел одного из трех голубей. Тиффож не сомневался, что его выбор пал на серебристого великана. Во-первых, тушка была побольше, чем две другие, к тому же и жареный он не вовсе утратил свой прежний запах. Оставшиеся два голубка позволили Тиффожу не только умерять муки голода, терзавшие его сотоварищей, но и насыщать свою душу сокровенным единением с теми существами, которых он любил, по крайней мере, последние полгода.

Почти лишенные связи с внешним миром узники пробавлялись слухами. Большинство было уверено, что после заключения перемирия между Францией и Германией немцам нет смысла долго держать их в заточении. Мол, как только вновь заработает транспорт, уж беженцев-то наверняка отпустят по домам. Тиффож не разделял всеобщего заблуждения. И не потому, что был самым проницательным, а поскольку был убежден, что путь познания непременно поведет его на восток. Было бы насмешкой судьбы вернуться в Париж, в свой гараж. Его всегда предусмотрительный рок, конечно же, не способен совершить столь глупой ошибки. Потому, когда 24 июня пленников, разбив на команды по шестнадцать человек, погнали в направлении Келя, где через Рейн был переброшен понтонный мост взамен разрушенного, могли ли они не преисполниться глубокой и сокровенной радости? Ведь это вновь подтвердило, что его личная судьба вплелась в судьбу мира. Что же до его сотоварищей, то одни, распрощавшиеся с надеждой на скорую свободу, впали в отчаянье, в то время как другие продолжали питать иллюзии, которыми старались заразить остальных, словно сбывая фальшивые монеты: оказывается, их гонят в Германию на полевые работы, после окончания которых отпустят по домам. А то и вовсе доведут сейчас до ближайшего рейнского порта и отправят на родину речным путем.

Когда колонна выходила из Страсбурга, уже припекало, и пленных начала мучить жажда. Девочки из окрестных домов приносили им напиток, на что немецкие охранники предпочитали закрывать глаза. Тем не менее, унтер, сопровождавший команду Тиффожа, затеял перебранку с пожилой эльзаской, выставившей перед своей дверью ведро с водой и стаканы, что показалось немцу совсем уж неприличным проявлением заботы. Пользуясь возникшей в результате их диспута легкой суматохой, какая-то женщина выскочила из соседнего дома, и за руку втащила туда Тиффожа. Быстрым шепотом она пообещала его спасти, раздобыв гражданскую одежду. Команда уже вновь тронулась в путь, не заметив исчезновения одного из шестнадцати, что и вообще было мудрено. Так что побег вполне мог оказаться успешным. Судьба все же сыграла с Тиффожем злую шутку, именно ему предоставив выбор между свободой и пленом. Выпив предложенный хозяйкой стакан молока, он вполне искренне поблагодарил женщину и поспешил догнать колонну. Вскоре от нестройного топота множества ног содрогнулись доски понтонного моста, между которыми виднелись стремительные воды Рейна.

– Вот мы и в Германии, – произнес Тиффож, обращаясь к своему соседу, чернявому коротышке с угольными бровями.

Он все же не смог не нарушить в столь торжественный миг свой обет молчания.

– Уверен, что еще до Рождества буду дома. Иначе взял бы сейчас и утопился, – скрипнув зубами, буркнул ему в ответ коротышка.

А Тиффож, напротив, был счастлив, тем более, что был уверен: он никогда не вернется во Францию.

III ГИПЕРБОРЕЯ

Все свершившееся обогащается чувством, все
свершившееся обогащается значением. Все об-
ращается в символ или притчу.

Поль Клодель

Тиффож безропотно позволил себя пленить. Так путешественник, завершив дневной переход, уже не противится сну, уверенный, что с первыми лучами солнца проснется свежим, бодрым, готовым в путь. Свою прежнюю жизнь Тиффож отбросил, будто ненужную ветошь, словно стоптанные башмаки. Как змея сбрасывает старую кожу, так и он избавился от Парижа и вообще от Франции, вместе с Рашелью, гаражом и Амбруазами. Вряд ли кто иной так уповал на судьбу, на свой личный рок, упорный, несуетный и непреклонный, который даже мировые катаклизмы сумел подчинить собственным целям. Но столь страстная вера в судьбу предполагала презрение ко всему случайному, бытовому, короче, к тем милым пустячкам, которые обычно впиваются людям в сердце, раздирая его в миг разлуки. Загубленное детство Тиффожа, его мятежное отрочество, пылкая юность, все годы, когда он скрывался под личиной самой отпетой посредственности, пока не был разоблачен и выставлен на посмешище маленькой мерзавкой, протестовали против несправедного и преступного общественного устройства. И, наконец, грянул ответ небес. Общество, топтавшее Тиффожа, было сметено вместе со своими судьями, генералами, прелатами, своими установлениями, законами и порядками.

Теперь путь Тиффожа лежал на восток. Обнаружилось, что на команды по шестнадцать их разбили не случайно. Столько, и не больше, помещалось в вагон дохлого, без всякой видимой причины вдруг замиравшего на месте, а затем, опять-таки неожиданно, вновь трогающегося в путь. Кучка непоколебимых оптимистов толпилась вокруг сержанта инженерных войск, который на каждом изгибе рельс тотчас сверялся с компасом, дабы поддержать заблуждение, что поезд движется не на северо-восток, а, к примеру, на юг или вовсе даже на запад... Тиффож не нуждался в компасе, он твердо знал, что поезд идет на восток. *Ex Oriente Lux**. Каков он, этот свет, Тиффожу еще предстояло постигнуть через каждодневный кропотливый труд, с долгими, втайне плодотворными периодами зимних сумерек и неожиданными, ослепительными вспышками озарений.

Первая остановка была в фабричном городке Швайнфурте. Пленных поместили в карантинный барак, а поутру устроили дезинфекцию с вошебойкой. Узников сперва коротко подстригли, а затем, заставив намылиться дегтярным мылом, окатили водой. Необходимость отстоять нагишом длинную очередь, выставив напоказ свои убогие тела, притом в огороженном колючей проволокой загоне, иным показалась оскорбительной, некоторые даже рыдали от унижения. Но только не Тиффож, понимавший дезинфекцию как очистительный обряд. К тому же он наслаждался неожиданно открывшимся его телесным превосходством над сотоварищами. По сравнению с богатырской статью Тиффожа весьма неказисто смотрелись их фигурки, тщедушные, волосатые и членастые. О чем Тиффож мечтал, так это совсем избавиться от военной формы, которую ему вернули, предварительно прожарив в автоклаве, усевшей и дымящейся. Когда, наконец, он облачится в достойные его величия одежды, это и будет для него, как и для других, знаком, что тяжкие времена миновали.

Через день узников, вновь погрузив в поезд, повезли дальше на северо-восток. Их путь пролегал через Тюрингию, Саксонию и Бранденбург. Мимо слепых окошек пронесли Эйзенах вместе с Вартбургской крепостью. Гота с ее замком, Эрфурт с его цветущими полями, Веймар с его княжеским дворцом, Иена с ее цейсовскими заводами. В Лейпциге пленных выпустили на предусмотрительно оцепленный пятачок перрона размять ноги. Стоянка затянулась на долгие часы. После того как узникам раздали миски с супом в зале третьего класса, однополчане, земляки или просто успевшие сдружиться тотчас скучковались в группки. Тиффож остался бы в полном одиночестве, но Эрнест решительно пристроился по соседству. Подобная

*Свет с Востока (лат.).

преданность не то чтобы смутила Тиффожа, но слегка удивила, тем более, что ему показалось, что Эрнест повел себя с ним, как со старшим по званию, вопреки их полному равенству в чинах. Они разговорились. Выяснилось, что до войны Эрнест служил камердинером. Эта странная профессия была овееяна для Тиффожа неким сумрачным очарованием, так как, по его мнению, требовала коварного двуличия и лживой угодливости, необходимых из-за кричащего несоответствия между скромным происхождением того, кто себя ей посвятил, и блестящим обществом, где ему суждено обретаться. В конце концов Тиффож простил Эрнесту заклятие голубей. Да и кого винить, если оно было неизбежным? В этом жертвоприношении Тиффож вновь угадал перст судьбы, причастный к почти любому событию его жизни. Короче говоря, он вроде как принял на службу стосковавшегося по хозяину Эрнеста.

Когда на ночь глядя состав, наконец, тронулся, охранники задраили все окна и двери. Через некоторое время те, кто не успел заснуть, по остановкам и сложным маневрам поезда догадались, что за окнами Берлин. Затем состав продолжил свой бег, однообразный ритм которого убаюкал притулившиеся как попало тела. Поезд тянулся по бескрайней равнине, и лишь ночная темень скрадывала всю невообразимость ее простора.

Ночь показалась путешественникам короче, а утро прохладней, чем они привыкли. Двери глухо рыкнули замками. Зазвучали команды, начались переключки. Еще одуревшие спросонья пленные выпрыгивали из вагонов в степь, где их тотчас прохватывал студёный ветерок. Неподалеку высился довольно просторный барак из просмоленных досок, на плоской равнине смотревшийся даже монументально. Ветер покачивал прибитый к двум столбам деревянный щит с выделявшимися на белом фоне черными готическими буквами: *Moorghof**. До горизонта простирались луга с разбросанными там и сям озерцами. Осенние дожди наверняка превращали местность в огромное болото. Редкие кучки елей словно бы делали зримым обширность горизонта, где курились многочисленные дымки, стелящиеся над камышом и буйными травами. Тиффож, привычный лишь к холмистым и лесистым сельским пейзажам, был потрясен величием представшей картины. Пространство, во все стороны открытое взгляду, даровало Тиффожу прежде неведомое ему чувство свободы. Оно было столь несоответствующим моменту, что Тиффож невольно улыбнулся, пристроившись к колонне, под окрики фельдфебеля тянувшейся на север.

Лагерь нежданно вырос перед путниками буквально в нескольких сотнях метров от дороги. Деревня же Морхоф так и не обнаружилась. Им еще не раз предстояло убедиться в таинственном свойстве вроде бы бескрайнего окрестного пространства: хижины, риги и даже лагерные вышки, стоило чуть от них удалиться, словно проваливались сквозь землю, терялись в травах. Лагерь был небольшой – всего четыре дощатых пятистенных барака с залитой гудроном кровлей, укрепленных на коротких сваях; каждый из них был рассчитан на двести узников. Следовательно, лагерь был способен вместить не более восьмисот пленных, каковая численность и была достигнута через несколько недель после прибытия пополнений. Однако самих узников вовсе не радовала их малочисленность. Во-первых, из-за нехватки рабочих рук, во-вторых, каждый оказывался на виду. Четыре барака были окружены двумя рядами колючей проволоки, полоса между которыми была усеяна железными шипами. Общая площадь этого загона со сторожевыми вышками по углам не превышала полгектара.

Большинству узников представлялось, что лагерь устроен с расчетливой злобой. Они остро переживали неуют хлипких бараков, враждебность колючей проволоки, злобный надзор сторожевых вышек. В отличие от них, у Тиффожа только крепло чувство свободы, душевного покоя, которое его охватило сразу, как он сошел с поезда. С его точки зрения, расчет

*Болотный хутор (нем.).

создателей лагеря состоял в том, чтобы отовсюду открывался вид на равнину. Он вспоминал пикардийские хутора с глухими фасадами домов и окнами, выходящими во внутренний двор. Здесь все было наоборот: проволочное ограждение не отделяло от окружающих пространств, а вышки словно бы углубляли даль. В своем бараке он выбрал отменную койку, хотя далеко от печки, зато возле обращенного на восток окошка. Едва устроившись на новом месте, Тиффож тотчас вперился в открывавшийся из окна простор, чтобы смыть впечатления последних сумбурных дней и невнятных ночей. Впервые после того, как арест в Нейи выбил у него почву из-под ног, Тиффож почувствовал, что, наконец, обрел хоть сколько-нибудь надежное пристанище. Терзаемая заслуженной карой Европа осталась далеко на западе. Но главное, что он всей душой ощутил могучий и ласковый зов этой девственной степи, обжитой лишь одинокой худосочной березкой. Казалось, простершаяся до самой Сибири бескрайняя пустошь с ее серой, чуть серебристой почвой, украшенной фиолетовой вспышкой цветущего вереска, с ее песками и торфяниками манила Тиффожа, как туманная бездна. Впрочем, от своих сотоварищей, еще раньше угодивших в лагерь, он выяснил точное местоположение деревни Морхоф на карте. Это село с четырьмя сотнями обитателей располагалось в Восточной Пруссии, в двенадцати километрах западнее Инстербурга и в стольких же – восточнее Гумбинена на берегу речки Ангерапп, которая, после слияния в Инстербурге с Инстером, обретала название Прегель.

Что же касается работы, то, едва приступив к ней после положенного суточного отдыха, вновь прибывшие узники поняли, что обречены день за днем копаться в жидкой грязи. Дело в том, что грандиозная затея осушить болотистые берега Ангераппа упиралась в нехватку техники, каковую и был призван компенсировать изнурительный, зато дешевый труд военнопленных. Ежедневно в семь часов вечера узников запирали в бараке, предварительно отобрав у них штаны и башмаки – точнее деревянные сабо, которые выдавались каждому вновь прибывшему. После чего пленникам предстояло долгое путешествие сквозь ночь, освещенную лишь пятью керосиновыми лампами. Впрочем, узники так выматывались за день, что отсутствие развлечений их нисколько не угнетало. По утрам им причиталась целая кварта *Waldtee**, то есть целебного отвара, таинственного варева, где угадывались хвоя, березовые и ольховые листья, а также ягоды тутовника. Затем их причащали ломтиком хлеба и парой вареных картофелин, понятно, холодных. Зато по вечерам пленных баловали миской супа, хотя и жиденького, но горячего.

По утрам бригады по десять человек, под присмотром охранника, гнали на закрепленный за каждой участок. Всего же предполагалось осушить не меньше полтысячи гектаров болот, прилегающих к мызе, расположенной неподалеку от деревни Морхоф. Работа состояла в прокладке системы дренажных канавок по два с половиной метра в глубину, на дне которых сооружалось нечто вроде стока: две бетонные плиты укреплялись горизонтально и сверху накрывались третьей. После чего данную конструкцию засыпали сперва слоем щебенки, а затем грунтом. Все траншеи устремлялись под небольшим наклоном к водоотводному каналу, который в свою очередь «впадал» в Ангерапп. Узникам, разумеется, выпало рыть канавы. После того как траншея была вырыта, два работника проходились вдоль нее по разным сторонам, выравнивая дно граблями. Сооружение стоков, как, впрочем, и геодезическая подготовка работ, были доверены немецким рабочим.

Сперва в бараках царила анархия, потом, однако, в каждом сложилось хотя и немногочисленное, но стройно организованное сообщество со своей строгой иерархией. Многих пленников

*Лесной чай (нем.).

угнетало принудительное соседство с людьми, столь отличными по социальному происхождению, роду занятий и месту обитания. Для других же оно оказалось познавательным. Многие узники, сорванные с родных мест, вырванные из привычной среды, погружались в отупение, сопровождавшееся заметной умственной и нравственной деградацией. Другие же, наоборот, почувствовав себя свободными ото всех уз, дали волю прежде утаенным страстям. Иные замыкались в себе, причем их упорное молчание могло быть как выражением подавленности, так и скрытого протеста. Другие же, наоборот, постоянно молили языком, вечно обуреваемые идеями и замыслами, которыми щедро делились с каждым встречным. К примеру, у некоего Мимиля, галантерейщика из Мобежа, слишком рано женившегося на столь же неопытной девице, наблюдалось два пунктика: женщины и деньги. Точнее, даже один, ибо он предполагал приобрести одно посредством другого. Галантерейщик замыслил кое-какие коммерческие махинации, которые намеревался сперва ограничить лагерной оградой, а потом охватить ими всю округу. Но для этого ему необходимо было обзавестись любовницей-немкой, одновременно и покровительницей, и подставным лицом, на имя которой он приобретет собственность – дом, к примеру, или даже землю.

– Все их мужики воют, – твердил он. – Остались только женщины. Женщины и собственность. И еще мы! Было бы глупо не извлечь из этого выгоды.

Тут каждый раз с ним вступал в спор Фифи из Пантена, самый молодой в бараке, постоянно допекавший соседей своими шуточками и паясничаньем. Последний был уверен, что если уж заводить любовницу, то обязательно француженку, точнее парижанку. Мол, сколько за вагонными окнами промелькнуло этих Гретхен, – и все, как одна, толстозадые простушки с косами и в шерстяных чулках. Кому такие нужны?

В ответ Мимиль всякий раз пожимал плечами и прибегал к авторитету Сократа, преподавателя греческого языка, который, как всегда, неторопливо покуривая трубку, разглядывал сквозь стекла очков плененное стенами барака разношерстное общество. Сократ отверзал уста лишь для того, чтобы изречь очередную мудрость, причем его высказывания были схожи с пророчествами оракула: начав речь с прописных истин, он вдруг – в самый неожиданный момент – принимался сыпать парадоксами.

– Все зависит от того, сколько продлится война и кто победит, – возгласил он. – Если верить, что нас освободят еще до Рождества, то Фифи прав, нам имеет смысл остаться патриотами. Но более вероятно, что победит Германия, положив, однако, на полях сражений весь цвет своего юношества. В таком случае – да обернется наше поражение победой, а их победа поражением. Пока последние годные к службе немецкие мужчины будут неусыпно охранять просторные границы тысячелетнего Рейха, мы удобрим их землю собственным потом, а их женщин своей спермой.

Подобный ход мысли отнюдь не убедил длинноусого беррийского арендатора, злобно сверкнувшего глазенками, зато изрядно позабавил Виктора, прозванного Психом, который блаженно заржал. Виктор, и впрямь общественно опасный душевнобольной и страдающий маниакально-депрессивным психозом, во время «странной войны» и в особенности последовавшего за ней разгрома совершал чудеса храбрости. До войны он успел побывать во всех психбольницах Иль-де-Франса, кочуя из одной в другую с краткими передышками, неизменно завершавшимися очередной безумной выходкой. Начало войны как раз выпало на такую передышку, и Виктор тут же записался добровольцем в пехотные войска, где его чудачества возобновились с новой силой. Только теперь они назывались не дурацкими выходками, а воинскими подвигами. За свои дерзкие рейды в расположение неприятеля, а также героизм, проявленный во время позорного бегства его полка, Виктор был буквально засыпан благодарностями командования и наградами. Сократ объяснял, что вовсе неприспособленный к мирной, упорядоченной

жизни Виктор среди порожденного войной хаоса чувствует себя как рыба в воде, особенно же уютно в ситуации разгрома.

Тиффож и в бараке не сдружился с сотоварищами, несмотря на старания суетливого Эрнеста. Однако нельзя сказать, что все они были ему равно чужды – в некоторых Тиффож подмечал сходные со своими черты характера. К тому же их несвобода заставляла узников искать выход из тупика, и Тиффож старался извлекать из этих исканий те или иные уроки в поисках собственного спасения, которого он и сам пока не знал, откуда ждать, хотя был по-прежнему уверен, что оно близится и тесно связано с судьбой мира. К примеру, мечта Мимиля о приобретении разом и женщины и собственности находила отзвук в его душе, как и безумие Виктора, не умевшего примениться к социальной действительности, но резвящегося, как рыба в мутных и бурливых водах войны.

Что вызывало недовольство узников, так это неутомимость Тиффожа. Он свирепо вгрызался в грунт до тех пор, пока из-под земли не начинала сочиться вода, что его сотоварищи объясняли избытком физических сил. Вряд ли они были способны понять, что он ждет от иноземной почвы знака, знаменья, он и сам хорошенько не знал, чего именно. Его порыв к земным недрам в первую очередь объяснялся жаждой поскорее получить сообщение, внятное лишь ему одному.

Однако не только этим – Тиффож и просто испытывал наслаждение, всей мощью внедряясь в сокровенное нутро страны, которую уже начинал любить. Он осознал рождающееся чувство в тот день, когда, благодаря симпатии одного из охранников, ему довелось исполнить мечту, которую он лелеял с первого дня своего пребывания в лагере – взобраться на сторожевую вышку, шестиметровую бревенчатую башню, увенчанную крытой площадкой. Поднявшись по лестнице на самый верх, Тиффож лишь мельком глянул на лагерь, где строгая геометричность новеньких построек оттеняла убожество снующих вокруг них ободранных человечков. Затем он обратил взгляд на равнину, точнее, на северо-восток, куда уже почти год, как устремилось великое переселение народов. Местность была столь плоской, что даже невысокий рост башни предоставлял его взгляду обширнейший обзор. Вокруг расстилались белесые поля спелой ржи, окаймленные полоской хвойного леса, были рассыпаны сверкающие, как стальные бляшки, озерца, с припорошенными белым песком берегами, черные торфяники, усеянные серебристыми блестками берез, поросшие угрюмым ольшаником болота, где отражались молочно-белые облака, темные гречишные поля, чередующиеся с белоснежными пятнами льняных делянок. «Черно-белая страна, – подумал Тиффож, – почти без красок, даже серого цвета маловато. Белая страница, испещренная черными значками».

Вдруг солнце, низвергнув загромождавший все небо облачный дворец, подсветило и струйки пара, поднимавшиеся от болот, и печные дымки деревни Морхоф. Одно из стекол какого-то домика разразилось ритмичными вспышками, с упорством оптического телеграфа, передающего сообщение морзянкой. Наконец-то Тиффожу довелось увидеть эту деревушку, низенькие, крытые дранкой домишки которой столпились вокруг массивной церкви с выбеленными стенами и пузатой колокольней, своей приземистостью и плоской кровлей напоминавшей дозорную башню. За деревней по перебежкам света угадывался спрятавшийся в траве прудик, а еще дальше, на склоне морены, яростно вертелась полуразрушенная мельница. В небе, неторопливо шевеля крыльями, парила стая цапель, церковный колокол развеивал по ветру свою таинственную и грустную мелодию. Тиффож остро чувствовал свою неразрывную связь с этой землей. Пусть пока он пленник, все равно он предан ей душой и телом. Однако это своего рода испытательный срок. Можно сказать, что они уже помолвлены, но рано или поздно свершится очередная великая инверсия из тех, что правят его судьбой, и он станет ее законным супругом.

Необходимость целыми днями ворошить черную жирную землю, возможно, оказала на Тиффожа благотворное действие, по крайней мере с тех пор, как он поселился в лагере. Несмотря на скудную и противную пищу, желудок его работал безупречно. Каждый вечер сразу после отбоя Тиффож отправлялся в сортир, где сидел до упора. Наверняка ничто за целые сутки не доставляло Тиффожу такого блаженства, как ночные бдения в уборной, столь живо напоминавшие ему о школьных годах. Свершая действие испражнения, требующее одиночества, душевного покоя и самоуглубленности, Тиффож легко и обильно извергал замаранные слизью какашки.

Однако сам сортир мало подходил для столь высокодуховного обряда. Собственно, даже не сортир, а двухметровая канава с чем-то вроде насеста – к бревну, укрепляющему ее бортик, была приколочена узенькая планка. Тиффож не раз вспоминал выпады Нестора против «бездонных» сортиров. А здесь к тому же выгребная яма полностью опорожнялась примерно раз в десять дней, что вносило свои неожиданные и любопытные нюансы. Вывозили дерьмо вагонетками, которые говночист наполнял с помощью ведра на шесте – орудия, напоминавшего черпак, используемый на местной кухне, что давало постоянный повод для шуток. Тиффож огорчало, что вагонетки опорожнялись в дренажный канал, который равнодушно разносил его экскременты по всей равнине. Однако, страх общественного порицания не позволял Тиффожу самому напрашиваться на ассенизационные наряды, а после учреждения должности *Latrinenwache*^{*} он и вовсе преисполнился отвращением к сортиру. Охранники со временем заметили, что многие пленные гадят, не доходя до выгребной ямы. Служила ли тому причиной лень или нетерпеливость, но сортир оказывался усеянным предательскими кучками. Тогда немцы решили возложить надзор за оправлением нужды на сортирного смотрителя, обязанности которого исполняли пленные, сменяясь каждые четыре часа. Назначенный на эту должность носил на шее железную плашку с гадким словечком *Latrinenwache*. Поскольку два условия для свершения ритуала опорожнения – одиночество и самоуглубленность – оказывались недостижимыми, Тиффожу вместо лагерного сортира пришлось довольствоваться сортирами переносными и самодельными.

Как добросовестному работнику Тиффожу делали некоторые поблажки, а иногда и вовсе оставляли без надзора на долгие часы. Прорыв очередную канаву, Тиффож придирчиво изыскивал достойное место, чтобы вырыть неглубокую ямку, по бокам которой он располагал заранее припасенные две дощечки. На этом жертвеннике он совершал сокровенный и благодатный обряд единения с прусской почвой.

Однако вскоре Тиффож совершил потрясающее открытие, после которого уже совсем по-иному использовал выпадавшие ему, часы свободы. Началось с того, что в поисках места для алтаря он чуть не шлепнулся в затаившуюся в травах высохшую дренажную траншею, своего рода подземный ход, начинавшийся всего в сотне метров от места, где трудился Тиффож. На следующий день Тиффож решил разведать, куда он ведет. Дно траншеи оказалось жестким и ровным. Над головой Тиффожа колыхались зрелые колосья, образуя ажурный, колеблемый ветром навес, спасающий от солнечного зноя. Тиффож вспугнул фазанью курочку, которая опрометью понеслась вдоль тесной канавки, словно указывая ему путь. Вскоре Тиффожу показалось, что он преодолевает подъем. Это означало, что канал ведет к леску, ограждавшему угоды деревни Морхоф. Однако Тиффожу долго еще пришлось шагать под эскортом своей курочки, которая в свою очередь вспугнула пару куропаток и здорового рыжего зайца. Потом сень колосьев разрядилась, а затем и вовсе сменилась полоской голубого неба. Появившиеся кустики ежевики и боярышника указывали, что лес уже рядом. Тут курочка шумно

^{*}Сортирный охранник (нем.).

вспорхнула в воздух. А еще через несколько метров траншея уперлась в стенку из обнаженной почвы.

Тиффож выбрался из траншеи. Хвойный лес, оказавшийся всего лишь лесополосой, остался позади. Тиффож, по сути, очутился на опушке плавно перетекающей с холма на холм березовой рощи, поросшей кустами крушины. Ему показалось, что он попал в другую страну, в другой мир, – конечно, потому, что избавился от лагерной несвободы, но еще и оттого, что таинственный полуподземный ход привел его на опушку. Змеившаяся среди вересковых зарослей песчаная тропка вывела Тиффожа к неглубокой ложине, миновав которую, он обнаружил как раз то, что жаждал найти: на краю прогалины, испещренной сиреневыми пятнышками ранних цветов, стояла избушка. Казалось, что этот укрепленный на каменном фундаменте бревенчатый домик с наглухо замкнутыми дверью и окном долгие годы дожидался именно Тиффожа.

Изумленный, потрясенный, Тиффож так и замер на лесной полянке, прошептав единственное слово, которое в давние годы звучало для него обещанием блаженства: «Канада!» Воистину, он очутился в Канаде. Березовая роща, лесная прогалина, хижина – это и был затерянный среди равнин Восточной Пруссии клочок Канады. И он вновь услышал шепот Нестора, который, уткнувшись в роман Лондона или Кервуда, среди удушливого смрада классной комнаты воскрешал заснеженные пустыни и лесные кордоны, разбросанные по берегам Гудзонова залива, а также Оленьего, Невольничьего, Медвежьего и Великих Озер.

На первый раз Тиффож ограничился тем, что осмотрел свой домик снаружи. Выяснилось, что избушка заперта на медный висячий замок, который можно было без труда сорвать. Убедившись в этом, Тиффож пустился в обратный путь по той же, спрятавшейся в траве канавке. Его трехчасовое отсутствие осталось незамеченным.

В самом начале осенней распутицы комендант лагеря лейтенант Тешемахер, прознав, что Тиффож профессиональный автомеханик, усадил его за руль пятитонного лагерного «магируса». С тех пор Тиффож постоянно колесил по окрестностям, сперва под присмотром охранника, а потом чаще в одиночестве, или в компании Эрнеста, который подменял его за баранкой. Главной его обязанностью было доставлять в лагерь продукты, предварительно загрузив их на одной из соседних ферм. Как правило, кузов оказывался забит мешками с картошкой, однако ж иногда перепадало несколько шматов сала или связка колбасок, сухих и тонких, как щепки. Осенние дожди превратили проселки в болота, усеянные столь глубокими омутами, что грузовик подчас рисковал пропороть себе брюхо о вздымающиеся между ними каменистые ухабы. Однако начиная с конца октября немцы принялись постоянно бороться с дорогами, что вызвало немалое удивление французов. Оказалось, что каждый год в преддверии заморозков они таким образом заранее готовят санный путь. Случалось, что из-за ливня пленных не выводили на работы, что повергало запертых в полузатопленном лагере узников в тяжкое уныние. А Тиффож и в самые дождливые дни крутил баранку своего «магируса», вперившись в ветровое стекло, по которому бесцельно елозил дворник. Когда его грузный автомобиль переваливался по ухабам, окутанный туманом, замаранный брызгами дорожной грязи, Тиффожу чудилось, что он плывет на корабле по бурным волнам.

Он уже успел побывать во всех окрестных деревеньках, названия которых, отдающие степью, лесами, болотами – Ангемор, Флорхоф, Происенвальд, Хазенроде, Вирхуфен, Грюнхайде* – вскоре сложились для него в песенку, иллюстрациями к которой ему казались витиеватые,

*Anger (здесь и далее нем.) – поляна; Florhof – цветущий хутор; Wald – лес; Huf – копыто; Hase – заяц; Heide – пустошь.

украшенные орнаментом вывески постоянных дворов с именами своих животных-тотемов: Златоунного Агнца, Форели, Косули, Золотого Быка, Лосося. Тиффожу случалось засиживаться в прокуренных зальчиках, всякий раз непонимающе качая головой, когда к нему вдруг начинал приставать кто-нибудь из завсегдатаев, угадав в нем военнопленного. Тиффож уже почти успел привыкнуть к едким сигаркам с соломинкой на конце, которыми его там угощали. Как-то ему случилось забраться на восток до самого Гумбинена, огромного поселка, но все же сельского типа, разделенного рекой, название которой – Писса – служило неиссякаемым источником остроумия. По средам возле местной ратуши с крышей, напоминающей гигантскую лестницу, бурлила знаменитая конная ярмарка, которую снабжал товаром огромный императорский конный завод, расположенный в полутора десятках километрах, в Тракенене. А чуть южнее начинался Роминтен Хайде, обширный лесной и озерный заповедник, богатый как бегущей, так и водоплавающей дичью, просто рай земной для самых красивых в Европе оленей. Все чаще рискуя изображать из себя штатского, даже пытаясь говорить по-немецки, Тиффож постепенно знакомился с Германией, изучал новый для него мир, казавшийся ему настоящей сокровищницей, ключ от которой он, однако, пока не отыскал.

С наступлением осеннего ненастья лагерь начал заметно пустеть: пленных или по одному, или небольшими группками отправляли в дальние командировки, где они лишь формально оставались в подчинении лагерной администрации. Большинство узников трудилось лесорубами в окрестных лесах, однако, многие, согласно их склонностям или квалификации, работали в ремесленных мастерских, каменоломнях, на лесопилках или скотных дворах.

Тиффож использовал любую возможность навестить свою Канаду. Он убедил себя, что вследствие вызванной всеобщей мобилизацией нехватки лесников, он почти не рискует быть застигнутым в своей избушке. Выломав дверь хижины, он обустроил единственную ее комнатку по собственному вкусу. Всякий раз он сперва разжигал камин, а потом отправлялся совершать жертвоприношение под возведенный позади домика навес, где воздвиг свой жертвенник. Там Тиффож и проводил долгие часы, предаваясь возвышенным размышлениям, осененным изысканной роскошью одиночества. Его главной заботой было заготовить на зиму дрова, которые он сложил в поленницу под крышей. Изображая траппера, Тиффож расставил в соседних зарослях папоротника заячьи силки, впрочем, без особой надежды на успех. Но однажды по свежим следам крови он понял, что из них только что вырвалась рыжая или камышовый кот.

Как-то раз Тиффож настолько потерял осторожность, что решил переждать в домике серьезный зарядивший дождь и заснул, убаюканный потрескиванием камина и постукиванием капель о крышу. Когда Тиффож проснулся, уже стояла ночь, но шумный лепет дождя так и не стих. Наверняка он проспал вечернюю поверку. Его уже, видимо, хватились. Ну что ж, Тиффож решил положиться на судьбу. Он переночует в избушке, а ранним утром проберется в лагерь. Завалив камин дровами доверху, он соорудил себе незамысловатое ложе, испытывая восторг школьника, сбежавшего с урока. Этот восторг долго не давал ему уснуть. Он любовался пылающим камином, своего рода крошечным театриком, представлявшим какую-то пышную оперу, хотя и без музыки, но полную сложнейших коллизий, разрешавшихся бурными вспышками. Вернувшись поутру в лагерь, Тиффож не был слишком удивлен, что его отсутствие осталось незамеченным среди суматохи сновавших туда-сюда бригад. Так начался новый этап его движения к свободе, странным образом вызревавшей в лоне лагерной несвободы.

Его же сотоварищей осеннее ненастье, напротив, погрузило в окончательное уныние. Клики улетающих птиц, рассекавших полинялое небо, всхлипы студеного ветра в щелях барака, унылая страна, где все им враждебно, а потом и зима, навалившаяся узникам на плечи, лишив последних надежд на освобождение, – все это погружало в отчаяние горстку растерянных

человечков, вырванных из счастливой повседневности невесть откуда налетевшим шквалом. Лишь Сократ, затеявший читать курс лекций по истории литературы, да еще Мимиль, принимавший таинственный вид, когда его донимали супругой столяра, в подмастерьях у которого он трудился, вносили хоть какое-то оживление в жизнь барака. Как-то раз, под вечер, Фифи выглядел столь возбужденным, что к нему пристали с расспросами, где он разжился вином. В ответ Фифи разразился потоком забавной тарабарщины, состоявшей из названий пантенских улиц и тамошних кабачков вперемешку с тевтонскими словечками, которых он нахватался в лагере.

– Уж тебя-то по крайней мере прусская зима взбодрила, – бросил ему Мимиль. – Приятно видеть.

На другой день Фифи, воспользовавшись брючным ремнем, повесился на столбе лагерной ограды. Это самоубийство повергло пленных в панику. Вдруг они сообразили, что если кому и удастся покинуть лагерь, то вряд ли в здравом рассудке, и уже в ближайшие месяцы многие из них падут жертвой болезней, отчаянья, безумия. Да ведь и бараки – это ж ясно! – рассчитаны всего на год, причем обезлюдят они отнюдь не по причине амнистии.

Тут многие стали подумывать о побеге. У Виктора, что ни день, рождался новый план, которым он делился с любым и каждым, включая охранников. Другие припрятавали пищу и пытались разжиться марками, сбывая охранникам или первым попавшимся штатским свои обмылки и пакетики с махрой. Рисовали карты. Вдруг Эрнест поведал Тиффожу, что вместе с кем-то еще задумал воспользоваться его «магирусом» и аусвайсом. Они попытаются добраться до Польши, где уже не столь строгий надзор, и к тому же им обеспечена помощь местных жителей. Тиффож только пожал плечами. Потом ему пришлось отшить Мимиля, тоже имевшего виды на грузовик, с помощью которого намеревался расширить свою коммерческую деятельность за пределы лагеря. Тиффожа не соблазнил предложенный им весьма приличный процент, однако ему стало немного грустно, что все ширится пропасть, разделяющая его с соотечественниками.

Однажды утром Тиффож обнаружил, что его «магирус» исчез вместе с Эрнестом и Берне, гренобльским счетоводом из соседнего барака. Через двое суток грузовик без капли бензина обнаружили в полутора сотнях километров южнее лагеря. В наказание были отменены небольшие послабления, совпавшие со свершившимся пару недель назад рукопожатием в Монтуаре*. Узники заключали пари, поймают беглецов или нет. Удача или неудача первого побега была крайне важна. Удайся он, решение сбежать могло бы родиться даже у самых робких.

Эрнеста привезли через четыре дня, грязного, оборванного, с разбитым лицом. Он сопровождал носилки, где под брезентом покоился труп Берне. Бросив грузовик, беглецы были вынуждены сойти с кишащей жандармами дороги и плутать по болотистой равнине. В результате Берне засосала трясина, а Эрнест в конце концов сам сдался в какую-то сельскую комендатуру. Неделью его для всеобщей острастки продержали в карцере, а потом увезли в гауленцкую военную тюрьму.

Стоило немного стихнуть ливням и грозам, превращавшим травяной тоннель в непролазную топь, Тиффож вновь отправился в свою Канаду, где с тех пор проводил каждую ночь, упиваясь одиночеством и мечтаньями, навеянными таинственными лесными шорохами, охотничьим рожком женщины в белом, топотом лапок улепетывающего от лисицы зайца, а подчас и звучащим в отдалении заунывным волчьим воем. Со временем Тиффож научился расставлять силки. Попавшихся в них зайчишек он, содрав шкурки, поджаривал в своем камине, по-детски радуясь, что ведет жизнь всамделишного канадского траппера. А содранные шкур-

*В Монтуаре-на-Луаре 22 октября 1940 года состоялась встреча Гитлера с Петэном.

ки, источавшие запах дикого зверя и ветхой кожи, – прежде натянув их на деревянные рамки, – он высушивал на каминной приступке.

Как-то ночью его разбудил шорох за стеной. Казалось, некто бродит вокруг дома и трется об стены и дверь. Основательно испуганный Тиффож предпочел, однако, не обращать внимание на подозрительные звуки. Он отвернулся от стенки и вновь задремал. Но тем не менее ночное происшествие его весьма озадачило. Видимо, рано или поздно его убежище все же раскроют и выдаст его дым из трубы. Так что ж, теперь не разжигать камин? Это было бы малодушием. Тиффож решил, что в случае нового посещения лучше встретить пришельца лицом к лицу и попытаться с ним договориться, чем дожидаться, пока тот его выдаст.

Несколько недель прошло спокойно. Осень изрядно затянулась – пора было бы уже наступить зиме, но природа, казалось, все не могла на это решиться. Однажды Тиффожа вновь разбудили тяжелые шаги и шорох по стенам. Он подошел к двери и прислушался. Снаружи воцарилось молчание. Вдруг раздался какой-то хрип, повергший Тиффожа в ужас. Он распахнул дверь и тотчас отпрянул при виде возникшего в проеме чудовища, представлявшего помесь коня, буйвола и оленя. Тиффож сделал шаг вперед, но остановился перед уставленными прямо на него гигантскими рогами с острыми наростами, царапавшими дверные косяки. Приподняв голову, чудище потянулось к Тиффожу своей огромной, словно бревно, мордой с выгнутой треугольником верхней губой, которая подрагивала чутко, как слоновий хобот. Тиффожу приходилось слышать, что на севере Восточной Пруссии водятся лоси, и тем не менее он был потрясен вторжением этой горы мяса, кожи, рогов, грозившей развалить его избушку. Подрагиванье лосиной губы было столь красноречиво, что Тиффож взял со стола хлебную пайку и протянул зверю, который шумно понюхал хлебец, а потом разом его заглотил. Затем нижняя челюсть лося съехала набок, и он принялся неторопливо, вдумчиво пережевывать пищу. Должно быть, зверь насытился, так как, покончив с хлебцем, он подался назад и растворился в ночи, трогательно нескладный, неуклюжий и одинокий.

Таким образом, первым посланцем восточнопрусского зверья оказалось полусказочное существо, словно вышедшее из бескрайних доисторических лесов. Тиффож всю ночь не мог заснуть, так как посещение лося укрепило его странную убежденность в древности своего происхождения, чувство, что словно бы его корень пророс в глубь времен.

С той ночи Тиффож, отправляясь в свою Канаду, не забывал захватить несколько клубеньков брюквы для лося. Как-то раз лось навестил избушку позже, чем обычно, уже на заре, и Тиффож сумел получше разглядеть зверя. Его облик казался одновременно и величественным, и жалким: лось был метров двух от копыт до горба, венчавшего его короткую шею, с огромной ушастой головой, могучими ветвистыми рогами, костлявым задом, опирающимся на пару ножек, тощих и словно недоразвитых. Зверь ощипывал кустики черники; чтобы дотянуться до них, ему пришлось нелепо растопырить передние ноги. Не переставая жевать, лось поднял свою гигантскую голову, и тут Тиффож заметил, что его маленькие глазки затянуты бельмами. Канадский лось оказался слепым. Вот, оказывается, чем объяснялось и попрошайничество, и неуклюжесть, и сомнамбулическая замедленность движений. Сам отчаянно близорукий, Тиффож сразу ощутил свое родство с этим угрюмым великаном.

Как-то раз Тиффож проснулся от жуткого холода. Сквозь заиндевевшее окно в избушку проникал непривычно резкий свет. Чтобы открыть дверь, ему пришлось приложить некоторое усилие. А распахнув ее, он тотчас отпрянул, ослепленный. Промозглый мрак за ночь преобразился в искрившийся на солнце безмолвный пейзаж из снега и льда. Белоснежная феерия всегда возбуждала бурный восторг в ребячливой душе Тиффожа. Однако на этот раз к нему еще примешивалась радостная уверенность, что столь разительное преображение прусской земли предвещает перемены в его судьбе и новые прозрения. Стоило Тиффожу сделать

первые несколько шагов, увязая в снегу, как он получил тому, пусть небольшое, но знаменательное подтверждение – лежавший перед ним обширнейший белый лист был испещрен изящной вязью следов, оставленных птицами, грызунами, мелкими хищниками.

Снова сев за баранку «магируса», шины которого пришлось обмотать цепями, Тиффож, звякая железом и буксуя, колесил среди зимнего пейзажа, научившегося бережно хранить каждый след. Ландшафт упростился донельзя – просторная белоснежная равнина, местами подмаранная тушью, а на ней, – утопающие в белой вате домики. Да и людей, укутанных с головы до пят, было трудно отличить друг от друга.

Как-то раз Тиффож подбросил до дома крестьянина, что ковылял по обочине, утопая в сугробах. В благодарность фермер пригласил его к себе пропустить стаканчик. Впервые оказавшись в немецком жилище, Тиффож затосковал, ощутив удушье и одновременно чувство, что воровски проник в частное владение. Только тут он понял, насколько одичал по вине войны, лагеря и, конечно же, собственных душевных свойств. Забравшиеся в спальню волк или медведь, вероятно, испытали бы подобную тоску.

Он уселся возле камина, просторная полка которого, застеленная кокетливой розовой кружевной бумажкой, радовала глаз множеством разнообразных вещиц, среди которых обнаружили – свадебное фото, Железный крест на подушечке из алого бархата, засохший букетик лаванды, украшенный бантиком крендель с тмином, рождественский веничек из еловых веток с четырьмя свечками. Тиффожа угостили ломтиком сала, сохранившим аромат торфяного пламени, копченым угрем, горшочком приправленного анисом плавленого сыра, пумперником – ржаным хлебцем, черным и жестким, как кусок асфальта, и к тому еще стаканчиком пилл-каллера, ядреной водки из зерна. Думая сделать гостю приятное, радушный хозяин пустился в воспоминания о Дуэ, где ему довелось побывать с немецкими войсками, окулировавшими город в 1914 году. Затем выставленные в стеклянном шкафу, как на витрине, ружья дали ему повод с упоением вспомнить удачные охоты в Йоханнесбургском и роминтенском лесах, кишаших превосходнейшими оленями-семилетками, а также севернее, в Эльхвальде, где бродят стада лосей, неуклюжих и величественных, и еще на берегах облюбованных черными лебедями озер.

Водка обострила в Тиффоже его дар видеть на недостижимые расстояния посредством того, что он сам называл своим «вещим оком», как раз и приспособленным для чтения посланий судьбы. Он сидел возле окна с малюсенькими форточками, промежуток между рамами был засеян традесканцией. Одна из форточек точно обрамляла низовую часть деревни Вильдхорст, с ее домиками, выбеленными до карниза второго этажа, а далее оштукатуренными до самой кровли, крошечной церковкой, увенчанной тесовой колоколенкой, изгибом дороги, который одолевала старуха, волочившая санки с ребенком. Все это, да еще девчушка, погонявшая хворостиной стаю сердитых гусей, и пара кляч, тянувших еловые дровни, умещалось в квадратик сантиметров тридцати по краям. Картинка вышла столь отчетливой, великолепно прорисованной, прекрасно скомпанованной, что Тиффож ощутил, что окружающий мир, прежде видевшийся ему, как в тумане, наконец-то обрел подробности.

Теперь он узнал ответ на вопрос, которым задавался с того момента, как пересек Рейн. Тиффож понял, в поисках чего именно так далеко забрался на северо-восток: *в холодном и пронзительном гиперборейском освещении каждый символ начинает разнообразно искриться*. В отличие от Франции, с ее океаническим климатом и, соответственно, туманами, где контуры теряются среди бесчисленных полутонов, климат Германии – континентальный, более суровый и грубый. Это графичная страна, страна четких, упрощенных, эмблематичных рисунков, легко ухватываемых глазом и врезающихся в память. Во Франции же, с ее блеклыми, столь ласковыми небесами, все замутнено мгновенными впечатлениями, хаотичными

мазками, постоянным становлением. Недаром во Франции так страшатся официальных постов, мундиров, то есть всего, свидетельствующего о строго определенном месте, занимаемом в государственной или общественной иерархии. Французский чиновник своей некоторой расхристанностью словно стремится напомнить, что он к тому еще и отец семейства, избиратель, игрок в шары. В отличие от него, немецкий чиновник, затянутый в красивый мундир, целиком слит со своей должностью. То же относится и к немецким домохозяйкам, школьникам, механикам, предпринимателям, которые в большей мере домохозяйки, школьники, механики, предприниматели, чем их французские аналоги. Тогда как дурные склонности французов привели их к вырождению, мягкотелости, общему бессилию, следствием чего стали их разобщенность, нечистоплотность, малодушие, Германии всегда грозила опасность превратиться в театр граничащих с карикатурой масок, чему примером могла бы послужить германская армия, напоминающая превосходную коллекцию ярмарочных мишеней – от тупорожего фельдфебеля до подтянутого офицера с моноклем. Но Тиффожу, которого испещренные символами и иероглифами небеса постоянно окликали невнятными голосами и загадочными зовами, Германия представлялась землей обетованной, страной чистых сущностей. Он прозревал Германию, слушая побасенки фермера, и она представлялась ему точно такою, как на обрамленной квадратиком форточки картинке: такие же вот рассыпанные среди черно-белых пространств лакированные игрушечные деревеньки, снабженные табличками тотемических вывесок; леса, ярусные, как органные трубы; мужчины и женщины, постоянно холящие атрибуты своих занятий; к тому еще символичная живность. Тракененские лошади, роминтенские олени, эльзвальдские лоси, тучи перелетных птиц, заполняющих равнины своими крыльями и кликами – все это геральдические звери, каждый из которых нашел место на гербе того или иного прусского юнкера.

Вот что даровала ему судьба точно так же, как раньше – пожар в Св. Христофоре, странную войну, разгром. Но если прежде ее дары приобретали образ сокрушительных ударов, потрясавших основы основ, то стоило Тиффожу пересечь Рейн, его судьба стала и щедрее, и добрее. Уже эльзасские голуби послужили предвестьем будущего, – пускай мелким, даже смешноватым, однако Тиффож сохранил о них самые нежные воспоминания. Канада же возвестила Тиффожу, что земля, которую он обретет, казалось бы, неведомая, нехоженная, как раз та самая, что являлась ему в сокровенных детских грезах. И вот, наконец, в мгновенном озарении он постиг, что вся Восточная Пруссия это словно бы россыпь символов, в каждый из которых ему предстоит проникнуть, но не только лишь, как ключу в скважину, а еще и как язычку пламени в колпак лампы. Ибо он призван не только распознавать сущности, но и воспламенять их, выявляя горючесть каждой. Он подвергнет эту страну тиффожному расследованию, тем самым вдохнув в нее невиданную доселе мощь.

День уже начал прибывать, но стужа, наоборот, стиснула свои объятья. Даже при постоянно поддерживаемом в камине жарком пламени, провести ночь в Канаде стало довольно суровым испытанием, и Тиффож теперь иногда ночевал в лагере, потом упиваясь бодрящим покоем избушки после влажной тесноты барака. Как-то под утро, когда на темном небе еще сверкали словно бы заиндевелившие от мороза звезды, Тиффожа разбудил стук в дверь. Еще толком не проснувшись, он с ворчанием взял с приступки камина пару клубней брюквы и пошел открывать дверь. Тиффож знал, что лось, зачистивший к нему с того, первого раза, все равно не отступится. Ему пришлось немного повозиться с заледеневшей дверью, которая вдруг поддалась, распахнувшись настежь. За дверью обнаружился высокий мужчина в сапогах и форме. Незнакомец замер от удивления, но лишь на миг, а потом по-хозяйски шагнул

через порог и закрыл за собой дверь. Затем он уверенно направился к поленнице, подбросил в огонь полешко и только тогда обернулся к Тиффожу.

– Что вы здесь делаете? – спросил незнакомец.

Тиффож с первого взгляда понял, что тот отнюдь не офицер вермахта. Во-первых, слишком молод, немногим старше шестнадцати, потом – мундир: темно-зеленый, с эмблемой в виде оленьих рогов в петлицах. К тому еще охотничья трехстволка. Все это свидетельствовало, что парень, скорее всего, лесничий, какой-нибудь ферстер, ревирфорстер, форстмайстер или ландфорстмайстер, из тех, что, изрядно поубавившись в количестве, тщатся оборонить этот мохнатый и пернатый рай от браконьеров и всех превратностей войны.

Незнакомец одернул с головы лыжную шапочку с наушниками, и поскольку Тиффож замешкался с ответом, подсказал:

– Сбежал из лагеря?

– Я кормил слепого лося, – объяснил Тиффож, протянув ему клубень. И поскольку парень не выказал недоверия, отрапортовал:

– Заключенный лагеря Морхоф. Вернусь к побудке. Связист-голубятник Абель Тиффож. 18 инженерный полк, формировавшийся в Нанси. Взят в плен 17 июня в зинкуртском лесу.

– Голубятник? – переспросил незнакомец с некоторым любопытством. – Это самое могучее оружие, после кавалерии, разумеется. Несчастные птицы!

Он сел к огню и подбросил еще полешко, сопроводив его охапкой хвороста, который вспыхнул так, что, казалось, вот-вот подожжет хибару. Неуверенный в своем немецком, Тиффож сомневался, прозвучали слова лесника ностальгически или иронически, но все же в конце концов решил, что они выражали некоторую симпатию.

– Значит, вы знакомы с Унхольдом? – спросил парень, и заметив удивление Тиффожа, пояснил: – Так зовут слепого лося. Он держится подальше от стада, иначе его забьют рогами другие самцы. В нашем лесу его уже все знают, так как он клянчит еду у каждого встречного. К сожалению, по весне он откочевывает на несколько километров к югу и может забрести в места, где не знают его повадок. Когда-нибудь его шлепнут, – угрюмо закончил лесничий. – К тому еще он неуклюжий, вы, наверно, заметили? Потому его и прозвали *Унхольд*. Знаете это слово? Оно означает невежа, урод, но еще может значить – ведьмак, черт. Его боятся из-за его больных глаз и настырности!

– А вот и он, – сообщил Тиффож.

И впрямь, в потрескивание пламени стал вплетаться характерный шорох, словно некто терся о стену, потом о дверь. Когда Тиффож ее распахнул, лесничий, неоднократно встречавшийся с Унхольдом, тем не менее был потрясен явившейся в проеме черной мохнатой горой. Тиффож поднес к подрагивающей морде зверя горсть клубеньков. Сохатый осторожно сгреб брюквыцы своими поджатыми губами, не менее ухватистыми, чем указательный палец на пару с большим. Потом человек и зверь завели беседу. Тиффож, почесывая лосиное темя между огромных ушей, на диво чутких и вертких, объяснял зверю какой тот красавец, умница, силач, добряк, и сколь злобен и несправедлив мир. Лось отвечал забавным низким, словно утробным, урчанием, при этом радостно поигрывая ушами, будто соглашаясь с Тиффожем. Когда лось отступил в темноту, Тиффож вышел из домика, словно затем, чтобы проводить его до границы своих владений. После того, как раздался характерный топот убегающего северного великана, Тиффож вернулся в избушку. Лесничий, повернувшись спиной к огню, некоторое время молча его разглядывал.

– Возможно, вы и не сбежали из лагеря, но по меньшей мере самовольно отлучились. Вы взломали мою сторожку. Если судить по шкуркам, которые вон там сушатся, вы занимались браконьерством. Вполне достаточно, чтобы отправить вас в Гауденц. Но, с другой стороны,

вам удалось подружиться с этим лунатиком Унхольдом. Да и потом – голубятник в темнице? Дикость какая-то. . . (Он встал.) Возвращайтесь в лагерь. Возможно, мы с вами еще увидимся. Я оберфорстмайстер Роминтенского заповедника.

Он надел свою шапочку, опустил ее уши, застегнул китель и вышел, бросив на прощание:

– В такую стужу не перекармливайте его брюквой! Я подброшу на сеновал несколько охапок сена и мешок овса. Тогда, может, он и не откочует к югу.

Весна для Тиффожа началась с одного события. В лагере о нем забыли уже через сутки, однако оно изменило представление Тиффожа о себе самом и своей миссии в Восточной Пруссии.

Уже шафран пробивал последние наледи, а по ночам разносились победные кличи птиц, заполонивших все бухты Куршского залива в ожидании весенних ветров, которые подхватят их и понесут дальше на север. Прошло несколько недель, как Тиффож сменил свой верный «магирус» на старенький «опель» с газогенным двигателем. Машины, работающие на бензине, теперь предназначались лишь для действующей армии, что породило слух о готовящемся наступлении немецких войск. Впрочем, Тиффожа это вовсе не заботило. В смене одной машины на другую он увидел признак все крепнущей связи между ним и прусским лесом, который отныне даровал энергию его автомобилю. К тому же, экономия горючего, а также как бы технический регресс породили в нем уверенность, что это лишь начало общей деградации Германии, предвещающее ее поражение. Значит, вскоре ему уже не придется смотреть снизу вверх на эту спесивую державу. Он встанет с ней вровень, а может быть – кто знает? – она и вовсе сдастся на его милость.

По весне бараки потребовалось основательно подлатать, и Тиффож отправился в ближайшее путешествие по лесопильным заводам Эльхвальда, чтобы раздобыть досок. Окружающий пейзаж, сам его дух показался Тиффожу знакомым, так как наиболее полное воплощение он обрел в Унхольде: уже вконец раскисшая песчаная почва; слияние слякотной земли с промокшим небом; жидкая грязь на дорогах, в таком изобилии, что копыта лошадей приходилось забивать в огромные деревянные колодки, а телеги снабжать чудовищными, как у дорожного катка, колесами – без этих Puffraeder'ов не обходится ни одна ферма, поскольку они заменяют фермерам паромы и шаланды в пору весенних и осенних паводков.

В отдалении тянулась гряда песчаных дюн, постоянно перекачиваемых ветром, несмотря на попытки их закрепить, засеяв колосняком. На их верхушках иногда можно было различить массивные и архаичные фигуры лосей. Далее простирался мелководный Куршский залив площадью более шестисот квадратных километров, постепенно, в течение тысячелетий, превращаемый в болото наносами Мемеля, Дайме, Русса и Гильге. Это умирающее соленое озеро было отделено от Балтики лишь Куршской косой девяноста восьми километров в длину и от четырех километров до пятисот метров в ширину. Тиффожу еще не доводилось добираться до этой северной оконечности Германии. Особенно его манила расположенная посередине косы деревушка, где обитали одни орнитологи, наблюдавшие за миграцией птичьих стай, которые два раза в год ниспадали на их деревеньку, как длиннющие ворсистые нити.

Проинспектировав северные границы своих владений, Тиффож уже возвращался в лагерь, когда приключилась авария. Газогенный двигатель задыхался, явно не справляясь с весом вздымавшегося выше кабины штабеля досок. Но окончательно сломила его упорство дорога. На выезде из леса перед машиной простерлась огромная лужа, которую Тиффож попытался проскочить с ходу, развернув по обеим бортам машины пару огромных крыльев, оросивших вычерненную почву. Вдруг он почувствовал, что машину заносит, и с перепугу дал по тор-

мозам. Грузовик проскользил еще пару десятков метров и замер поперек дороги. Тиффож вновь завел мотор, но колеса лишь буксовали, все больше увязая в грязи. В конце концов ему пришлось пешком добраться до ближайшей деревни Гросс-Скайсгиррен и, предъявив свое командировочное удостоверение, просить помощи у местных властей. Уже стемнело, когда Тиффож возвратился к своему «опелю» в сопровождении одного батрака и двух лошадей. Однако лошаденки только скользили в жидкой грязи, а потом одна из них и вовсе рухнула на колени, едва не сломав ногу. Чтобы вызволить засевший в грязи грузовичок, требовались длинные веревки; тогда вытягивающие его лошади сами стояли бы на твердой почве. Тиффожу пришлось сдаться местной жандармерии, где ему предоставили для ночлега какую-то мерзкую клетушку. Наутро грузовик вытянули-таки из лужи, но мотор решительно отказался заводиться. Тиффож вновь переночевал в прежнем закутке и только на следующий день добрался до Морхофа, опоздав на сутки.

Лейтенант Тешемахер встретил его едва ли не с распростертыми объятиями.

– Тут вчера в торфяниках под Валькенау нашли жмурика, – поведал он. – Я уж боялся, что это ты. Мне по телефону сообщили приметы – почти все сходились. Притом любопытно, что из лагеря никто не сбежал, и в окрестных деревнях никто не пропал.

Всегда внимательный к символам и совпадениям, Тиффож, разумеется, не мог пропустить сообщение лейтенанта мимо ушей. Он выяснил, что неопознанный труп доставлен в Валькенау, где хранится в здании местной школы, пустующем по причине пасхальных каникул. Поскольку деревня располагалась всего в двух километрах от лагеря, он при первом же удобном случае отправился взглянуть на мертвеца.

– Обратите внимание на изящество рук и ступней, на тонкость черт, на его ястребиный профиль, который не портит даже высокий лоб. По облику настоящий аристократ, что, впрочем, подтверждает и его хламида, словно бы вытканная из золотых нитей, и вещицы, захороненные вместе с ним, наверняка, чтобы они служили ему в загробном мире.

Вторжение Тиффожа в классную комнату прервало лекцию, которую г-н Кайль, кенигсбергский профессор антропологии и археологии, читал полудюжине слушателей. Аудитория состояла из мэра, коротышки в очках, наверняка учителя, который, кстати, и оповестил Кенигсберг о находке, и нескольких местных заправил. Возлежащий перед ними на столе полуголый, замаранный торфом мертвец, с морщинками, как у восковой фигуры, довершал сходство собрания с уроком анатомии. Аскетическое, одухотворенное лицо мертвеца было натуго перетянuto узкой глазной повязкой с прикрепленной посредине металлической шестиконечной звездой.

Из объяснений профессора Тиффож узнал, что подобных *торфяных людей* время от времени находят в Дании и северной Германии, причем, в столь сохранным виде, что крестьяне всякий раз подозревают несчастный случай или убийство. На самом же деле это древние германцы, чей обычай ритуального утопления в болоте восходит к первому веку нашей эры, а то и к еще более раннему периоду. К сожалению, сведения о тогдашних германцах содержатся лишь у Тацита, судившего о них понаслышке, ввиду чего трактат «Германия» не может считаться авторитетным источником, подчеркнул г-н Кайль. Далее он обратил внимание слушателей на удивительную сохранность кожи мертвеца, несмотря на его двухтысячелетний возраст, позволившую местным жандармам снять у него отпечатки пальцев. Затем профессор сообщил, что самолично провел вскрытие трупа, и состояние его легких позволяет утверждать, что этот человек умер, захлебнувшись. Впрочем, на теле отсутствуют какие-либо раны или следы насилия. Тут профессор смолк, улыбнулся, принял важный и таинственный вид и как-то заговорщицки глянул на двухтысячелетнего покойника, словно только им двоим был ведом

некий пикантный секретец. Выдержав паузу, г-н Кайль торжественно возгласил, подчеркивая каждое слово:

– Дамы и господа (надо сказать, что дамы отсутствовали), я лично произвел резекцию желудка, а также тонкой и толстой кишок нашего прапредка. Его органы пищеварения, хотя и ссохлись, но превосходно сохранились и даже содержали остатки пищи. Таким образом, я получил возможность *строго научно*, – последние слова он проскандировал по слогам, – установить, что данный человек ел перед смертью. Последний прием пищи – я сумею это доказать – имел место за полсуток или за сутки до кончины и состоял из гречишной, – если быть точным, из той разновидности гречихи, которую в народе называют водяным перцем, – кашицы, приправленной в разных пропорциях укропом, шпинатом, ипомеей, ромашкой. Не думаю, однако, что подобная вегетарианская похлебка была повседневной пищей древних германцев – охотников и рыболовов, – скорее, пищей сакральной, чем-то вроде последнего причастия. Видимо, смертник, перед ритуальным жертвоприношением, вкушал ее в кругу нескольких посвященных.

– Что же касается точной датировки данного жертвоприношения, то она, разумеется, невозможна. Однако относится оно, безусловно, к первому веку нашей эры, поскольку возле тела обнаружена золотая монета с изображением Тиберия. Это и есть самое удивительное наше открытие. Можно ведь предположить, что трапеза данного знатного германца, наверняка вождя, накануне его страшной, но добровольной гибели, состоялась в тот же год, – а может быть, и час! – что и Тайная Вечеря, последний ужин Христа с его учениками, предшествующий Страстям Господним. Таким образом, в то самое время, когда на Ближнем Востоке зародилась иудейско-средиземноморская религия, здесь, в Германии, существовали сходные ритуалы, возможно, свидетельствующие о независимом формировании религии собственной, истинно нордической.

Профессор вновь умолк, словно потрясенный величиим собственной догадки. Затем продолжил уже менее торжественно:

– Также хочу обратить ваше внимание, что торфяник, где было обнаружено тело, располагается в ольховой роще. А ведь в подобной же разворачивается действие самой знаменитой и самой таинственной баллады величайшего из немецких поэтов Гете – «Лесной царь»*. Она ласкает наш германский слух, она умиляет наши германские сердца. Это подлинное воплощение германского духа. Поэтому я предлагаю – и буду отстаивать свое мнение в Берлинской академии наук – занести этого человека в археологические анналы под именем *Лесного царя*.

И профессор продекламировал:

*Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?
Ездок запоздалый, с ним сын молодой... ***

Тут в класс влетел запыхавшийся батрак и что-то зашептал на ухо профессору.

– Господа, – возгласил г-н Кайль, – мне сообщили, что в том же торфянике только что нашли еще одно тело. Думаю, всем нам необходимо немедленно отправиться на болото, дабы поприветствовать очередного посланца из тьмы веков.

Рабочие не решились самостоятельно извлечь тело из трясины. Оттуда выглядывала только голова, точнее, правый ее профиль, впечатанный в черную жижу, словно выбитый на медали. Он был почти торфяного цвета, так что смахивал на барельеф, вылепленный из самого же торфа. Видимо, мертвец сильно усох, так как головка казалась вовсе детской, а печальное

*В оригинале: «Ольховый король». Также дословно переводится название романа М. Турнье.

**Перевод В. Жуковского.

личико и шапочка из трех грубо сметанных лоскутов ткани придавали покойнику сходство с заключенным, точнее, с каторжником. Дождавшись профессора, рабочие взялись за лопаты. Сперва они полностью отрыли голову, потом плечи, покрытые чем-то вроде накидки из бараньей шкуры. Затем явилось на свет и все одеяние целиком, которое, однако, казалось пустым. Когда «очередного посланца из тьмы веков» уложили на траву, присутствующие, заглянув под его пастушеский плащ, смогли убедиться, что туловище и впрямь истлело – одну только голову отчего-то пощадили века.

– Увы, – заключил г-н Кайль, – мы никогда не сможем достоверно узнать, мужчина это, женщина или ребенок. Однако аналогичные находки заставляют меня склониться к мнению, что перед нами женщина. Дело в том, что вожди нередко отправлялись в царство теней, сопровождаемые своей супругой, а древние германцы, как вы знаете, соблюдали моногамию. И тем не менее это так и останется самой сокровенной тайной из всех, связанных с Лесным царем. Правда, если не считать глазную повязку с золотой звездой: подобную символику современная наука расшифровать бессильна. Однако с годами прошлое к нам лишь приближается. Не удивляйтесь – ведь об античности мы сейчас знаем несравненно больше, чем столетие назад. Точно так же новые находки, вполне возможно, вскоре прольют свет на обычаи древних германцев. И все же, уверен, что тайна нетленности погребенного в болоте Лесного царя так и не будет раскрыта до конца.

Перед тем как отправиться обратно в Морхоф, Тиффож еще долго разглядывал грустное личико каторжника, которого впервые коснулись солнечные лучи после веков торфяного мрака. Казалось, он старается запомнить облик Лесного царя, на случай, если судьба сведет их вновь.

Осенью 1940 года жители городка Растенбург были весьма удивлены тем, что вдруг был закрыт доступ в горлицкий лес, где прежде устраивали народные гулянья, соревнования стрелков, ярмарки, куда просто выходили погулять всем семейством воскресными вечерами. Затем кафе «Карлсхоф», где местные обыватели собирались на дружеские посиделки, было реквизировано службой СС. Потом город заполонили строительные отряды генерала Тодта, строительные заводы фирм «Wayss und Freitag» и «Dikerhof und Widmann», а также грузовики Сайденспиннера, лесоустроителя из Штутгарта. Были расширены все окрестные дороги, вблизи города выстроили аэродром, а железнодорожную линию Растенбург-Ангебург закрыли для гражданских перевозок. Газеты официально сообщили о строительстве в бывшем заповеднике Горлиц крупного филиала химической фирмы «Chemische Werke Askania». Однако подобное объяснение казалось сомнительным из-за избыточной помпы и суеты. Несмотря на секретность всего, что относилось к строительству так называемого «нового города», просочились слухи о полутораметровом ограждении из трех рядов колючей проволоки, за которым простиралось минное поле пятидесяти метров в ширину, охраняемое к тому же бдлившими денно и ночно часовыми. Далее следовали еще две линии обороны, щедро оснащенные артиллерией и тяжелыми пулеметами. Короче, чтобы проникнуть в «новый город», надо было пройти не одну, а несколько проверок. Состоял город из дюжины вилл, сверхсовременного узла связи, автобазы, сауны, котельной, кинотеатра, конференц-зала, офицерского казино, а главное – превосходно оборудованного подземного бункера, который помещался в северной стороне оцепления и был укрыт восьмиметровым слоем бетона, который пронзала шахта лифта.

22 июня 1941 года, когда согласно плану «Барбаросса» немецкие войска устроили ад на советской территории, Гитлер переселился в «волчье логово» (Wolfsschanze) вместе с Борманом, своим штабом и секретариатом. В то же время наиболее видные гитлеровские сановники

расположились по соседству: Гиммлер – в Хегвальде, Риббентроп – в Штайнорте, шеф канцелярии Ламмерс – в Розенгартене и, наконец, Геринг, весьма довольный представившимся случаем, – в своем роминтенском охотничьем замке.

В этот день сто двадцать немецких дивизий при поддержке трех тысяч двухсот самолетов и десяти тысяч танков нарушили русскую границу. Одновременно с севера в Россию вторглась финская армия, а с юга – венгерская и румынская. С этого дня почва Восточной Пруссии постоянно содрогалась под гусеницами бронетехники, а небеса трепетали от эскадрилий бомбардировщиков. Где-то далеко на востоке образовался могучий водоворот, неудержимо втягивающий в себя людей и пушки, лошадей и машины. Этот рокот докатился и до лагеря, пробудив в узниках надежду. Они понимали, что свершающиеся события могут вскоре изменить их судьбу. Что же касается Тиффожа, то перемена внешних обстоятельств была для него, безусловно, менее важной, чем обновление личности, как раз в ту пору исподволь вершившееся после зимних и весенних прозрений. Поездки на газогенном «опеле», которые он использовал для вдумчивого изучения Германии, немцев, их языка, как и прежде, чередовались с днями лагерной тоски, когда единственной радостью становились вылазки в Канаду. Лишь стоило задуть весенним ветрам, как Унхольд исчез, наверняка отправившись в свое таинственное путешествие на юг, о котором предупреждал роминтенский оберфорстмайстер. Казалось, что этот посланец прусского зверья в Канаде отбыл тотчас, как счел свою миссию завершённой. Заключалось же она, возможно, в том, чтобы подготовить Тиффожа к гораздо более важной встрече – с Лесным царем и его маленьким рабом, как прозвал малыша Тиффож.

3 октября Гитлер в своей речи, произнесенной в берлинском Дворце Спорта, объявил о начале операции «Тайфун», имеющей целью полное уничтожение Красной Армии и взятие Москвы. Вновь на Восточную Пруссию накатили волны людей и машин, причем людей все более молодых, а машин все более совершенных. Казалось, в пылающий костер войны летит все без разбору. Наблюдая пересекающих хмурое небо первых перелетных птиц, Тиффож с грустью думал о юношах, обреченных погибнуть во цвете лет. Птицы казались ему отлетевшими душами убитых на войне; одинокие, растерявшиеся в неведомом загробном мире, они оплакивали землю, с которой сроднились, но любить которую им был отпущен столь недолгий срок.

Едва болота покрылись первой корочкой льда, Тиффожа вызвали в контору лагерного нарядчика, Arbeitseinsatz, где его ожидал высокий блондин в темно-зеленой форме, украшенной эмблемой с оленьими рогами. Тиффож тотчас узнал оберфорстмайстера, так его перепугавшего несколько месяцев назад в Канаде.

– Мне нужен помощник, разбирающийся в автомобилях, – сказал лесничий. – Да и просто подручный. Я подумал о вас. Лагерное начальство уже выписало путевой лист, но раб мне вовсе ни к чему. Поэтому я жду вашего согласия.

Через час Тиффож, наскоро попрощавшись с товарищами и лейтенантом Тешемахером, устроился возле оберфорстмайстера на сиденье громоздкого «мерседеса», с бензиновым двигателем.

Промчавшись полсотни километров на юго-восток по полям, схваченным ранними холодами, они еще засветло добрались до частокола, ограждавшего Роминтенский заповедник, и затормозили у бревенчатых ворот с готической надписью: Naturschutzgebiet Rominter Heide*.

*Заповедник Роминтерская пустошь (нем.).

IV

ЛЮДОЕД ИЗ РОМИНТЕНА

И он нюхал воздух направо и налево, приговаривая: “Здесь человеческим духом пахнет!”

Шарль Перро

Они оставили служебный «мерседес» возле сторожки и продолжили путь в охотничьем кабриолете, который вез бодрый рыжий коняга. Таким образом, хозяева, насколько возможно, оберегали природу Роминтена от вредных выхлопных газов. Уже смеркалось, когда они остановились перед домом старшего егеря; это была вилла с верандой, крытая старой черепицей; на коньке во множестве красовались ветвистые олени рога. Тиффожу велели распрячь лошадь и отвести ее на конюшню; он постарался справиться с этой своей новой задачей елико возможно лучше под критическим взглядом старика-слуги, который поспешил выйти из дома, едва заслышав скрип колес по гравию двора. Затем ему указали комнатуху в мансарде; спустившись оттуда в кухню, он разделил со слугой и его половиной ужин, состоявший из супа, сала, красной капусты и черного хлеба.

В последующие недели Тиффож то пешком, то в повозке сопровождал старшего егеря в его инспекциях по заповеднику. До него роль кучера, шофера и фактотума выполнял сын пожилой четы слуг, но парня мобилизовали и отправили на русский фронт, и его обязанности перешли к Тиффожу. Родители сперва приняли новоприбывшего в штыки, но их враждебность быстро улеглась, и мало-помалу он стал для них кем-то вроде приемного сына, с которым старики обращались тем более мягко, что их терзал постоянный страх за того, другого.

С той минуты, как за Тиффожем затворились тяжелые ворота заповедника и ему впервые довелось войти под зеленые своды Роминтенского леса, он понял, что проник в некий магический круг, введенный туда самым младшим из чародеев, которому, однако, подчинялись все духи здешних мест. Первой, кого он встретил здесь, оказалась большая золотистая рысь, сидящая на пне; она проводила его загадочным взглядом, улыбаясь в свои тоненькие усы азиатского владыки и подергивая светлыми кисточками, торчком стоящими на ушах. Потом за ним увязались парочка бобров, белый сокол-балабан и крупный серый узкоглазый пес с вислым задом, оказавшийся, по словам егеря, одним из тех русских волков, что целыми стаями перебегают сюда через польские равнины. Но главное волшебство таилось во флоре, то вредоносной, то полезной, чья связь с фантастическими лесными обитателями просто бросалась в глаза. Старший егерь показал ему огромные грибы с красными шляпками в белых крапинках, под которыми спят эльфы и тролли; черный гриб-морозник, что сводит людей с ума, но зато 24 декабря покрывается рождественскими розами; сморчки – вестники смерти: их гниловатые, хотя и съедобные раструбы указывают на близость падали; белладонну, которая сушит пот и расширяет зрачки; губчатые подосиновники – «чертову пищу» – на багрово-синих ножках; но самыми интересными были загадочные крошечные пещерки с белеющими внутри обнаженными волосатыми корнями, зиявшие на склонах пригорков, – эдакий вход в жилище дряхлых бородатых гномов, которые, даром что малютки, говорят громовым басом и останавливают коней на всем скаку, вцепляясь им в гривы.

Тиффож ждал, что старший егерь посвятит его во все эти сказочные дела: например, спустится вместе с ним в подземные гроты, где тролли добывают алмазы среди каменных россыпей, или же поведет в укрытый зарослями ежевики и камнеломки замок, где спит в хрустальном саркофаге обнаженная юная красавица, а то еще, может быть, научит собирать волшебные травы и готовить из них эликсир молодости или любовный напиток. На самом же деле простой, доверчивой душе Тиффожа было уготовано иное, – не разочарование, но изумление, в которое поверг его властелин и хозяин здешних лесов и зверей. Ибо он повстречал здесь не гномов, не спящих принцесс и не столетнего короля, живущего в дупле дуба; ему пришлось вскоре предстать перед Роминтенским Людоедом.

Администрация Роминтенского заповедника, площадью двадцать пять тысяч гектаров, держала множество егерей, чьи домики прятались в подлеске того сектора, что состоял под их охраной. Самыми примечательными из всех здешних построек считались «Ягдхаус» Вильгель-

ма II и «Ягерхоф» Германа Геринга, возведенные в центре заповедника, на расстоянии двух километров один от другого.

Императорский «Ягдхаус», выстроенный в 1891 году норвежским архитектором из норвежских же материалов, являл собою странный на вид маленький деревянный замок, увенчанный остроконечными башенками, обвешанный галерейками и выкрашенный сверху донизу в темно-красный цвет; он походил одновременно на китайскую пагоду и на швейцарское шале. Вдобавок ко всем этим причудам архитектор решил подчеркнуть нордический характер своего творения, для чего вынес далеко наружу коньки крыш, придав каждому из них форму носовой части драккара в виде драконьей головы. Часовня Святого Губерта и бронзовый олень – скульптура Рихарда Фризе – дополняли, вкупе с хозяйственными постройками того же стиля, ансамбль императорской резиденции.

В 1936 году фельдмаршал Герман Геринг, владелец Роминтена вдвойне – как гауляйтер Пруссии и как главный лесничий рейха, – приказал построить невдалеке от замка собственный охотничий домик, «Ягерхоф», который своим безупречно выдержанным «сельским» стилем затмил наивно-безвкусную роскошь императорского «Ягдхауса». Приземистые, крытые камышом строения четырехугольником окружали внутренний двор – не то патио, не то монастырское подворье. Конек крыши венчал кованый флюгер со старинным символом, сулящим удачную охоту, каковая и подтверждалась наличием великолепных оленьих рогов. Внутри дома был сложен из грубо обтесанных камней гигантский камин; он зиял в дальнем конце зала, необъятного, словно церковный неф; зал освещался днем через высокие окна с разноцветными стеклами в мелких свинцовых переплетах, а по вечерам монументальными люстрами и канделябрами; темные ребристые перекрытия придавали ему сходство с перевернутым корабельным корпусом. К этой огромной гостиной прилегали боковые комнаты, отделанные каждая своим сортом дерева, так что гостям указывали их как «ясеневую», «вязовую», «дубовую», «лиственничную» и т. д. Здесь, в этом лесном поместье, Первый Охотник рейха наслаждался блеском роскоши и власти, без которого не был бы самим собой и который озарял его и в берлинском особняке «Каринхолл» на Шорфхайзе, и на вилле Бертехсгадена, и даже в «Азии» – личном бронированном поезде, настоящем дворце на колесах. И все это сказочное богатство – гобелены, картины старых мастеров, драгоценности, меха, безделушки, посуда, серебро – было добычей ненасытного пирата, которому война открыла двери аристократических домов и всех музеев Европы. Приезд Гитлера и его штаба в «Волчье логово» Растенбурга, менее чем в девяноста километрах отсюда, дал Герингу неожиданную возможность совмещать служебный долг по отношению к повелителю III рейха с утехами охотника на оленей и любителя свежатины. Его дом в Роминтене был открыт для всех; здесь с большой помпой принимали и высокопоставленных немецких чиновников и государственных деятелей стран-союзниц, и каждому предоставлялась высокая честь подстрелить оленя. Олень выбирался хозяином заранее, по совету старшего егеря и в соответствии с рангом гостя, но он неизменно оказывался куда хуже, чем та поистине королевская добыча, которую он приберегал для самого себя.

Одна из первых обязанностей, порученных Тиффожу, вполне отвечала чаяниям земледельцев, чьи поля, примыкавшие к западной окраине Роминтена, разорялись и вытаптывались кабанами из заповедника. Никакой забор, кроме каменной стены, не мог устоять под натиском старого самца, решившего проложить дорогу своему семейству, и крестьяне, старательно, хоть и без особой надежды, чинившие пробоины в плетнях и оградах, прекрасно знали об этом. Чтобы помочь горю, пришлось бы истребить все поголовье диких свиней в заповеднике, – к такой мысли пришли лесники, боявшиеся за свой молодняк и за места его подкормки.

Но Главный Лесничий решил иначе. Он слишком любил этих крупных, свирепых, живучих, прожорливых зверей, с одинаковым аппетитом поедавших и зерно, и насекомых, и падаль; их беспорядочный, непредсказуемый нрав составлял для него приятный контраст со спокойным, размеренным образом жизни оленей и косуль, прочно привязанных к своим пастбищам, водопоям и лежкам. Итак, он принял совершенно противоположное решение, а именно: сделать восточную оконечность Роминтена настолько привлекательной для кабанов, чтобы они там прочно обосновались. Придумали оставлять им в пищу трупы лошадей, назначенных на бойню; их приканчивали и обдирали прямо тут же, на месте, куда и приходили кормиться кабаны.

Тиффож воспринял как тяжкое – а, впрочем, весьма для него многозначительное, и, стало быть, благое – испытание саму процедуру убийства лошадей, в которой ему отводилась роль палача. Он должен был раздобывать таких, обреченных на смерть, животных в окрестных деревнях или на соседнем конном заводе, километрах в двенадцати на север, а затем отправляться в повозке, в сопровождении хозяина лошади, к месту заклания. Часто несчастная кляча оказывалась столь немощной да еще некормленной с того дня, как ее приговорили к гибели, что еле-еле плелась за повозкой. Тиффожу даже выдали шприц и бутылочку стимулятора, чтобы при случае взбодрить падающую с ног животину.

Он убивал их пулей седьмого калибра, стреляя с полуметрового расстояния в голову за ухом. Сраженная выстрелом жертва падала, как подкошенная, и хозяин тут же срывал с нее подковы и обдирали кожу, если она того стоила. Тиффожа прямо тошнило от отвращения при виде этой варварской процедуры, напоминавшей вульгарную бойню, только что в лесной чаще, тем более, что довольно скоро он ощутил какую-то сокровенную связь с лошадью – существом, так сказать, идеально «носящим», что придавало всем этим убийствам от его руки оттенок самоубийства. Однажды, наведавшись на место преступления, он застал целую компанию диких свиней за пожиранием мертвой кобылы; они свирепо терзали тушу, растаскивая окровавленные куски по всей лужайке. Но это еще куда ни шло. В другой раз Тиффож стал свидетелем совсем уж омерзительной сцены, когда старый самец набросился на еще неостывшую тушу, начав с заднего прохода, который он разодрал рылом и клыками. Мертвая лошадь с выпущенными кишками, казалось, дрыгает всеми четырьмя задранными ногами под грубым натиском кабана. И уязвленный Тиффож осознал, что и сам косвенным образом причастен к этой необузданной, мерзкой жестокости.

Прибытие Великого Охотника, маршала и главнокомандующего военно-воздушными силами, знаменовалось в «Ягерхофе» доставкой громадного количества провизии и испуганной суматохой среди obsługi. Когда «Азия» останавливалась на станции Тольмингкёнен, на перрон въезжал огромный, украшенный флажками «мерседес», который мчал своего грузного хозяина в его волшебный замок. Там в необъятном камине уже вовсю пылал огонь. Дворецкие в белых перчатках расставляли десятки горящих свечей на длинном монастырском столе, покрытом белоснежной скатертью и сверкающем серебряной антикварной посудой; лакеи перестилали хозяйское ложе с шелковыми простынями и меховыми одеялами, а в кухне, на древесных углях, уже доспевал традиционный, истекающий жиром молодой кабан. Старший егерь одним из первых представал пред очи хозяина, чей неумолчный бас с жирным баварским акцентом гремел во всех уголках «Ягерхофа». Старик, наряженный в свою парадную охотничью форму, выходил от маршала с гудящей головой и помутившимся взглядом и тут же вываливал все свои заботы на Тиффожа, ожидавшего его в конюшне, при рыжем, запряженном в двуколку.

Впервые Тиффожу довелось увидеть рейхсмаршала в самой середине зимы, и поводом к

этой встрече послужило происшествие, которое донельзя развеселило владельца Роминтена.

Тиффож возвращался из Гольдапа в повозке, запряженной парой першеронов, с грузом свеклы и кукурузы, предназначенных для подкормки оленей. Коняги нутужно дышали, таща тяжелую телегу и звонко цокая подковами по заледенелой земле: Тиффож, закутанный в бараний тулуп, рассеянно созерцал белую вязь оголенных заиндевелых веток и думал о том, что это долгое странствие на восток, в которое его ввергли инцидент с Мартиной и вызванная им война, сопровождается как бы и паломничеством в прошлое, отмеченным, в переносном смысле, появлением Унхольда и человека с торфяников, а в чисто практическом – фактом предпочтения машины, работавшей на бензине, а потом на газогене, конному экипажу. И он боязливо и, в то же время, радостно предвкушал, как путешествие это завершится в неких волшебных далях или глубинах, в загадочном мраке древних преданий – быть может, в той самой, жутко-прекрасной, ночи Лесного царя.

И вот тут-то Тиффожа и настигло происшествие, еще сильнее укрепившее в нем убежденность в том, что мысли его обладают мрачной властью вызывать из небытия вполне реальные существа. Справа, из-за тощих ветвей столетних елей, на него дробной рысцой набежало стадо огромных черных зверей, мохнатых, как медведи, с горбами бизонов. Тиффож сразу же признал в них быков, но быков доселе невиданных, доисторического вида, какие красуются на стенах пещер эпохи неолита, – одним словом, зубров с их короткими, как кинжалы, рогами и могучими лохматыми загривками. К несчастью, звери попались на глаза не ему одному. Лошади, до того поспешавшие сонной рысцой, внезапно рванули вперед бешеным галопом, и повозка, вихляя и подпрыгивая, едва не угодила в кювет. Тиффож, разделивший их испуг, не решался натянуть вожжи, тем более, что вторая группа чудовищ отрезала им обратный путь. Он насчитал впереди дюжину голов, сзади – добрый десяток, всего, стало быть, больше двадцати; правда, среди тех, задних, было явно больше самок и телят. Тиффожу с трудом удалось разминуться со стадом, которое тут же сомкнулось со вторым, образовав могучую, страшную массу, слепо крушившую все подряд на своем пути. Но первый же поворот дороги оказался роковым для испуганной упряжки. Повозку сильно потряхнуло, проволокло несколько метров на двух колесах, и она рухнула на бок, вывалив Тиффожа в снег, тогда как лошади продолжали тащить ее вперед. Одна из них вырвалась из лопнувших постромок и умчалась, волоча за собой разбитые оглобли; вторая все еще билась в упряжи, молотя копытами по передку телеги. Тиффож поспешил выпрячь ее и взобраться к ней на спину, пока она не ускакала. Обернувшись, он увидел, что зубры окружили перевернутую повозку и мирно лакомятся свеклой и кукурузой.

Отец Роминтенских зубров, довольно часто гостивший в «Ягерхофе», во время этого происшествия как раз находился в замке. Это был профессор доктор Лутц Хекк, директор берлинского зоопарка. Некогда ему пришла в голову идея вывести, путем умелого скрещивания и тщательной селекции различных пород быков – испанских, камаргских, корсиканских, – тех доисторических зубров, чьи последние потомки были истреблены еще в средние века. По его мнению, затея удалась, и доктор добился у Первого Охотника разрешения выпустить в Роминтенский заповедник своих *Bos Primigenius Redivivus*, как он радостно, но вполне педантично окрестил их.

С тех пор огромные черные страшилища и наводили ужас на весь заповедник. Из уст в уста передавалась история о том, как зубр напал на патрульных-велосипедистов, заставив людей искать спасения на ветвях ближайшего дерева. Зверь обратил свою ярость против велосипедов, брошенных на дороге. Растоптав их, он поддел одну из машин рогами и гордо удалился, неся на голове сей трофей из перекрученных трубок и колес.

Когда Геринг услышал о горестном приключении Тиффожа, радости его не было границ, и

он приказал доставить потерпевшего к себе, чтобы услышать эту историю из его собственных уст. На следующий вечер Тиффож явился в «Ягерхоф» свежевыбритый, обряженный в зеленую форму и черные сапоги, одолженные у одного из лесников, имевшего примерно те же габариты. Сперва его долго и вкусно кормили на кухне, в присутствии слуг, взиравших с боязливым почтением на человека, которого отличил сам Первый Охотник рейха. Затем ему пришлось подождать, пока господа не насладятся отдыхом у гигантского камина, среди сигар и ликеров. И вот, наконец, ему было велено войти.

Хотя гости, сидевшие вокруг хозяина, были в мундирах, все они безнадежно меркли в сиянии, которое излучал Первый Охотник с его впечатляющей тучностью и экстравагантным нарядом. Сто двадцать семь килограммов жирной плоти выпирали из просторного старинного кресла, чья затейливая резная спинка веером обрамляла его голову и плечи. Он был одет в белую рубашку с кружевным жабо и широкими свободными рукавами, полускрытую под чем-то вроде ризы из сиреневого бархата; на груди у него красовалась массивная золотая цепь с огромным, величиною с голубиное яйцо, изумрудом.

Подобное зрелище было бы непосильно для французской души Тиффожа, если бы немецкий язык не возвел между ним и этими людьми стену – проницаемую, хотя и не совсем прозрачную, – несколько защитившую его от их бесцеремонной грубости; эта преграда и позволила ему обратиться ко второму лицу рейха в таких выражениях и тонах, каких никто не потерпел бы со стороны немца.

Тиффожу пришлось досконально описать место и время встречи с зубрами, численность стада, направление, в котором оно двигалось, реакцию лошадей и свою собственную; при каждой новой подробности Великий Охотник заливался раскатистым хохотом, хлопая себя по ляжкам. Потом собравшиеся принялись подшучивать над очками Тиффожа, высказав предположение, что сквозь эти «увеличительные стекла» он вполне мог принять за гигантских зубров каких-нибудь кроликов, и тут Тиффож впервые заподозрил в хозяевах III рейха одну общую затаенную черту – лютую ненависть к человеку в очках, что знаменовал для них интеллигентность, ученость, способность логически мыслить, – словом, ненависть к евреям. Затем профессор доктор Лутц Хекк, отец *Bos Primigenius Redivivus*, разъяснил собравшимся, что его зубры, как это ни странно, будут представлять опасность именно до тех пор, пока не изживут в себе признаки одомашнивания. Поскольку они родились в неволе, им понадобятся долгие годы, чтобы научиться бояться человека и спастись при виде его бегством. Сейчас они еще не понимают – хотя и в меньшей степени, нежели в начале своей «дикой» жизни, – почему их бросили на произвол судьбы в холодном лесу без крова и пищи, тогда как местность изобилует пастбищами с сочной травой и огородами с овощами. Уже не раз зубры крушили изгороди, врывались в конюшни и коровники, чтобы полакомиться фуражом, а заодно и покрыть подвернувшуюся им беззащитную телку. В их агрессивности по отношению к людям сквозит какая-то детская обида, заключил доктор Хекк, и случай с французом – наилучшее тому подтверждение.

Однако царем животного мира Роминтена считался в первую очередь олень, на которого охотились из засады или загонкой – единственными способами, возможными в здешних густых лесах; эта охота была для Главного Егеря рейха истинно религиозным культом и, одновременно, азартным промыслом оленятины. Культ охоты имел даже свое теологическое обоснование, чей изотерический аспект заключался в идентификации и оценке сброшенных во время линьки рогов, а, главное, в подсчете очков, которые специальное егерское жюри присваивало рогам убитого оленя только после того, как они в течение недели высушивались

в натопленной комнате.

Зима уже подходила к концу, и основной обязанностью Тиффожа стал теперь сбор рогов, сброшенных оленями во время линьки в чаще леса; задача эта усложнялась тем, что самые старые из животных расставались с рогами как раз в феврале-марте, тогда как более молодые носили их вплоть до начала лета. Кроме того, олени обычно сбрасывали части рогов поочередно, с интервалом в два-три дня, и найти обе половины можно было только после долгих поисков, а порознь они ровно ничего не стоили. Несмотря на все свое тщание, переросшее затем в настоящую страсть к охоте за рогами, Тиффож все равно не смог бы добиться полного успеха без помощи двух специально натасканных грифонов, безошибочно находивших рога в любом уголке леса; их привозили из соседнего округа в отсутствие Геринга, который терпеть не мог возле себя собак. Но самым поразительным было умение старшего егеря мгновенно определять принадлежность доставляемых ему рогов, будь то четвертая линька Теодора, седьмая Сержанта или десятая Посейдона. Найденные рога занимали место над прошлогодними на деревянном панно, отведенном для каждого оленя, и всю эту выставку в конце концов, на десятом или двенадцатом году, увенчивала голова с ветвистой короной.

Приезд рейхсмаршала намечался на послеполуденное время нынешнего дня, и перед «Ягерхофом» уже собралась команда рожечников, чтобы приветствовать своим оглушительным концертом хозяина по выходе из машины. Тиффож и старший егерь разложили на столе рога, собранные в лесу со времени последнего наезда Великого Охотника. Эти находки составляли самую сложную и интимную часть охотничьей Роминтенской хроники; их идентификация неизменно вызывала долгие оживленные дискуссии между лесниками и Главным Егерем. В частности, эти обсуждения позволяли проследить за этапами развития того или иного взрослого оленя и установить наилучшее время охоты на него к тому моменту, как он достигал полного расцвета и еще не начал, по выражению охотников, «приходить в упадок».

«Мерседес» с флажками въехал на главную аллею, ведущую к «Ягерхофу», и рожечники, встав во фрунт по команде, наладились было заиграть, как вдруг адъютант, бежавший впереди машины, бросился к ним с криком:

– Молчать! Лев не переносит рогов!

Настала изумленная тишина; все спрашивали себя, что это означает, – уж не присвоил ли себе Железный Человек новое прозвище «лев»? Но даже если и так, откуда это внезапное отвращение к столь любимой музыке?!

Царственный лимузин плавно подкатил к дому; все четыре дверцы распахнулись одновременно, и из задней выскользнуло длинное тело зверя, льва, настоящего льва, которого держал на сворке сам рейхсмаршал, сияющий от радости; его грузная неповоротливая фигура, затянута в белый мундир, выглядела совсем шарообразной.

– Буби, Буби, Буби! – нежно приговаривал он, пересекая двор вслед за громадной кошкой, возбужденно рвущейся вперед на пружинистых лапах. Так они и вошли в дом, а впереди них бежали перепуганные слуги.

После долгой суматохи для льва наконец было найдено временное пристанище; им оказалась личная ванная Геринга, куда тут же привезли тачку песка, который высыпали в железный поддон, чтобы Буби, по обычаю всех кошек, мог облегчаться в определенном месте. Потом рейхсмаршал вышел во двор, встал перед музыкантами по стойке «смирно» и прослушал приветственный сигнал на рожках, который они репетировали для него в течение многих недель. Он поблагодарил исполнителей, воздев кверху свой синий с золотом жезл, и удалился к себе в апартаменты, чтобы переодеться. Часом позже он уже совещался со старшим егерем, осматривая сброшенные рога, от состояния которых зависела программа охоты летнего и осеннего сезонов.

Вечером Тиффожу довелось стать свидетелем сцены, надолго запечатлевшейся в его памяти благодаря своей примитивно-яркой красочности. Геринг, облаченный в кокетливое бледно-голубое кимоно, сидел за столом перед половиной зажаренной кабаньей туши и размахивал громадным куском мяса с костью, точно Геркулес своей палицей. Лежавший рядом лев жадно следил за движениями руки хозяина, открывая – впрочем, без особой надежды – пасть, когда лакомый кусок оказывался поблизости. В конце концов, Великий Егерь сам вцепился зубами в кабанью ляжку так, что его лицо на несколько секунд целиком скрылось в этом чудовищном жареве. Затем кусок перешел ко льву, который в свою очередь вонзил в него мощные клыки. Таким образом, кабанья ляжка попеременно доставалась каждому из людоедов, любовно глядевших друг на друга.

Распределение оленей, назначенных к охоте гостей Геринга, согласно рангу каждого из них, представляло собой самое тяжкое испытание для старшего егеря и нередко вызывало жестокий разнос со стороны хозяина. Поводом к одному из таких скандалов стал фельдмаршал фон Браухич, а причина крылась в той жадной ревности, с которой Великий Охотник относился к Роминтенским оленям. Глава вермахта прибыл в имение глубокой ночью в сопровождении егеря из соседнего округа; тому удалось напасть на след крупного оленя, – вполне возможно, самого Буяна. Чуть позже Великий Охотник вышел из дома вместе со старшим егерем и направился к месту лежки двух старых оленей, чьи сброшенные рога, судя по их виду, обрекали владельцев на скорое заклание. Уже смеркалось, когда он вернулся в «Ягерхоф» с трофеями – старым и молодым оленями, чьи головы венчали великолепные короны, у старика – в виде огромного затейливого канделябра, у молодого – пониже и более плоская, похожая на трехпалую руку. Сияя от счастья, Главный Егерь удалился в свои апартаменты, чтобы переодеться к ужину. Часом позже с охоты вернулся на машине фон Браухич.

По традиции удачную охоту праздновали в полночь во внутреннем дворе «Ягерхофа», при свете смолистых факелов. После веселого ужина и обильных возлияний охотники столпились во дворе вокруг трех убитых, разложенных по росту оленей. Бросив на них взгляд, Главный Егерь склонился над самым крупным, Буяном, чья голова с короной из двадцати двух отростков весила не меньше девяти килограммов. Он провел пальцами по выступам и бороздкам рогов и пристально взгляделся в желтовато-белые отростки, резко отличавшиеся по цвету от красновато-коричневых стволов. Когда он выпрямился, его пухлое лицо было мрачнее тучи, а нижняя губа обиженно оттопырилась.

– Вот олень, которого я хотел бы подстрелить сам, – процедил он сквозь зубы.

Но дюжина рожечников, выстроенных полукругом, по знаку старшего егеря уже грянула сигнал «готовься к охоте». Обнажив голову, Геринг торжественно огласил имена охотников и убитых ими оленей. Потом рога завели протяжную хриловатую песнь в честь удачного дня, и Тиффож, укрывшись в тени деревянной аркады, мысленно перебирал воспоминания, разбуженные этой стонущей диковатой музыкой. Он перенесся во внутренний дворик школы Святого Христофора и вновь услышал глухой, безнадежный голос смерти; затем оказался в Нейи, где, сидя в своем старом «хочкисе», случайно уловил некий крик, который с тех пор никак не мог вспомнить, хотя тогда он пронзил его, как удар кинжала. В звуках охотничьих рогов нынешней ночи таилось что-то необъяснимо близкое его душе. И пусть даже родство это не выглядело прямым, естественным, все-таки они сообщили ему смутную уверенность в том, что когда-нибудь позже он еще услышит эту песнь смерти в ее чистом, первозданном виде, и не ради оленей прозвучит она на древней прусской земле.

– Это как раз тот самый олень, которого я хотел бы подстрелить сам! – угрожающе-

настойчиво повторил Геринг.

И, поскольку старший егерь оказался рядом, он схватил его за отвороты куртки и прошипел в лицо:

– Значит, вы подсовываете моим гостям самых отборных оленей, а на мою долю оставляете, что похуже?

– Но... господин Главный Егерь!.. – пролепетал старик. – Ведь фельдмаршал фон Браухич – высший чин вермахта!

– Идиот! Я вам толкую не о нем, а об оленях! – рявкнул Геринг и, выпустив из рук куртку егеря, оттолкнул его от себя. – Олени делятся на два сорта – рейхсмаршальские, то есть мои, и все остальные! И постарайтесь их больше не путать, не то берегитесь у меня!

Одним из самых благородных Роминтенских оленей был, несомненно, Канделябр, все этапы жизни которого чуть ли не каждый месяц фиксировались старшим егерем в особом журнале; этот красавец обещал стать королем оленьего поголовья в заповеднике. Однажды вечером, когда Геринг, закутанный в мохнатый тулуп, неуклюже пробирался по рыхлому снегу через лес, разыскивая следы волков, якобы объявившихся в этих местах, перед ним, в хаотическом переплетении заиндевелых ветвей, как призрак, появился Канделябр. Он стоял недвижно, словно черная статуя, гордо вскинув точеную голову с короной рогов из двадцати четырех отростков, расположенных идеально симметрично, подобно лучам снежинки. Олень был высок и строен, точно дерево, только дерево живое, дышащее, с сильной мускулистой шеей, чутко настороженными ушами и светлыми, как вода, глазами. Он стоял там, в чаще, и смотрел на троих людей. У Главного Егеря взволнованно задрожали жирные щеки.

– Это будет самый прекрасный выстрел, самая прекрасная добыча в моей жизни!

Он вскинул ружье и тщательно прицелился. Но старший егерь с решимостью, испугавшей Тиффожа, восстал против необузданного желания своего хозяина.

– Господин Главный Егерь! – воскликнул он намеренно громко, чтобы спугнуть животное. – Канделябр самый лучший производитель в Роминтене. Дайте ему погулять еще один сезон, ведь от него зависит будущее нашего заповедника!

– Да вы хоть понимаете, чем я рискую?! – разбушевался Геринг. – Он весит не меньше четырехсот фунтов и носит на голове двадцать фунтов рогов! Любой годовалый олень может одолеть его и вспороть ему брюхо. А вы знаете, что станет с его рогами после линьки?!

– Они будут еще красивее, господин маршал, еще благороднее, вы уж поверьте мне, я ведь тридцать лет здесь служу. А за его жизнь я отвечаю своей головой. Клянусь, с ним ничего не случится!

– Нет, дайте мне выстрелить! – упорствовал Геринг, грубо отпихивая старика.

Но, когда он вновь поднял ружье, Канделябр уже исчез, исчез совершенно бесшумно, как лесной дух, ни единым звуком не выдав направления своего бегства. Казалось, чаща расступилась и бесследно поглотила короля лесов. Ярость Главного Егеря не знала границы и еще неизвестно, как он обошелся бы со своим злосчастным помощником, если бы тот, руководствуясь былым печальным опытом, не поторопился исправить положение: он спешно повел хозяина за несколько километров от места происшествия, в потаенную ложбину, густо поросшую высоким папоротником и молодым орешником. Добраться туда было нелегко; Великий Егерь чертыхался вовсю, когда ему пришлось ползти на брюхе под сплошной завесой черных колючек, чтобы достигнуть спуска в глубокую циркообразную впадину. Но у него сперло дыхание от восторга, когда он, присев на старую кабанью кормушку, смог обозреть в бинокль открывшуюся перед ним низменность. Там оказалось добрых три десятка животных;

они сбились в тесную кучу возле крутого склона, и легкие облачка дыхания реяли в ледяном воздухе над их головами. Не успел еще прозвучать первый выстрел, как старая лань, явно предводительница стада, тревожно встрепенулась. Трое охотников стояли против ветра, и отвесный склон, вероятно, заглушал любой шум, ибо лань в панике бросилась прямо в их сторону. Главный Егерь лихорадочно палил направо и налево; гильзы градом сыпались к его ногам. Он всматривался, целился, стрелял еще и еще, смеясь и всхлипывая от счастья. Царственный олень, прильнувший к своей подруге, вдруг взвился на дыбы, прыгнул вперед и, сраженный пулей прямо в сердце, свалился на снег перед стадом. Только теперь животные, наконец, уразумели, что им отрезан путь к спасению. Они остановились и замерли, подняв головы и вслушиваясь, но тут очередной выстрел уложил косматого нескладного самца, и стадо, круто развернувшись, бросилось в глубь ложбины. Сверху вновь прогремели выстрелы, заглушившие звонкий топот копыт перепуганных зверей, тщетно пытавшихся вскарабкаться на крутой обледеневший склон. Крупный олень, увлеченный вниз тяжестью своих огромных рогов, сорвался с откоса и рухнул на олениху, переломав ей хребет. Обезумев от ужаса, трое молодых самцов завязали жестокую драку друг с другом, то вставая на дыбы, то отступая под бешеным натиском противника; их прерывистое мычание разносилось далеко по всей округе. Под конец они так прочно сцепились рогами, что не смогли освободиться и погибли все вместе.

Но вот бойня кончилась; одиннадцать оленей и четыре лани застыли на снегу в лужах дымящейся крови. В том, что под отстрел попали старые, уже не производившие потомства самки, большой беды не было: поскольку течка у них начиналась раньше, чем у молодых, они только понапрасну изнуряли самцов. Но Главный Егерь интересовался исключительно оленями; с сияющим лицом он грузно перебежал от одного к другому, победно потрясая орудием убийства. Он раздвигал еще теплые ляжки поверженных, охваченных предсмертной дрожью тел и погружал обе руки в узкую щель. Правая рука проворно шарилась внутри и отрывала, а левая извлекала из оболочки наружу перламутрово-розовые шарики плоти – яички оленя. Существует поверье, что убитого самца следует немедленно выхолостить, иначе его мясо приобретет неприятный запах и будет негодно для употребления.

Тиффож принял это нелепое, непристойное объяснение так, как оно того и заслуживало; что поделаешь, коли в этой непостижимой области – охоте на животных – любое действие освящено древними обычаями. Он не раз спрашивал себя, в чем кроется загадка оленя и его явно сверхпочетного места в животном царстве Восточной Пруссии; вот и сейчас он размышлял над этим, глядя, как Геринг, выпятив объемистый зад, склоняется над королевским оленем, которого собрался обесчестить. И словно решив тут же ответить на этот невысказанный вопрос, маршал выпрямился и властным жестом подозвал к себе спутников. Животное, распростертое у его ног, отличалось невиданно странной головой: рога были асимметричны до уродства. Правый имел классическую форму зрелого рога с десятью отростками, образующими на вершине род округлой чаши; левый же, атрофированный, истонченный, походил на коротенькую подгнившую ветку с едва заметным раздвоением на конце. Плюхнувшись на колени возле огромной туши, Геринг продемонстрировал одному из своих гостей еще один изъян оленя: асимметрии рогов соответствовала и асимметрия тестикулов, из коих один был нормальным, а второй – недоразвитым. Да, именно так, – правый, почти незаметный шарик перекачивался под толстой кожей, не даваясь пальцам человека. Старший егерь, державшийся в стороне вместе с Тиффожем, объяснил хозяину, что любая рана – от ружейной дроби, от колючей проволоки, от удара чужого рога – либо врожденный порок одного из тестикулов неизбежно влечет за собой атрофию или уродливое развитие рога С ДРУГОЙ СТОРОНЫ. Таким образом, рога оленя – не что иное, как вторая, свободная и торжествующая, ипостась

его половых признаков, но образ этот, повинаясь той классической инверсии, которая сопровождает любой символ, предельно насыщенный неким значением, также подвластен закону отражения.

Тот факт, что олени рога являли собою буквально фаллический символ, придавал охоте, искусству охоты, почти пугающий смысл. Загнать оленя, убить его, выхолостить, съесть его мясо, сорвать с него рога, чтобы похвалиться ими как трофеем, – таково было действие в пяти актах, творимое людоедом из Роминтена, верховным жрецом Фаллонесущего Божества. Но был еще и шестой акт, куда более потаенный и существенный, который Тиффожу предстояло открыть для себя несколькими месяцами позже.

В минуту раздражения старший егерь невольно выдал Тиффожу секрет: Геринг вовсе не был **БОЛЬШИМ** знатоком дичи; в Германии нетрудно сыскать добрую сотню охотников и лесничих, разбиравшихся в охоте неизмеримо лучше него. И, однако, справедливость требовала признать, что в одном отношении рейхсмаршал обладал непревзойденным даром: он, как никто, умел разбираться в **ПОМЕТЕ** дичи. Здесь он демонстрировал подлинный талант, бог знает откуда взявшийся, – разве что это было неотъемлемой частью его людоедской натуры.

Тиффож смог убедиться в копрологическом* призвании хозяина Роминтена тем весенним утром, когда им не подалось в лесу никакой стоящей дичи, но зато состояние участка позволяло хорошенько изучить звериный помет. Геринг, никогда не упускавший возможности усовершенствовать свой замечательный дар, забыл о стрельбе и погрузился в созерцание «росписей», оставленных животными под деревьями, на склонах пригорков и на берегах ручьев, у водопоев.

Он разъяснил, что олени-самцы кладут тяжелые крупные «катыши», далеко один от другого, тогда как у оленей катышки значительно мельче, очень темные, слизистые и неодинаковой величины. Зимой они бывают сухие и твердые, а по весне свежая трава и молодые побеги размягчают их до состояния полужидких лепешек. Затем лето превращает навоз в плотные золотистые столбики, вогнутые с одного конца и выпуклые с другого. В сентябре эти столбики не лежат поодиночке, а тянутся цепочкой. Испражнения отелившихся ланей часто бывают окрашены кровью. И, наконец, следует знать, что вечерние фекалии, после долгой дневной жвачки, гораздо тверже и суше утренних. Рейхсмаршал не брезговал поднимать и проверять нажимом пальцев плотность своих находок и даже подносил к носу, чтобы определить их давность, – со временем запах навоза становится заметно кислее.

Все, имеющее отношение к этой стороне жизни зверей – козы «орешки», одиночные зимой и слепившиеся в грозди летом, кабаньи – в форме пирамидок зимой и жидких лепешек летом, заячьи – сухие и остроконечные, косульи – темные и рассыпчатые, кроличьи – в виде крупных блестящих шариков, бекасы – желто-белые кружочки с зеленоватой каплей посередине, фазаний помет на нижних ветках деревьев и тетеревиный на еловых лапах, – казалось рейхсмаршалу одинаково интересным и достойным подробнейших комментариев.

Тиффож невольно вспомнил Нестора и его ночные многословные сеансы дефекации, глядя, как его тучный хозяин, бряцая многочисленными наградами, перебегают от дерева к дереву, от куста к кусту с радостными возгласами, точно ребенок, отыскивающий в саду, пасхальным утром, шоколадные яйца. И хотя Тиффож давно уже привык к тому, что судьба подчиняется его заветным желаниям, он лишний раз возблагодарил ее теперь, когда превратности войны и плена сделали из него слугу и тайного ученика второго лица в рейхе, тонкого знатока фаллологии и копрологии.

*От греч. *Kypros* (кал, испражнения).

Летом в заповедник пожаловал необычный гость – гражданский низкорослый человечек, нервный и чрезмерно говорливый, с огромным носом, увенчанным массивными очками с толстыми стеклами. Это был профессор Отто Эссиг, чья докторская диссертация «Символическая механика в свете истории древней и современной Германии», недавно защищенная в Геттингенском университете, была замечена самим Адольфом Розенбергом. Первый философ рейха добился для своего протеже приглашения в Роминтен, которое Геринг, на дух не переносивший интеллектуалов, дал с величайшим отвращением. Тиффожу только раз удалось повидать гостя во время его весьма краткого пребывания в Роминтене; кроме того, он не понял и половины речей гостя, – уж больно быстро и по-ученому тот изъяснялся, а жаль: этот нелепый, крайне неуклюжий человечек затрагивал именно такие темы, которые его крайне интересовали.

Так, однажды вечером ему довелось услышать, как профессор перечислял различные формулы измерения оленьих рогов – формулу Надлера, пражскую формулу, немецкую формулу, мадридскую формулу, – которыми он пользовался для оценки представленных ему рогов; он поразительно четко и умело сравнивал между собой их многочисленные достоинства. Тиффож отметил, что формула Надлера, самая простая и классическая, включает в себя четырнадцать пунктов, а именно:

- среднюю длину обоих стволов (коэффициент 0,5)
- среднюю длину обоих нижних отростков (коэффициент 0,25)
- среднюю длину окружности основания обоих рогов
- окружность средней части правого рога (коэффициент 1)
- окружность верхушки правого рога (коэффициент 1)
- окружность средней части левого рога (коэффициент 1)
- окружность верхушки левого рога (коэффициент 1)
- число отростков (коэффициент 1)
- вес рогов (коэффициент 2)
- размах рогов (от 0 до 3 очков)
- цвет рогов (от 0 до 2 очков)
- красота «бисеринок» (от 0 до 2 очков)
- красота верхней короны (от 0 до 10 очков)
- состояние кончиков рогов (от 0 до 2 очков).

В пражской формуле содержались, кроме того, пункты, касающиеся средней длины верхней части стволов и красоты второго ряда отростков (от 0 до 2 очков). Что же касается немецкой формулы, она не учитывала этот последний параметр, но зато содержала общую оценку по шкале от 0 до 3.

Постигнув, наконец, фаллоносную сущность оленьих рогов, Тиффож восхищался этой арифметикой, вносившей элемент точности в столь потаенную и трудно определимую материю. Каждый охотник вынул из нагрудного кармана мягкий метр, с которым эти знатоки никогда не расставались, и вся компания принялась обмеривать рога, передавая их друг другу, громогласно приводя цифры и вспоминая потрясающие размеры того или иного оленя, ставшего сенсацией на ежегодной международной выставке в Будапеште, – например, Факела, завоевавшего двести десять очков по формуле Надлера, или Озириса, который, получив двести сорок три очка по той же формуле, все-таки уступил первенство, хоть и ненамного и далеко не бесспорно, оленю, убитому в Словении, чья массивная голова с самой величественной короной, какую только видели за всю историю охоты, была оценена в двести сорок восемь с половиной очков.

Наконец, присутствующие замолчали, чтобы перевести дыхание, и профессор Эссиг, воспользовавшись этой паузой, попытался изложить им свое видение философии оленьих рогов.

Для начала он подчеркнул, что во всех нынешних трех формулах обмера присутствуют чисто качественные элементы оценки, касающиеся, в частности, цвета, красоты «бисеринок» или чаши, а в пражской формуле – еще и красоты второго ряда отростков (а не их длины!). И это, утверждал он, именно та часть бытия, что неподвластна цифрам, та сторона конкретной реальности, которую не зафиксируешь никакими обмерами. И даже поставив себя на место самого оленя, молено констатировать, что значение рогов намного превосходит их боевую, оборонительную функцию. В самом деле, громоздкая корона взрослого оленя, если взглянуть на нее с практической точки зрения, только мешает ему передвигаться. Однако при том, что солидный вес и размеры делают эту корону малоэффективным оружием, случаи, когда старый олень дает поранить себя молодому, чрезвычайно редки. Гораздо большую опасность для него представляют косули, чьи самцы не отступают перед своим крупным противником и способны нанести ему незаживающие раны. Совсем по-другому ведут себя молодые олени, столкнувшись со старыми самцами: здесь-то и вступает в дело основная функция величественных, благородных рогов, которые внушают первогодкам боязливое почтение. Таким образом, практическая бесполезность короны старого оленя стократно компенсируется ее высоким духовным смыслом. И профессор, отдав поклон в сторону Геринга, провел параллель между оленьим рогом и маршальским жезлом, который, будучи весьма слабым оружием в бою, тем не менее, делает своего обладателя физически неприкосновенным, ибо внушает трепет и почтение окружающим. Вот почему, заключил он, гениталии, первичные половые признаки, природа стыдливо скрыла в самом потаенном месте тела, и они как бы притягивают оленя к земле, тогда как корона его рогов, с ее законченным изяществом и устремленностью к небу, сообщает животному величественный ореол, внушающий уважение даже самым молодым и горячим из его соперников.

Коротышка-профессор и сам внес немала горячности в свою лекцию; к сожалению, он не почувствовал холодности, с которой его выслушали. Он не знал, что это общество встречает ненавистью любого, кто говорит и мыслит так пламенно, а не приземленно, как они. Далее речь зашла о весе животных, в частности, о соотношении живого веса и убойного, то есть кусков оленины, назначенных для еды. У Эссига и по этому поводу было свое мнение, и он поспешил огласить формулу, выведенную им для данного случая. Для того чтобы определить убойный вес, исходя из живого, следовало, как он разъяснил, взять $\frac{4}{7}$ живого веса, прибавить половину того же веса и разделить полученную сумму на два. Это и будет убойный вес животного. Геринг попросил повторить формулу, затем вынул карандаш в золотом корпусе и произвел быстрый подсчет на пачке сигарет.

– Значит, так, господин профессор, – заключил он, – если я вешу живьем сто двадцать семь килограммов, то на прилавке составлю всего шестьдесят восемь. Уж и не знаю, как это считать – унижительным или утешительным!

И он благодушно рассмеялся, хлопая себя по ляжкам. Гости последовали его примеру, но в их смехе сквозила доля обиды за маршала, а, стало быть, неодобрения в адрес профессора. Эссиг уловил этот нюанс и решил загладить свой промах. Поскольку беседа коснулась лосей, он счел уместным поведать присутствующим забавную историю, случившуюся в Швеции, где король Густав V, невзирая на свои восемьдесят два года, неизменно возглавлял лосиную охоту. Гостей тайком предупреждали, что Его Величество слаб глазами, и, что, очутившись поблизости от него во время стрельбы, следует погромче крикнуть: «Я не лось!» Один из почетных гостей так и поступил, но, к величайшему его ужасу, король прицелился и выстрелил прямо в него. К счастью, он отделался легкой раной и по окончании охоты ему удалось, лежа на носилках, объясниться с королем. Тот принес свои извинения. «Но, сир, – удивленно спросил пострадавший, – когда я увидел Ваше Величество, я ведь крикнул, что я не лось!

И мне показалось, что Ваше Величество выстрелили в меня именно после этого!» Король на мгновение задумался, потом объяснил: «Видите ли, друг мой, вы должны меня извинить, я уже не так хорошо слышу. Да, конечно, до меня донесся ваш крик, но мне показалось, что кричат: «Я лось!» Ну и, конечно, я выстрелил!»

На сей раз промах рассказчика был поистине ужасен. Геринг благоговейно чтит память своей первой жены Карин, шведки по национальности, умершей в 1931 году и погребенной под его роскошным дворцом Каринхолл, который, в сущности, являлся ее мавзолеем. С тех пор все, имевшее отношение к Швеции, считалось священным, и анекдот недоростка-профессора, высмеивающий Густава V, был встречен мертвой тишиной. Главный Егерь встал и удалился в свои апартаменты, даже не попрощавшись с Эссыгом. Они так больше и не увиделись, ибо на следующее утро Герингу предстояло совещание в Растенбурге, и за два часа до его отъезда профессора отправили в лес Эрберсгадена, на восточную границу заповедника, в сопровождении егеря, которому хозяин строго наказал подсунуть гостю самого старого, самого большого и завалившего оленя во всем Роминтене.

Никто так и не смог выяснить до конца все обстоятельства трагического происшествия, которое тем злосчастным утром словно удар грома поразило маленькую лесную колонию. Заря уже окрасила в розовое верхушки елей, когда охотники достигли того места, где должен был находиться «заваливший» олень, выслеженный накануне егерем и предназначенный для коротышки-профессора. Олень оказался там, где ему и полагалось. Более того, заря благоклонно осветила край опушки, как раз по линии стрельбы охотников, засевших на вышке у края леса. Егерь, гордый и довольный тем, что так быстро и удачно выполнил свою миссию, знаком показал «клиенту», что можно стрелять. Профессор вскинул ружье, но целился так долго, что егерь испугался: сейчас олень сбежит, и начинай все сначала! Наконец, раздался выстрел. Олень шумно рухнул наземь, но тут же вскочил с резвостью, начисто исключавшей серьезную рану. И в самом деле: приглядевшись, охотники убедились, что заряд дробы вдребезги разнес единственный – да притом порченный, гнилой – рог, принадлежавший оленю. Лишенный своего «украшения», жалкий, как отощавший осел, и еще не пришедший в себя после падения, бедолага-олень топтался на месте, тупо созерцая вышку.

– Быстрее, господин профессор, стреляйте же, пока он здесь! – умолял егерь, сгорая от стыда за своего клиента.

И началась непрерывная беспорядочная стрельба, взбудоражившая всю округу. В воздух взлетали комья перегнойа вперемешку с палой листвой, отколотые сучья с треском валились наземь, дробь решетила стволы деревьев. Один только безрогий олень казался неуязвимым для этой стрельбы. Неторопливой рысцой он достиг края опушки и скрылся в кустарнике под звуки истерической канонады. Егерь поднялся на ноги, ежась от холода.

– После такого шума, – сказал он мрачно, – с охотой на сегодня кончено. Придется возвращаться с пустыми руками. Нынче вечером нам положена «перцовая клизма», – добавил он с натянутой улыбкой, стараясь скрыть от гостя бушевающую его ярость.

Это был широко распространенный в Восточной Пруссии шуточный охотничий ритуал, состоявший в том, что жертве загоняли в задний проход, через ружейный ствол, специально не чистившийся после охоты, смесь шнапса с белым перцем.

Егерь нетерпеливо шагал по мокрой траве в ожидании профессора, непонятно почему застрявшего на вышке. Он только пожал плечами, когда тот закричал: «Я его вижу, я вижу оленя! Вон там, среди буков, по крайней мере в пятистах метрах отсюда. Выстрелю-ка я в него пулей!»

Прогремел последний выстрел. За ним настала мертвая тишь, тут же, впрочем, нарушенная звоном бинокля, задетого ружейным прикладом профессора.

– А ну-ка, идите сюда, егерь! Мне кажется, я его убил! – воскликнул Эссиг.

Как ни нелепо звучала эта похвальба, но егерь, вздохнув, из вежливости поднялся на вышку. И действительно, в бинокль можно было разглядеть животное, лежавшее в буковой роще, на просеке, тянувшейся до самого горизонта. Расстояние было огромное; самый меткий стрелок не мог бы поразить животное с такой дистанции. И, однако, оно лежало там, только шкура его казалась намного темнее, чем у рыжевато-го оленя, в которого профессор понапрасну выпустил весь свой запас дробы.

Они отправились в буковую рощу пешком. Олень, казалось, мирно спал, уронив на вытянутые передние ноги голову, увенчанную великолепной короной цвета старой слоновой кости. Его мощное, мускулистое, словно вырезанное из черного дерева тело было еще теплым. Пуля поразила его в самое сердце.

Егерь чуть не упал в обморок от ужаса. С первого же взгляда он признал в убитом Канделябра, короля Роминтенских оленей, которого всем местным лесничим было строго наказано беречь и лелеять. И вот теперь этот мозгляк в очках, забыв о приличиях, исполнял вокруг поверженного властелина лесов дикий индейский танец! Однако порядок есть порядок: любой гость Главного Егеря являлся почетным лицом, и, как бы ни провинился Эссиг, он не должен был даже заподозрить всей тяжести своего преступления. Поэтому, когда он, лопаясь от гордости, вернулся в «Ягерхоф», его торжественно поздравили с удачей, хотя присутствующие улыбались через силу, и даже шампанское, которое лилось рекой, не могло избавить их от страха предстоящей расправы. Тем временем Эссиг не умолкал ни на минуту, повторяя кстати и некстати:

– Видите ли, стрельба дробью – не моя специальность. Я привык стрелять пулями!

Профессора крайне огорчило то обстоятельство, что Главный Егерь отсутствует и не может разделить с ним его триумф. Геринг должен был вернуться назавтра, скорее всего, поздно ночью, но Эссига уверили, что хозяин приедет не раньше, чем через неделю. Всю ночь напролет профессору готовили его трофей, и наутро он был отправлен вместе с ним в город, слегка огорошенный такой спешкой, но счастливый донельзя; так он и отбыл, нежно прижимая к груди самую тяжелую и самую величественную роговую корону – двести сорок очков по Надлеру! – за всю историю Роминтена.

Геринг вернулся далеко за полночь. На следующее утро, в десять часов, он сидел за столом, где заячий паштет, гусиное заливное, маринованная кабанятина и пирог с мясом косули в полном ладу соседствовали с копченой лососиной, балтийской сельдью и форелью в желе; в самый разгар завтрака явился старший егерь при полном параде; его лицо омрачала мужественная сдержанная скорбь. При виде хозяина, облаченного в пестрый парчовый халат и домашние туфли из меха выдры, восседающего перед роскошным пиршественным столом, он на мгновение утратил свою молодцеватую выправку. Геринг тотчас атаковал его расспросами:

– Нынче утром я узнал хорошую новость: наш коротышка-профессор, оказывается, вчера убрался отсюда? Это вы его так ловко спровадили? Подстрелил ли он оленя?

– Да, господин главный егерь.

– Какого-нибудь уroda, больного и завалящего, как я приказывал?

– Нет, господин главный егерь. Господин Отто Эссиг из Геттингенского университета застрелил Канделябра.

На оглушительный грохот разбитой посуды, стаканов и блюд, сброшенных со стола вместе со скатертью, прибежал испуганный дворецкий. Геринг сидел, зажмурившись и вытянув перед собой, как слепой, обе пухлые руки, отягощенные перстнями и цепочками.

– Иоахим! – хрипло прошептал он. – Чашу, быстро!

Дворецкий бегом кинулся в соседнюю комнату и вынес оттуда огромную ониксовую чашу,

которую и поставил перед рейхсмаршалом. Чаша была наполнена драгоценными камнями красивой огранки, и Геринг жадно погрузил в нее руки. Не открывая глаз, он принялся медленно перебирать гранаты, опалы, аквамарины и хризопразы, яшму и янтарь: некогда его убедили, что таким образом электричество, накопившееся в организме, переходит на камни, нервы успокаиваются и к человеку возвращается ясность мышления. Геринг как старый морфинист постоянно боролся с искушением поддаться своему пороку и часто прибегал к этому средству, имевшему хотя бы то преимущество, что было вполне безобидным, а заодно утоляло его жажду роскоши.

– Принесите сюда рога! – приказал он.

– Профессор забрал голову с собой. Он... он не пожелал оставлять ее здесь! – пролепетал егерь.

Геринг открыл наконец глаза и с хитрецей взглянул на старика. – Вы правильно поступили. Для всех вас лучше, что я их не увидел. Бог мой, Канделябр! Король Роминтенских оленей! Но как этому недоноску удалось подстрелить его?! – вновь загремел он.

Пришлось старшему егерю подробно рассказать невероятную историю охоты профессора Эссига, описав неудачный расстрел старого, позорно обезроженного оленя, оторопь егеря, роковую пулю, выпущенную «под занавес», что называется, в белый свет, с огромного расстояния, и совершенно необъяснимое появление Канделябра в восточном округе заповедника. В этом фантастическом стечении обстоятельств явно усматривался перст судьбы, и Геринг смолк, подавленный и даже слегка обеспокоенный столь таинственным поворотом событий.

На исходе лета 1942 года в Роминтене только и было разговоров, что о предстоящей охоте на зайцев, которую Эрих Кох, гауляйтер Восточной Пруссии, собирался устроить близ мазурских озер, в трех округах, которые Главный Егерь уступил ему для личной охоты. Для этого пригласили три тысячи загонщиков, из них пятьсот верховых. Все растенбургские штабные, а также местное начальство собирались принять участие в этом увеселении, финалом коего должна была стать «коронация короля охоты».

Однажды вечером старший егерь вернулся из Тракенена, ведя в поводу за своей двуколкой рослого вороного мерина, мосластого и лохматого, с широким, прямо-таки женским крупом.

– Это для вас, – сказал он Тиффожу. – Я уже давно собираюсь приучить вас к седлу. А большая охота гауляйтера – прекрасный повод начать. Ну и пришлось же мне добегать, пока я нашел подходящую конягу по вашему весу! Ему четыре года, он полукровка с примесью арденнской крови, но посмотрите на его горбоносую морду и черную блестящую шерсть: это верный признак арабской породы, несмотря на то, что он такой верзила. Он весит тысячу двести фунтов и его рост не меньше метра восьмидесяти в холке. В старину таких запрягали в возки и кареты. Мчатся, как на крыльях, он, конечно, не сможет, но вполне свезет на себе троих таких, как вы. Я его испробовал. Он не отступает перед препятствиями, смело входит что в реку, что в заросли. Слегка упрям, но уж если возьмет галоп, то его не остановишь, – прет, как танк.

Так вот Тиффож и вступил во владение конем, и к порывам его одинокого сердца теперь примешивалось смутное предчувствие великих деяний, которые им предстоит свершить вдвоем. Отныне каждое утро он отправлялся за километр от дома, к старому Прессмару, бывшему императорскому каретнику, владевшему, помимо дома, довольно большой конюшней, кузницей и крытым манежем. Там-то и содержался его великан-конь. Под руководством Прессмара, донельзя счастливого возможностью проявить свои педагогические таланты, свойственные любому лошадинику, он обучался уходу за конем и верховой езде. Радость, которую сообщала ему

близость этого огромного, простого и теплого тела, которое он обтирал пучком соломы, чистил скребницей и щеткой, сперва напомнила ему счастливые часы, проведенные в голубятне на Рейне. Но очень скоро он понял, что это было чисто поверхностное сходство, основанное на недоразумении. В действительности, чистя и натирая бока своему коню, он вновь ощущал то же смиренное, но сладостное удовлетворение, какое некогда получал от чистки ботинок и сапог, но только вознесенное на небывалую высоту. Ибо, если голуби Рейна были сперва его победами, а потом любимыми детьми, то теперь, заботясь о своей лошади, он тем самым заботился о себе. И каким же потрясающим откровением явилось для него это примирение с собою, это влечение к собственному телу, эта пока еще смутная нежность к человеку по имени Абель Тиффож, которого он прозревал в образе великана-мерина из Тракенена. Однажды утром на лошадь упал солнечный луч, и Тиффож увидел голубоватые блики в виде концентрических кругов, заигравшие на черной, как смоль, спине. Итак, значит, его «арап» еще и с синевой?! – что ж, вот и сыскалось для него подходящее имя – Синяя Борода.

Уроки верховой езды Прессмара поначалу были вроде бы и просты, но коварны. Взнуздывая лошадь, он не надевал на нее стремяна, и Тиффожу приходилось вскидывать тело в седло прямо с земли, одним прыжком. Затем в манеже начинался сеанс езды мелкой тряской рысью; по словам каретника, только этот аллюр – при условии, что урок длится достаточно долго, – способен выработать у всадника-новичка верную посадку; правда, после этого всадник едва сползал с коня, вконец разбитый, измученный и с горящей огнем промежностью.

Сперва Прессмар наблюдал за своим учеником, не двигаясь с места, глядя на него почти враждебно и цедя сквозь зубы редкие, весьма нелцеприятные замечания. Всадник сидел на лошади, напряженно скрючившись, сильно подавшись вперед и отведя назад ноги, – вот-вот вывалится из седла, и поделом ему! Следовало, напротив, откинуть торс назад, подобрать ягодицы и вытянуть ноги вперед. Тиффож, со своей стороны, мысленно обзывал Прессмара мерзкой каракатицей, раком-отшельником, навеки замурованным в тесном и мрачном мире конюшни и не способным даже из него извлечь для себя радость. Но ему пришлось изменить свое мнение в тот день, когда, беседуя с мастером в шорном чулане, он услышал его вдохновенный гимн лошадям и убедился, что этот призрак былых времен умеет описывать их в самых пылких, самых точных и ярких выражениях. Усевшись на высокий табурет, скрестив жилистые ноги в сапогах, отбивая носком в воздухе некий четкий ритм и посверкивая мотоклем в глазнице, каретник Вильгельма II начал свою речь с основополагающего принципа: поскольку лошадь и всадник являются живыми существами, никакая логика, никакой метод не подменяют собой то скрытое расположение, которое должно слить их воедино и которое подразумевает наличие у всадника главного достоинства, называемого *ВЕРХОВЫМ ТАКТОМ*.

Затем, после долгой паузы, долженствующей придать вес двум последним словам, он разразился пространством монологом по поводу выездки, который Тиффож выслушал с жадным интересом, ибо в нем трактовалась проблема веса всадника и его влияния на равновесие лошади, – иными словами, именно проблема ее «несущего» предназначения.

– Выездка, – начал Прессмар, – есть занятие куда более прекрасное и тонкое, нежели принято думать. Ее основная задача – восстановить у лошади врожденный аллюр и равновесие, нарушенное весом всадника.

Сравните, к примеру, динамику лошади и оленя. Вы увидите, что вся сила оленя заключена в его плечах и шее. Вся же сила лошади, напротив, таится в ее крупе. И в самом деле: плечи лошади плоски и неразвиты, а у оленя худой и вислый круп. Вот почему основное оружие защиты для лошади – ее задние ноги, которыми она лягается, а для оленя – рога, которыми он бьется с противником. Сражаясь, олень рвется вперед, такова его природа; лошадь же движется назад, вскидывая круп и лягаясь. Я бы сказал, что лошадь – это круп с передними,

приданными ему органами.

Так что же происходит, когда всадник садится на лошадь? Присмотритесь-ка к его позиции: он располагается гораздо ближе к плечам коня, чем к его крупу. В результате две трети его веса приходится именно на плечевую часть лошади, которая, как я уже сказал, весьма легка и слаба. Перегруженные таким образом плечи судорожно напрягаются, и эта контрактура охватывает и шею, и голову, и рот лошади, особенно, рот, чья мягкость, гибкость, чувствительность яснее всего говорят о достоинствах всадника. И вот под всадником оказывается зажатое, разбалансированное животное, которое с большим трудом подчиняется узде.

Тут-то и начинается искусство выездки. Оно состоит в том, чтобы научить лошадь переносить, насколько возможно, вес всадника назад, на круп, чтобы высвободить плечи. А для этого она должна присесть на задние ноги, как бы осадить назад на месте, иными словами, уподобиться кенгуру – хотя мне и не нравится это сравнение, – у которого основной вес тела приходится на нижние конечности, при том, что передние остаются свободными. С помощью различных упражнений выездка учит лошадь забывать о чужом, довлеющем над нею весе всадника, возвращая ей природную осанку и доводя искусственную выучку до идеального состояния свободы. Выездка оправдывает эту аномалию – лошадь под человеком, – устанавливая новую систему распределения сил и помогая животному освоиться с нею.

Итак, верховая езда есть искусство управлять мускульной силой лошади, главным образом, крупом, в котором заключена ее мощь. Ляжки должны слушаться малейшего нажима человеческой пятки, а ягодичные части – отличаться той мягкой податливостью, которая и придает им способность к быстрому движению, от чего и зависит все остальное.

И старый каретник, встав с табурета, изогнувшись и скосив глаза на собственный зад, костлявый и поджарый донельзя, раскорячился, будто обхватил ногами бока воображаемой лошади, и загарцевал по комнате, рассекая хлыстом воздух.

Какими бы абстрактными и необоснованными ни казались рассуждения Прессмара о различиях между оленем и лошадью, они все же находили свое подтверждение во время разведывательных вылазок в лес, которые Тиффож осуществлял теперь верхом на Синей Бороде. За отсутствием собак, по-прежнему отвергаемых Герингом, их функции взял на себя конь, после долгой выучки, наконец, понявший, что от него требуется; он вынюхивал и разыскивал оленьи следы с рвением настоящей гончей: казалось, этим двум, столь непохожим созданиям судьба и впрямь назначила смертельную схватку.

Однажды вечером, когда Тиффож стоял в золотистом полумраке конюшни, где витал сладковатый запах навоза, медля уйти и глядя на блестящие конские крупы, вздымающиеся над перегородками стойл, он вдруг увидел, как хвост Синей Бороды вздыбился весь целиком, от самого основания, и, поднявшись чуть вбок, обнажил анус – маленький, твердый, выпуклый, плотно сомкнутый и стянутый к центру, наподобие кошелька с завязками. Внезапно «кошелек» пришел в движение, раскрылся с проворством розового бутона в ускоренной съемке, вывернулся наизнанку, точно перчатка, и, обнажив влажный коралловый венчик, выпустил наружу шарики навоза, восхитительно новенькие, круглые и блестящие, которые один за другим, не разбившись, попадали на соломенную подстилку. Столь высокое совершенство акта дефекации явилось для Тиффожа убедительным подтверждением теорий Прессмара. Вся сущность лошади заключена, разумеется, в ее крупе, и тот превращает ее в Гения Дефекации, в Бога Ануса и Омеги; итак, вот он, этот волшебный ключ!

Тем же вечером ему, наконец, раскрылась суть древнего магического воздействия лошади на человека и всей символичности пары, какую составляют человек и конь вместе. Сидя на гигантском, щедро-плодоносном крупе коня, всадник с неодолимым упорством пытается прильнуть к нему своими вялыми бесплодными ягодицами как можно теснее, в смутной надежде

на то, что сияющая мощь Бога Ануса каким-нибудь чудом облагородит его собственные испражнения. Но надежда эта напрасна: они так и остаются случайными, неоднородными, то слишком сухими, то жидкими и слизистыми, а главное, неизменно зловонными. Только полное слияние лошадиного и человеческого крупов позволило бы всаднику обзавестись теми органами, что обеспечивают лошади ее безупречную дефекацию. И такое существо есть, это *КЕНТАВР* – человек, безраздельно слившийся с Богом Анусом, ставший плотью единой с лошадью и одаренный плодами их счастливого союза – душистыми золотыми яблоками.

Что же до главенствующей роли лошади в охоте на оленя, то смысл ее становился впол-: не очевиден: это было преследование Бога-Фаллоносца Богом Анусом, гонка и предание смерти Альфы Омегой. И Тиффож еще и еще раз восхищался той удивительной инверсией, которая в этой смертельной игре поменяла местами двух животных, превратив робкую толстозадую лошадь в неумолимого убийцу, а короля лесов, с его символом мужественности – царственной короной – в загнанную жертву, тщетно молящую о милосердии.

В сентябре крупное наступление на Восточном фронте, имевшее целью взятие Сталинграда, заставило Эриха Коха отложить предстоящую охоту. Потом слишком теплую осень сменили ранние заморозки и пошел первый снег, обещавший в очередной раз мирную сонную жизнь в зимнем покое. Но тут решено было провести охоту в начале декабря, и приготовления к ней тотчас возобновились. Однако теперь их пришлось прервать из-за Геринга, главного, почетного гостя праздника, – именно в декабре ему предстояло выехать в Италию, дабы вдохнуть новую порцию энтузиазма в эту растерявшую боевой дух нацию. В конечном счете большая охота на зайцев гауляйтера Эриха Коха все-таки состоялась – 30 января.

Уже 25-го числа Тиффож вместе с первыми из пятисот конных загонщиков выехал на место охоты. Пунктом сбора назначили городок Ари, что находился в сотне километров к югу от «Ягерхофа», в самом сердце мазурских озер. Дорога туда заняла у них три дня. Путников снабдили ордерами на постой у местных жителей, имевших конюшни. Тиффож, одетый с головы до ног в новенькую егерскую форму, наслаждался неожиданной ситуацией, позволявшей ему реквизировать жилье у гражданских лиц, точно в оккупированной стране. Да и впрямь ли немцы все еще были завоевателями, а французы – побежденными? Он начинал сомневаться в этом, когда шел через город, звонко стуча сапогами по подмерзшим тротуарам, мимо бесконечных очередей, где закутанные в бесформенные лохмотья женщины покорно ожидали открытия магазинов с пустыми витринами. За столом его обслуживали с торопливым подобострастием, а он с удовольствием важничал, окружая тайной свое происхождение, которое его валлийский акцент: и очевидная близость к Железному Человеку делали непостижимым для окружающих.

Но главным источником новой, победоносно-молодой, кипящей в нем силы стал его брат-великан – конь Синяя Борода, что жил и двигался под ним, между его ляжками, высоко вознося его над землей и людьми. Иногда во время долгой прогулки, приводившей их в самый центр Мазурии, Тиффож откидывался назад, ложился на круп коня и глядел в чистое, бледное, качавшееся над головой небо, ощущая под лопатками упругие, мягко ходящие взад-вперед мускулы конских ягодиц. Или же, наоборот, он склонялся вперед, к холке и, обхватив руками шею Синей Бороды, прикидал щекой к лоснящейся, шелковистой гриве. Как-то раз, пересекая базарную площадь в одной деревушке, конь внезапно остановился в самой гуще толпы. Он выгнул спину, приподняв Тиффожа повыше, и тот услышал звук извергающейся на мостовую жидкости. Забрызганные навозной жижей люди, кто посмеиваясь, кто ворча, поспешно отбегали прочь, а француз, невозмутимо сидевший в седле и окутанный сладкова-

тыми, струившимися снизу испарениями, наслаждался пьянящей иллюзией того, что это он сам, и никто другой, по-королевски величаво облеγχается на глазах у своих подданных.

Роль, которую ему отвели в самой охоте, оказалась куда более скромной. Пешие загонщики расчищали подлесок в районе предполагаемой охоты. Соответственно конным оставили поля и пустоши. Вся намеченная территория занимала около четырехсот гектаров земель с многочисленными озерами. Планировался не традиционный загон, где пользуются флажками, веревками и сетями, но так называемый «заячий круг», когда загонщики и охотники, выходя на дистанцию по двое, каждые три минуты, расходятся, один налево, другой направо, чтобы затем встретиться в назначенном пункте. Постепенно они образуют огромный полукруг, который под конец смыкается в тесное кольцо. По данному сигналу охотники, стоящие почти бок о бок, перестают стрелять вовнутрь круга, чтобы не поранить товарищей, и разворачиваются в противоположную сторону.

Из всех видов бойни, на которых присутствовал Тиффож, эта была самой жестокой и самой монотонной. Вспугнутые зайцы стрелой выскакивали из укрытия, но тут же сталкивались с другими, мчавшимися им навстречу. Обезумев от страха, они зигзагами металась по полю, и красота их обычной траектории бега, с ее хитрыми петляниями и двойным следом, выливалась в паническую суету, усугубляемую непрерывной стрельбой со всех сторон. Последним впечатлением этого дня стал для Тиффожа обширный пушистый бело-рыжий ковер из тысячи двухсот недвижных заячьих тел и пузатый Геринг с высоко воздетым маршальским жезлом в правой руке, в хвастливой позе коронованного короля охоты с двумя сотнями жертв в активе, который, стоя в центре этого гигантского побоища, гордо позировал своему официальному фотографу.

На следующее утро все немецкие газеты вышли с сообщением в черной траурной рамке о капитуляции под Сталинградом маршала фон Паулюса с его двадцатью четырьмя генералами и сотней тысяч оставшихся в живых солдат Шестой армии.

Пользуясь тем, что в путевом листе не были строго обозначены сроки возвращения в Роминтен, Тиффож раздумал ехать прямо, через Лик и Трейбург, а направился к северу кружным путем, чтобы получше узнать Мазурию – самый суровый и самый богатый историческими событиями край Восточной Пруссии. Казалось, над этой заброшенной песчаной равниной, где глубокие овраги, поросшие худосочным ольховником, чередовались с ледниковыми валунами, под которыми последние славяне, боровшиеся с немецким нашествием, погребали своих мертвецов, по-прежнему довлеет проклятие сражений последнего тысячелетия, обогравших кровью здешние места. Земля, видевшая роковой бой старого вождя славян Стардо против тевтонских рыцарей, победу Гинденбурга над солдатами Ранненкампа, битву при Танненберге, где Ягеллон наголову разбил Меченосцев и Храмовников, была теперь огромным могильником с руинами укреплений и истлевшими знаменами всех времен.

Проехав по узкому клину, разделявшему озера Спирдинга и Таркло, Тиффож направился к деревне Дроссельвальде. Его влекло вперед властное и радостное предчувствие того, что в конце этого пути ему уготована неведомая, но крайне важная цель. После Сталинградской битвы тяжкое дыхание гигантской машины, творящей историю, вновь начало сотрясать почву под ногами, и Тиффож, чувствуя себя захваченным высшей силой, которая подчиняла и направляла его, с мрачным ликованием следовал ее призыву. Он миновал селение с поразительно нелепым названием *Schlangenfliess* – «Змеиное руно» – и... испытал настоящее потрясение.

С вершины холма из моренных глыб, казавшегося гигантским на этой плоской равнине, взметнулся к небу массивный строгий силуэт замка Кальтенборн. Со стороны «Змеиного ру-

на» Тиффожу был виден только южный фасад, что высился на самом краю отвесного утеса. Крепостная стена обвивала весь холм, повторяя его рельеф и замыкаясь, подобно бортам на носу корабля, на монументальной башне из бурого камня; ее верхняя галерея со щитами-бойницами висела в пустоте, опираясь лишь на голые ребра контрфорсов. Из-за этой глухой неприступной стены, равномерно увенчанной башенками, выглядывало великое множество колоколен, сторожевых вышек, каминных труб, флюгеров, часовенок и шпилей, которым обилие флагов и штандартов придавало торжественно-праздничный вид. Тиффожа посетила горькая и волнующая уверенность в том, что за этими высокими стенами скрывается строго размеренная жизнь, тем более насыщенная, что она не могла не быть затворнической.

Подхлестнув коня, Тиффож направил его к серпантину, ведущему в замок. На вершине холма ему открылся северный фасад, выходивший на просторную эспланаду, засыпанную снегом, который сгребал старик в ушанке. Узкие амбразуры, чередой идущие вдоль стены, отнюдь не оживляли эту мрачную цитадель, тем более, что две круглые башни с остроконечными крышами подавляли своей массой низкий, защищенный решетками портал. Да, то была суровая, неприветливая крепость в багрово-черных тонах, построенная для сражений людьми, безразличными к радости и красоте. Однако в отличие от монотонной, унылой грубости внешних стен внутреннее пространство отличалось той ликующе-пестрой оживленностью, которая сразу померещилась Тиффожу при первом взгляде на древнюю крепость. Крыши в блестящей разноцветной черепице низко склонялись над террасами, где поблескивали вполне современные пулеметы; скопища красных знамен с черной свастикой звучно хлопали под ледяным ветром, и в его завывание иногда проскальзывали то отзвук трубы, то эхо песни.

Обменявшись несколькими словами с дворником, Тиффож попросил его присмотреть за Синей Бородой и, привязав коня к дереву, пошел бродить вдоль крепостной стены, поскольку не мог войти внутрь замка; ему хотелось осмотреть главную башню, чьи мощные контрфорсы еще издали привлекли его внимание. Прогулка оказалась не из легких, ибо узенькая тропинка у подножия стены то и дело исчезала под выступами скалы или под каменной кладкой, так что приходилось карабкаться вверх или прыгать вниз, огибая неожиданное препятствие. Тиффож и сам не мог бы точно определить цель этой прогулки; его томило смутное ожидание высшей благосклонности, подтверждения, санкции – словом, любого знака судьбы, который неоспоримо свидетельствовал бы о его, Тиффожа, праве находиться в Кальтенборне. Он нашел то, что искал, именно у подножия главной башни, но для этого ему пришлось сначала одолеть глубокий ров, сплошь поросший колючей ежевикой, калиной, бузиной и камнеломкой, а потом сражаться с узловатыми плетями дикого винограда, ниспадавшими со стены, которые на каждом шагу преграждали ему путь. Мало того, – добравшись до основания контрфорса, Тиффож должен был разгрести руками мокрый талый снег. Но эти усилия не пропали даром: в конце концов, Кальтенборн все-таки подал ему знак, открыв взгляду бронзового Атланта, державшего на плечах свод выбитой в стене ниши. Согнувшись в три погибели, яростно оскалившись от напряжения под чудовищной тяжестью, черный гигант сидел на корточках, с высоко поднятыми коленями, со склоненной на грудь головой; его мощные ладони прочно впечатались в нависшие глыбы. Этот бронзовый Титан – явно детище напыщенно-академического стиля эпохи последнего немецкого кайзера – не блистал особыми художественными достоинствами. Да и поставили его под эту грузную башню, которую он якобы держал на плечах, со всею крепостью в придачу, наверняка совсем недавно. Однако погребение скульптуры под снегом и нависшими ветвями и открытие ее Тиффожем ясно свидетельствовали о том, что этот дух Кальтенборна неспроста очутился здесь, в толще стены, и открылся его взору.

Спустившись с холма в «Змеиное руно», Тиффож вошел в кабачок «Три меча» и там, за кружкой пива и беседой с хозяином, получил все нужные сведения о замке и его владельце.

Предметом гордости знатных восточно-пруссских фамилий было доказанное происхождение от тевтонских рыцарей, которым император Фридрих II и папа Григорий IX даровали эту языческую провинцию с наказом обратить ее в христианство. Но генеалогические изыскания, коим благоговейно предавалась каждая юнкерская семья, наталкивались на весьма пикантное препятствие: рыцари-Тевтонцы были монахами и потому, дав обет безбрачия, не могли иметь потомства, по крайней мере, теоретически. Амбиции же графов Кальтенборнских заходили еще дальше: они претендовали на родство с рыцарями-Меченосцами, еще более стародавними и отважными воинами, нежели Тевтонцы. Объединившись в 1197 году в религиозную общину под началом Альберта Апельдомского, члена Бременского университета, Меченосцы затем образовали военный орден по велению епископа Рижского Альберта фон Буксхуудена, который приказал им носить на белых плащах в качестве эмблемы два меча из красного сукна, слева у сердца. Рыцари Христа и Двух Мечей в Ливонии (так они именовались полностью) еще за тридцать лет до появления в Пруссии Тевтонцев успели завоевать Ливонию, Курляндию и Эстонию. Но затем, ослабленные непрерывными сражениями с литовцами и русскими, они предложили Тевтонцам заключить союз, каковой был одобрен папой в 1236 году и освящен в Витербе, в присутствии Великого Магистра Тевтонцев Германна фон Зальца. И, хотя Меченосцы сохранили автономию военного ордена и оставили за собой управление Ливонией, им пришлось отныне тесно сосуществовать с Тевтонцами, даром что они по-прежнему втайне считали своих предков куда более благородными и славными рыцарями, чем их союзников. Герб замка Кальтенборн с классической простотой повторял эту историю двух братских орденов. И в самом деле: на нем были изображены «три меча в белом поле, водруженных остриями вверх под серебряной решеткою». Три красных меча на белом фоне напоминали о двух мечах – эмблеме Меченосцев, – к коим присоединялся третий, Тевтонский. Черная лента, выходящая по верху щита, добавляла к белому и красному третий цвет прусского флага. Что же до трех мечей – которые и послужили для вывески его заведения, добавил не без хитринки кабатчик, – то их можно и сейчас увидеть в замке; огромные, больше натуральной величины, воздетые остриями к небу, они красуются на зубцах парапета самой большой террасы, венчающей башню Атланта, откуда открывается вид на восток.

Сам замок, один из наиболее величественных в Восточной Пруссии, в начале века подвергся угрозе разрушения, невзирая на то, что графы Кальтенборнские упорно держались за него, кое-как латая бреши, пробитые в бортах этого каменного корабля неумолимым временем. Спасение пришло со стороны Вильгельма II, очень любившего эти края, где проходила королевская охота. В 1900 году кайзер приказал отреставрировать замок Верхний Кенигсбург, близ Селеста, бросив тем самым вызов извечному западному врагу; вот почему он счел, что и Кальтенборн, другая крепость, вполне достойная его царствования, может стать восточным форпостом, защитой от нападений славян. Восстановительные работы завершились только перед самой войной 1914 года; археологи осуждали многочисленные излишества, которые превратили замок, как ранее и Верхний Кенигсбург, в гигантский, помпезный и прискорбно новенький макет. Правда, тевтонскую архитектуру ретивым реставраторам испортить не так-то легко, ибо странствующие рыцари, ее создавшие, отразили в этом стиле свои воспоминания о путешествиях и мистические видения, в результате чего постройки того периода нередко сочетают в себе элементы и сарацинской, и венецианской, и немецкой культур.

Обновленная крепость Кальтенборн не могла не привлечь к себе внимание одного из шефов Штурмовых отрядов, Иоахима Гаупта, который с 1933 года занимался созданием военизированных школ, задуманных по образцу знаменитого имперского военного училища для детей офицеров в Плоне; в них должна была воспитываться элита будущего III рейха. «Наполы» (национал-политические учебные заведения) располагались, как правило, в реквизированных

замках или монастырях. Они множились от года к году, несмотря на то, что Гаупт вместе со своими штурмовиками попал в опалу после «ночи длинных ножей» 30 июня 1934 года. Начинание Гаупта было подхвачено и продолжено одним из высших чинов СС обергруппенфюрером Августом Хайсмейером, который набрал людей Гиммлера для руководства сорока созданными школами. Кальтенборнская напола номинально состояла под руководством генерала графа фон Кальтенборна, последнего представителя рода; его апартаменты занимали одно крыло замка. В действительности же этот старик, которого приверженность старинным прусским традициям оставляла совершенно равнодушным к соблазнам нового порядка III рейха, никак не соглашался поверить, что Бавария и Австрия способны принести Пруссии хоть что-то мало-мальски хорошее; он занимался историческими и генеалогическими изысканиями и нимало не заботился об эффективном управлении школой. Из уважения к прошлым заслугам его оставили жить в замке, присвоив почетное звание «командор наполы», а практическое руководство школой осуществлял штурмбаннфюрер СС. Штефан Рауфайзен, державший в ежовых рукавицах и три десятка военных-преподавателей и четыреста детей, обитателей Кальтенборна.

Вернувшись в Роминтен, Тиффож как-то случайно упомянул в присутствии старшего егеря крепость Кальтенборн, что произвела на него такое сильное впечатление. В разговоре он узнал, что генерал фон Кальтенборн тоже участвовал в большой охоте гауляйтера Коха; увы, он так и не смог припомнить его, несмотря на подробное описание графа старшим егерем, и расстроился, словно это сулило ему несчастье. Он по-прежнему усердно выполнял все свои обязанности, но сердцем отныне пребывал там, в Мазурии, вновь и вновь мысленно проходя вдоль высоких стен замка, за которыми кипела бодрая, хоть и затворническая, жизнь, звучали новые песни.

Ранняя, опьяняюще теплая весна уже сменила зиму, и воздух был напоен ее нежными ароматами, когда Тиффож отправился, как делал это каждый месяц, в ратушу Гольдапа, чтобы обновить свой «аусвайс». Он чувствовал себя юным и слабым, точно заново народившаяся травка, усеянная маргаритками; добрым, словно теплый ветерок, ласкавший сережки берез и орешника и сметающий с еловых лап шафранную пыльцу. Его прошибла слеза умиления при виде воробушка, купавшегося в дорожной пыли, и двух мальчишек-школьников, что со смехом толкались ранцами на спинах, – точь-в-точь улитки со своими домиками-раковинами! Казалось, будто птичий и детский щебет, взлетающий в небеса, звучит эхом и в суровых стенах мэрии, где нынче царило непривычное оживление. Бронзовые вешалки в вестибюле притягивали взгляд пестрыми грудками капоров, накидок, шалей и рукавиц; внизу, на полу, их дополняли огромные кучи сабо, калош и сапожек детского размера, как будто все Красные Шапочки восточнопрусских лесов сбежались сюда, в мэрию, на свой праздник. Тиффож поднялся по широкой лестнице, ведущей в зал бракосочетаний, привлеченный ароматом восхитительной весенней зелени, к которому примешивались запахи перца и свежего хлеба, и остановился перед монументальной дверью резного дуба: да, это было здесь. Именно отсюда неся птичий щебет голосов и приятный, обволакивающий запах. Он повернул тяжелую медную ручку и вошел.

То, что он увидел, заставило его вздрогнуть от изумления и опереться плечом на косяк: огромный зал был битком набит маленькими, совершенно голыми девчушками, и это фантастическое зрелище странным образом оживляло мрачные стены в дубовых панелях. Некоторые из девочек были тощи, как голодные котята, другие – розовые и пухленькие – походили на молочных свинок; виднелись среди них и девочки-подростки, толстушки, почти достигшие зрелости; их волосы, заплетенные в косы, свернутые жгутом или, наоборот, распу-

ценные и свободно ниспадающие на хрупкие лопатки, служили единственным одеянием для этих миниатюрных, еще не сформировавшихся, гладких, как кусочек мыла, фигурок. Появление Тиффожа осталось незамеченным, и он тихонько прикрыл за собою дверь, чтобы вернуть атмосфере ту изначальную плотность, какая свойственна лишь герметически замкнутому пространству. Прикрыв глаза, он жадно, полной грудью втягивал в себя сладковатый аромат, что дразнил его с самого утра и, наконец, привел сюда, к этой едва народившейся непорочности; его мощные руки невольно потянулись вперед, словно желая собрать, похитить для своего хозяина всю эту теплую, нежную, до сумасшествия желанную плоть – последнее достояние Восточной Пруссии.

– Что вы здесь делаете? Немедленно покиньте помещение!

Затянутая в белоснежный сестринский халат женщина со строгим правильным лицом германской Родины-матери пронзила Тиффожа яростным взглядом. Он отступил и, приоткрыв дверь, собрался было обратиться в бегство.

– И вообще, кто вас сюда впустил?

– Этот запах... – пролепетал Тиффож. – Я и не знал, что маленькие девочки пахнут ландышем...

Чиновник, поставивший печать на его «аусвайс», разъяснил причину этого умильного сборища. Каждый год, 19 апреля, все дети, достигшие десятилетнего возраста, обязаны пройти медицинский осмотр перед тем, как их, запишут в Гитлерюгенд.

– Ну а мальчиков, – добавил он, – проверяют напротив, в здании городского театра.

– Но почему именно 19 апреля? – допытывался Тиффож.

Чиновник изумленно поглядел на него.

– Разве вам неизвестно, что 20 апреля – день рождения нашего фюрера?! Так вот, каждый год немецкая нация преподносит ему в дар целое поколение десятилетних детей! – напыщенно объявил он, воздев палец к огромному цветному портрету Адольфа Гитлера, сурово взиравшего на них со стены.

Когда Тиффож пустился в обратный путь, к Роминтену, Великий Егерь, со своими охотничьими утками и оленьими рогами, копрологическими и фаллическими изысканиями, безнадежно упал в его глазах, преобразившись в маленького, совсем нестрашного людоедика из бабушкиных сказок. Его полностью затмил другой – людоед из Растенбурга, тот, что требовал от своих подданных ко дню рождения их самое драгоценное сокровище – пятьсот тысяч девочек и пятьсот тысяч мальчиков десяти лет, в жертвенном наряде, иными словами, полностью обнаженных, – которых он собирался превратить в пушечное мясо.

Со времени сталинградского поражения и речи Геббельса во Дворце Спорта, призвавшей население поголовно участвовать в тотальной войне, атмосфера в Роминтене заметно сгустилась. Непрерывные призывы в армию совсем опустошили заповедник. Его обитатели все меньше и меньше думали об охотничьих и кулинарных удовольствиях и все чаще – о жестокой схватке, чье багровое зарево уже вставало на востоке и от которой теперь никто не надеялся спастись. Воздушные налеты начинали всерьез беспокоить людей, и Геринг, решив, что его бронепоезд – более надежная защита, чем охотничий домик, не имевший даже бомбоубежища, стал все реже и реже наведываться в Роминтен.

Однажды старший егерь сообщил Тиффожу, что его обязали сократить обслуживающий персонал до минимума и он должен отослать его в трудовой лагерь Морхоф. Но если у Тиффожа есть собственные предложения по поводу трудоустройства, то близость ко второму лицу рейха, несомненно, поможет ему решить эту проблему. Тиффож вспомнил январскую

охоту, в которой участвовал генерал граф фон Кальтенборн, свое короткое посещение крепости на обратном пути и спросил, нельзя ли ему поработать в наполе шофером или возчиком. Старик-егерь крайне удивился тому, что его подопечный, обычно немногословный и покорный, так быстро и четко изложил свою просьбу.

– Учитывая последние призывы в армию, – сказал он, – вряд ли руководство наполь откажется от такого работника, как вы, рекомендованного самим рейхсмаршалом да еще не подлежащего мобилизации! Я позвоню туда и договорюсь насчет вас.

Спустя одиннадцать дней Тиффожу выдали путевой лист с назначением в Кальтенборн, и он покинул Роминтен верхом на Синей Бороде, приписанном к наполье, как и его хозяин.

V
ЛЮДОЕД ИЗ КАЛЬТЕНБОРНА

Дитя, я пленился твоей красотой:
Неволей иль волей, а будешь ты мой!
*Гете. «Лесной царь»**

*Перевод В. А. Жуковского.

Скучившись в живописном беспорядке вокруг замка, чья красно-бурая громада заслоняла горизонт, несколько жилых домов и других строений образовывали нечто вроде миниатюрного городка на четырех гектарах территории, обнесенной крепостными стенами. Одна из двух сторожевых башен у въездных ворот служила складом для инструментов, вторая – жилищем привратника и его жены. За воротами, хаотично разбросанные вдоль дороги, ведущей к парадному двору, стояли крытый манеж с конюшнями, два гимнастических зала, медпункт, гараж и авторемонтная мастерская, лодочный ангар, контора эконома, четыре теннисных корта, две жилые виллы, каждая с палисадником, футбольное и баскетбольное поля, театр, кинозал, который легко превращался в боксерский ринг, и узкая полоса земли, уставленная барьерами для бега с препятствиями. Вблизи замка располагались псарня, где одиннадцать доберманов встречали свирепым ревом любого, кто проходил мимо их клетки, небольшой арсенал с оружием и амуницией, трансформаторная будка и тюрьма. И с каждой стены и крыши, с каждого знамени и флага говорили, кричали, зывали бесчисленные лозунги и афоризмы, казалось, решившие подменить собою человеческую способность к свободному мышлению. «Хвала всему, что закаляет!» – провозглашалось над дверью первого спортзала, а второй отвечал ему цитатой из Ницше: «Не изгоняй героя из сердца своего!». Гете и Гитлер дружно приветствовали входящих в театр следующими максимами: «Позор не тому, кто упал, а тому, кто не поднялся!» (Гете) и «Свои права не кланчат, их вырывают в жестокой борьбе!» (Гитлер).

Одурманенный этой навязчивой лозунговой перекличкой Тиффож поначалу слабо реагировал на встречи с живыми обитателями напoлы. Он был принят унтерштурмфюрером, эдакой канцелярской крысой, который ознакомился с его солдатской книжкой и путевым листом, а потом велел заполнить бесконечно длинную анкету, где пришлось отвечать на десятки вопросов о родителях и прочих предках до седьмого колена и на столько же – о самом себе. Затем писарь передал Тиффожа в руки унтершарфюрера; этот указал ему стойло для Синей Бороды и повел в назначенную для жилья комнатуху. Они пересекли оружейный зал и, одолев бесчисленные лестницы – чем выше, тем более крутые и узкие, – добрались наконец до коридора, освещаемого лишь крошечными слуховыми оконцами, куда выходили двери каморок, заселенных унтер-офицерским составом СС, обслугой напoлы.

– Поскольку вас рекомендовал сам рейхсмаршал, господин Командор предупрежден о вашем прибытии; он вас вызовет, – сказал его провожатый, добавив с иронической усмешкой, – если только не забудет. . . Во всяком случае, Начальник ждет вас у себя.

Начальником здесь звали штурмбаннфюрера Штефана Рауфайзена. У него был высокий продолговатый череп, срезанный подбородок и тесно посаженные молочно-голубые глазки – словом, идеальная арийская внешность, прославляемая теоретиками превосходства германской расы. Когда француза ввели в директорский кабинет, расположенный на первом этаже замка, Рауфайзен был погружен в изучение досье и соблаговолил взглянуть на новоприбывшего только после того, как дочитал последнюю страницу. Сощурившись, он подозрительно оглядел Тиффожа с ног до головы и отчеканил три фразы:

– Вы поступаете в распоряжение гауптшарфюрера Йохама, нашего интенданта. Вы обязаны отдавать честь всем офицерам СС начиная с упомянутого гауптшарфюрера. Вы свободны.

К собственному удивлению, Тиффож почти не проявлял внешнего интереса к детям, которые, в общем-то, и были душой этих многочисленных зданий с болтливыми стенами и лаконичным начальством. Он безошибочно чувствовал их присутствие по колебаниям атмосферы замка, которая к тому же материализовалась то в пару боксерских перчаток, брошенных на стул, то в висящую на столбе пилотку, то в забытый на дворе футбольный мяч и кучу красных спортивных курток, как попало валявшихся на зеленеющем газоне. Но его не оставляла подспудная уверенность в том, что между ним и детьми стоит непреодолимый барьер, и,

скорее всего, пройдет очень много времени, пока он рухнет. Преградой этой был, в первую очередь эсэсовский персонал школы, ревностно охранявший учеников и обеспечивавший весь ход жизни этого заведения. Тиффож поначалу не без труда разбирался в тонкостях субординации, ему пришлось выучить наизусть табель о рангах «Черного корпуса» и запомнить все эти значки и эмблемы, позволявшие различать звания офицеров с их одинаково мрачными мундирами.

Так, он обязан был знать, что, в отличие от гладких нашивок на воротнике простого эсэсовца, штурмовик (солдат 1-го класса) носит нашивки с одним галуном, ротенфюрер (капрал) – с двумя галунами, унтершарфюрер (старший капрал) – с одной звездочкой, шар-фюрер (сержант) – с одним галуном и одной звездочкой, обершарфюрер (старший сержант) – с двумя звездочками, гауптшарфюрер (адъютант) – с двумя звездочками и одним галуном, унтерштурмфюрер (младший лейтенант) – с тремя звездочками, оберштурмфюрер (лейтенант) – с тремя звездочками и одним галуном, гауптштурмфюрер (капитан) – с тремя звездочками и двумя галунами, штурмбаннфюрер (майор) – с четырьмя звездочками, оберштурмбаннфюрер (подполковник) – с четырьмя звездочками и одним галуном, штандартенфюрер (полковник) – с одним дубовым листком, оберфюрер (генерал) – с двумя дубовыми листками, бригаденфюрер (бригадный генерал) – с двумя дубовыми листками и одной звездочкой, группенфюрер (дивизионный генерал) – с тремя дубовыми листками и, наконец, обергруппенфюрер (генерал армии) – с тремя дубовыми листками и одной звездочкой. И только один рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер носил эмблему в виде венка из дубовых листьев, окружающих дубовый листок.

Погоны офицеров, отличавшиеся, правда, меньшим разнообразием, тем не менее, еще чаще служили поводом для прискорбной путаницы. Вплоть до звания гауптштурмфюрера они украшались серебряной нитью в шесть рядов. От гауптштурмфюрера до штандартенфюрера эти нити сплетались по трое в простую косичку, тогда как более высоким чинам полагалась уже двойная.

Старший интендант гауптшарфюрер Йохам, багроволицый толстяк, безраздельно царил на складе, битком набитом мешками с сушеными овощами, тушенкой, окороками, голландскими сырами и ведрами патоки; тут же были навалены стопки одеял, груды всяческой одежды и целые рулоны перевязочного материала. В общем, это было огромное скопище продуктов и вещей со сложным, смешанным запахом, которое в эти суровые, полные лишений времена напоминало сказочную пещеру Али-Бабы. Поскольку два единственных исправных автомобиля находились в распоряжении Командора и Начальника школы, Тиффожу для его продуктовых рейдов предоставили четырехколесную повозку и пару лошадей; в случае необходимости борта повозки наращивались с помощью деревянных щитов или обручей, на которые натягивался брезент.

В общем, Тиффожу досталась та же самая работа, что и в Морхофе, только с более неприятными подручными средствами; однако здесь она была проникнута гораздо более глубоким смыслом. Он ни на минуту не забывал о том, что трудится на благо детей, и ощущал эту роль отца-кормильца – *pater nutritor* – как весьма пикантную оборотную сторону своего людоедского призвания. Всякий раз, сгружая с воза и внося продукты в пахучее помещение склада с узкими, забранными решеткой окнами, он с удовольствием думал о том, что все эти пласты сала, мешки муки и кубы масла, которые он таскает на руках или взваливает на плечи, скоро превратятся, посредством тайной алхимии, в песни, жесты, плоть и испражнения детей. Таким образом, работа его становилась «носящей» совсем в ином, новом смысле – конечно, не напрямую сообразованном с его чаяниями, но, в ожидании лучших времен, отнюдь не низко-презренной.

Четыреста учеников, называемых юнгштурмовцами, были разделены на четыре центурии, каждая под командованием своего центуриона, которого опекал один из взрослых воспитателей, офицер или унтер-офицер СС. Центурия делилась на три колонны, а эти, в свою очередь, на группы по десять человек. Колонной командовал цугфюрер, группой – группенфюрер. За каждой группой был закреплен определенный стол в столовой и отдельный дортуар.

«Отныне, – провозгласил Гитлер в своей речи на партийном съезде 1935 года, – каждый молодой немец будет расти и воспитываться от школы к школе. Его возьмут под наблюдение с самого юного возраста и так проведут по жизни вплоть до пенсии. Никто не сможет сказать, что в его существовании был период, когда его предоставили самому себе!» Какое-то время из-за нехватки квалифицированного персонала дети моложе десяти лет не были охвачены этой системой воспитания. Однако по достижении указанного возраста девочки вступали в Молодежный союз девушек (Jungmadelbund), а мальчики – в Молодежный мужской союз (Jungwolk). В четырнадцатилетнем возрасте они становились членами, соответственно, Немецкого союза девушек (Bund Deutscher Madel) и Гитлерюгенда. Там они состояли до восемнадцати лет, а затем поступали в распоряжение Службы занятости и, далее, Службы вермахта.

Юнгштурмовцы в наполах подлежали еще более суровой системе воспитания. Они поступали в школу двенадцати лет и заканчивали ее в восемнадцать, получив, с одной стороны, традиционное общее образование и, с другой, строгую военную выучку с сухопутным, морским или воздушным уклоном по их выбору; можно было также пойти служить в войска СС. Более половины юнгштурмовцев стремились попасть именно туда. Набор осуществлялся двумя путями – по собственному желанию детей и по спискам коммунальных школ. Первой разновидности с лихвой хватило бы, чтобы заполнить все наполы, число которых не превышало сорока, но тогда состав учеников был бы в подавляющем большинстве буржуазным – сыновья высокопоставленных военных, партийных функционеров и прочее, – тогда как популистская философия рейха требовала широкого представительства народных слоев общества. Следовало добиваться нужной статистики, набирая необходимое количество детей ремесленников, рабочих и крестьян. С этой целью сельским учителям надлежало представлять выездной комиссии всех детей, соответствующих, по их мнению, критериям кандидата в наполю. Таких детей собирали в центры, где подвергали сперва строжайшей расовой и физической селекции (так, все носящие очки отвергались a priori), а затем физическому и интеллектуальному тестированию. Главным качеством, категорически требуемым в инструкциях по набору, было так называемое *Draufgangertum*, – иными словами, ребенок должен был безоглядно подчиняться приказу и стремиться выполнить его, полностью отринув инстинкт самосохранения. Вот почему на испытаниях кандидатам приходилось выполнять поистине смертельные трюки: бросаться в воду с высоты десяти метров, даже не умея плавать; преодолевать препятствия с замаскированными ловушками – рвом, рогаткой, ямой с водой и т.д.; прыгать со второго этажа на одеяло, растянутое внизу старшими; или, еще того хуже, за несколько секунд вырыть индивидуальный окопчик и, скорчившись в нем, пропустить над собой танки, идущие сплошной стеной, гусеница к гусенице. Так же строго осуществлялась и селекция по интеллектуальному развитию кандидатов, однако война серьезно подорвала систему общего образования в наполах. Непрерывная мобилизация совсем истощила преподавательские коллективы, полностью состоявшие из офицеров СС, и Тиффож, по приезде в Кальтенборн, оказался свидетелем разительного переворота в гуманитарном образовании учеников, а именно: места военных преподавателей заняли гражданские. Увы, благожелательность и компетентность этих, уже вышедших на пенсию старых людей, спешно набранных в школу, дабы заткнуть бреши, образовавшиеся с очередным призывом в армию, никак не могли завоевать им авторитет в глазах учеников этой цитадели, ошестившейся пулеметами и разукрашенной смертоубийственными

призывами. Пожилые учителя с их предметами – например, латынью или греческим, которые набирающая обороты война сделала ненужными, смехотворными, – жалкие в своих ветхих гражданских одеждах, неспособные войти в маршевый ритм жизни наполе, растерянные, сбитые с толку, уходили с уроков под свист и улюлюканье учеников. Один за другим они покидали школу, и только семинарист-протестант из Кенигсберга, младший пастор Шнейдерхан, абсолютно нечувствительный к хулиганским выходкам своих питомцев, упорно держал оборону и в конце концов прочно утвердился в этой клетке с дикими зверенышами.

День начинался в шесть часов сорок пять минут оглушительным электрическим звонком, яростно сотрясавшим стены тесных дортуаров. Тотчас же коридоры и лестницы заполнялись красными куртками учеников, шумно несущихся к выходу на парадный двор для утренней пробежки. Душевая, куда центурии допускались по очереди, с пятиминутным интервалом, клубилась паром и бурлила, точно адская кухня. К восьми часам ученики, уже в форме, выстраивались на линейку к подъему флага. По окончании церемонии стройные ряды мгновенно распадались, и мальчишки стрелой неслись в столовую, где каждого ждали кружка с эрзац-кофе и два куска сухого хлеба. Затем начиналась сложная перегруппировка: центурии распределялись по классам для лекций или семинаров, по гимнастическим залам и участкам для спортивных игр; некоторые тренировались за пределами крепости и на берегах близлежащих озер, где их обучали верховой езде, гребле, обращению с оружием и стрельбе; другие работали в мастерских по ремонту инвентаря.

Тиффож внимательно следил за ходом этой огромной сложной машины. Поскольку в школе царила железная дисциплина, а ученики прошли драконовский отбор, машина эта функционировала идеально, без единого сбоя, под звуки труб, флейт и барабанов, а, главное, под размеренный грохот сапог. Но более всего поражали Тиффожа энергичные боевые марши, с упоением исполняемые ломкими, срывающимися с дисканта на бас детскими голосами; их оглушительная переключка не смолкала ни на минуту, разносясь по крепости и за ее пределами. И Тиффож спрашивал себя, суждено ли ему когда-нибудь найти свое место в этой мясорубке для детей, где их тела и сердца были подчинены единой цели, единому порыву. Само совершенное устройство данной системы, с ее дьявольской силой и всепоглощающей энергией, не позволяло ему надеяться на успех, однако Тиффож знал, что ни один механизм не застрахован от попадания какой-нибудь ничтожной песчинки, и что судьба работает на него.

Все то время, что Тиффож, волею обстоятельств, оставался на обочине этой бодрой, размеренной, проходящей под барабанную дробь жизни, он находил себе прибежище возле Heimgautter – Родины-матери в лице фрау Эмилии Нетта, которая обитала в одном из домиков у стен замка и заведовала школьным медпунктом. Она овдовела еще в 1940 году; двое из ее сыновей сражались на русском фронте, третий, младший, учился здесь же, в наполе. Скорее по сложившейся в Кальтенборне традиции, нежели из-за своей должности, фрау Нетта неизменно радушно встречала обитателей замка что в медпункте, что у себя дома, и для прихода к ней вовсе не требовалось разрешения или специального повода. Она оказывала помощь всем и каждому, и ее дверь не закрывалась ни на минуту. Тиффож быстро привык к тесной, жарко натопленной, идеально чистой кухоньке, благоухающей воском и красной капустой. Он пробирался в укромный уголок и подолгу сидел там не шевелясь, молча вслушиваясь в течение времени, размеченное тиканьем часов с гирями и бульканьем варева на плите. Иногда вихрем врывался кто-нибудь из мальчишек и, сбивчиво изложив свое дело – несварение желудка, разорванная одежда, срочная необходимость написать письмо, несправедливое наказание, – убежал, обласканный и утешенный. Фрау Нетта была единственной женщиной в крепости и пользовалась там непререкаемым авторитетом, который простирался не только на

юное поколение Кальтенборна. Офицеры, и старшие и младшие, беспрекословно подчинялись ее распоряжениям, и все были уверены, что даже сам Начальник школы не осмелился бы перечить ей. Во всяком случае, интендант Йохам ни разу не сделал французу замечания по поводу его визитов в домик фрау Нетта.

Тиффож часто размышлял о том, каково место женщины – особенно такой женщины – в этой сугубо мужской цитадели, где царил воинственный дух, начисто отрицавший любое проявление человеческой доброты и любви. Фрау Нетта, как и ее муж, была славянского происхождения. Маленький рост и темные, обычно повязанные ярким платком волосы, которые должны были бы компрометировать ее в глазах ревнителей чистоты арийской расы, напротив, лишь выделяли и красили ее, еще больше подчеркивая то особое место, что она занимала в Кальтенборне. Она ни разу ничем не дала понять Тиффожу, одобряет ли идеологию наполеона. Однако все ее поведение свидетельствовало о том, что она привержена этой идеологии душой и телом. Но при всем том казалось, будто фрау Нетта, благодаря своему отличному знанию растений и животных, лесов и озер (она неизменно возглавляла сбор грибов и ягод), а также врожденному таланту утешительницы и целительницы, который она демонстрировала в медпункте, заботится лишь о вполне конкретных, земных делах. Прошло довольно много времени, пока Тиффож, наконец, не начал кое-что понимать; это случилось, когда фрау Нетта получила уведомление о том, что один из ее сыновей пропал без вести при взятии Харькова войсками генерала Конева. По печальному совпадению, Тиффож как раз оказался рядом с нею, когда она прочла страшное письмо, полное напыщенных утешений и глупых славословий героям войны. Фрау Нетта ничем не выдала своего горя. Просто ее движения чуточку замедлились, взгляд на секунду остановился. Заметив, как настойчиво Тиффож смотрит на нее, она через силу прошептала – почти беззвучно, монотонно, словно давно заученную молитву:

– Жизнь и смерть – это одно и то же. Кто боится смерти или ненавидит ее, боится или ненавидит жизнь. Природа – неиссякаемый источник жизни, но она же – гигантское кладбище, конец всех надежд. Франци, наверное, сейчас уже мертв. Или умрет в лагере для военнопленных. Но не нужно скорбеть. Женщина, которая носила в чреве свое дитя, должна уметь носить и траур по нему.

Ее прервала целая ватага юнгштурмовцев, которые, крича наперебой, шумно ворвались в комнату. И фрау Нетта, так и не проявив своих чувств, сказала и сделала все, чего ждали от нее дети.

Три комнаты на втором этаже правого крыла замка служили апартаментами штурмбанн-фюрера доктора профессора Отто Блаттхена, откомандированного в Кальтенборн обществом «Аненербе»*. Черная остроконечная бородка, бархатно-черные глаза, над которыми круто взлетали угольно-черные, точно тушью выведенные брови, и голый темный череп делали этого Мефистофеля в белом халате достойным представителем племени лабораторных эсэсовцев. Его карьера совершила блистательный взлет год назад, когда профессор Август Хирт, заведующий кафедрой анатомии Страсбургского университета, поручил ему, в рамках деятельности «Аненербе», особо деликатную миссию. Руководители рейха решили, что евреи и большевики являются источником всех бед на земле, и было бы интересно установить общность их происхождения, так сказать, наличие еврейско-большевистской расы, определив ее характер и отличительные признаки. Итак, Блаттхена послали с этим поручением в лагерь для русских военнопленных, дабы выбрать там образцы для изучения, соединяющие в себе еврейство с комиссарством, – задача по меньшей мере странная, если учесть, что вермахт получил

*Общество в Германии, основанное на культе предков и расовой чистоты.

категорический приказ истреблять на месте любого пленного советского комиссара.

В течение всей зимы от Блаттхена не поступало никаких известий, но вот в канун Пасхи руководители «Аненербе», к своему восторгу, получили от него сто пятьдесят тщательно пронумерованных и запечатанных стеклянных контейнеров с наклейками «Номо Judaeus Bolchevici» – «Человек еврейско-большевистской расы». В каждом контейнере плавала в растворе формальдегида отлично сохранившаяся человеческая голова.

Успех этот принес Блаттхену, помимо звания штурмбаннфюрера, репутацию великолепного специалиста по Восточным землям – Восточной Пруссии, Польше и оккупированным территориям Советского Союза, и «Аненербе» послало его с постоянной миссией в Кальтенборн, где он возглавлял (или думал, будто возглавляет) комитет по отбору кандидатов в наполю. Ибо Тиффож вскоре установил, что между Блаттхеном и Начальником школы существует неприкрытая вражда. Рауфайзен называл расистские теории вредной и туманной белибердой, Блаттхен считал Начальника невеждой и пьяницей, но, поскольку они занимали на эсэсовской иерархической лестнице одинаковое положение, им поневоле приходилось терпеть друг друга. Однако за Рауфайзенем оставалось то преимущество, что он командовал персоналом наполю, и Блаттхен, одиноко сидевший в своей башне, вынужден был обращаться к нему за любого рода помощью, которую ему оказывали нарочито неохотно, разве что за неимением других дел. Очень скоро Блаттхен понял, насколько может пригодиться ему пленный француз, и начал использовать его для своих поручений так часто, как тому позволяла служба у интенданта. С течением времени Тиффож вполне освоился в трех комнатах, отведенных под «Кальтенборнский центр расоведения» и спальню самого Блаттхена; особенно нравилась ему просторная лаборатория с белыми сверкающими стенами, выходившая на террасу восточной башни, украшенной, Бог знает почему, водоемом из искусственного мрамора, где профессор любовно содержал сотню золотых рыбок.

– Это *Carassius auratus* или, иначе, *Cyprinopsis auratus*! – объявил Блаттхен, воздев к небу перст, когда Тиффож впервые подошел к водоему. – Видите ли, Тиффож, эти крошечные существа находятся здесь для того, чтобы непрестанно напоминать мне о моей задаче: уж если азиатские варвары сумели, путем селекции и скрещивания, получить такую вот золотую рыбку, то мы просто обязаны вывести породу несравненных, идеальных людей, которые станут расой господ, Номо Ауреус; вы увидите, что все мои исследования подчинены единственной цели – отыскивать в доставляемых сюда детях ту самую золотую песчинку, которая оправдает селективный и репродуктивный акт.

Нужно сказать, что прибытие в Кальтенборн каждой новой партии детей всегда было для Блаттхена великим, незабываемым моментом. После того как мальчиков записывали в школу, они поступали в его «Центр» для составления расоведческой анкеты. И штурмбаннфюрер профессор доктор Блаттхен, в присутствии своего ассистента, коим отныне считался Тиффож, раскладывал на столе все свое хозяйство – толщинометры, спирометры, цветовые шкалы, реактивы и микроскопы – и принимался взвешивать, обмеривать, ощупывать, обследовать и классифицировать предмет изучения. К двумстам двадцати классическим критериям, изложенным в «Антропологии» доктора Мартина, он не преминул добавить целую кучу характеристик собственного изобретения, которые составляли предмет его особой гордости.

Так, Тиффож узнал от него, что, с точки зрения растительности на теле, человечество делится на гладковолосых, волнистоволосых и курчавоволосых; что существует три основных типа отпечатков пальцев – спиралеобразный, крючкообразный и дугообразный; что человек может быть брахискелитиком или макроскелитиком в зависимости от соотношения длины ног и грудной клетки; хамецефалом или гипсоцефалом, в зависимости от высоты черепа; тапеноцефалом (плоскоголовым) или акроцефалом (круглоголовым), в зависимости от его формы;

лепторинитиком или хамеринитиком в зависимости от строения носа. Но истинное вдохновение, граничащее с поэтическим восторгом, посещало Блаттхена, когда он заводил речь о том, что благоговейно величал *spectre sanguin* – спектром групп крови. Четыре группы крови – А, В, АВ и О, – открытые Ландштайнером и дополненные двумя резусами, положительным и отрицательным, давали ему неограниченные возможности для сложной комбинаторики. Притом, все полученные результаты измерений и выведенные из них среднестатистические данные не укладывались в убогую объективную реальность; Блаттхен наделял их волшебными свойствами манихейства*, преобразующего банальные цифры в вечные категории добра и зла. Вот почему, измеряя очередной череп, Блаттхен не ограничивался констатацией его формы – круглой (брахицефальнй) или овальной (долихоцефальной). Он объяснял Тиффожу, что ум, энергия, интуиция суть отличительные признаки долихоцефалов, и все несчастья Франции произошли от того, что ею правили круглоголовые – Эдуар Эррио, Альбер Лебрен или Эдуар Даладье; справедливости ради он все же добавлял, что и из этого правила есть исключения, а именно: достойнейший Пьер Лаваль (как нельзя более круглоголовый) и омерзительный Леон Блюм, чья долихоцефалия, увы, не вызывала ни малейших сомнений.

Принимая во внимание все вышесказанное, неудивительно, что антропологические таблицы Блаттхена содержали определенный набор пагубных признаков, делавших их обладателя существом низшего сорта. Таковым признаком была, например, «монгольская метина» – нечто вроде синеватого родимого пятна, расположенного в сакральной, иначе говоря, крестцовой области тела и более заметного у детей, нежели у взрослых. Оно довольно часто встречалось у представителей черной и желтой рас и только изредка – у белых, почему и являло собой в глазах теоретиков расизма позорный признак неполноценности, «дьявольскую метку». Точно так же расценивались ими горбатые семитские носы, отставленный большой палец ноги у индейцев, плоские затылки персов и армян, образующие прямую линию с шеей, дугообразные отпечатки пальцев, характерные для пигмеев, и вторая группа крови, наиболее частая у кочевых народов, цыган и иудеев.

Все эти цифровые данные, годящиеся для алгебраических формул, не мешали Блаттхену, с другой стороны, полагаться на чисто интуитивные озарения, почти всегда безошибочные, хотя и совершенно недоказуемые. Его острый черный взгляд, пристально изучавший походку детей, выражение их лиц, общий облик, помогал делать из всего этого неопровержимые выводы. Но главным козырем Блаттхена был его так называемый расовый нюх; он утверждал, что каждая раса пахнет по-своему и что он может с закрытыми глазами определить, кто перед ним – черный, желтый, семит или северянин, – по летучим кислым или щелочным выделениям их потовых и сальных желез.

Тиффож слушал Блаттхена, записывал цифры, которые тот бросал ему, наблюдал за его манипуляциями с циркулем Брока или динамометром, регистрировал, а, главное, непрерывно размышлял. Разумеется, СС и все, с этим связанное, внушали ему живейшее отвращение. Но вот сама напoла, несмотря на то, что ее дисциплина, мундиры и неистовые марши на каждом шагу оскорбляли анархистские вкусы и убеждения Тиффoжa, побуждала его к компромиссу, ибо, служа машиной для подавления, она, в то же время, способствовала бурному расцвету свежей, невинной детской плоти. И эту смесь подчинения и экстаза маниакальная, граничащая с садизмом и преступлением эрудиция Блаттхена доводила до высшего предела; явное родство его теорий с фаллологией Великого Егеря и с конной философией Прессмара также заставляли француза до времени терпеть и молчать. Непрерывный подъем его карьеры, особенно этот, последний рывок, позволивший перейти от оленей и лошадей к детям, явно свидетельствовал

*Религиозная доктрина, в основе которой лежит дуалистическое учение о борьбе добра и зла, света и тьмы.

о том, что он уверенно следует по пути своего призвания. Оставалось лишь стать выше обстоятельств и найти средство завладеть научным достоянием Блаттхена, дабы обратить его себе на пользу – точно так же, как раньше он сумел извлечь из Роминтена неожиданные, но чисто «тиффожевские» плоды. Ибо, разделяя – на краткий миг – труды Блаттхена, он, тем не менее, был убежден, что доктор-эсэсовец – всего лишь временная фигура, которой предназначено рано или поздно исчезнуть из его жизни, уступив место ему, Тиффожу.

И Тиффож, проникнутый этой уверенностью, воспользовался тем, что впервые с начала войны ему стали выпадать свободные минуты и некоторый комфорт: он раздобыл школьную тетрадь и вновь принялся за свои «Мрачные записки».

Мрачные записки

Сегодня: поездка в Йоганнисбург за матрасами. Неизвестно по какому случаю, грандиозный военный парад на Адольф-Гитлерштрассе. Толпа. Половина зрителей в мундирах; похожие, как близнецы, неразличимые в одинаковом сукне, в одинаковых коже и стали, они идут вперед строевым шагом, образуя гигантскую зеленую тысяченожку, извивающуюся вдоль шоссе. Толпа эта, словно зачарованная, повинуется волшебной палочке, превратившей многие миллионы немцев в огромное, единое, всесокрушающее существо под названием вермахт. И отдельные индивидуумы в этом колоссальном существе – точь-в-точь косяк сардинок в желудке у кита! – уже спрессованы, сбиты воедино, прочно и навеки.

То же самое явление, только в первичной стадии, наблюдается в другой половине толпы, состоящей из штатских; их зыбкая разноцветная масса беспорядочно клубится на тротуарах, собираясь в группки под деревьями. И, однако, желудочный сок, выделяемый толстой зеленой змеей, уже подбирается мощным приливом к ногам этих крошечных, пока еще свободных созданий. Мрачная навязчивая музыка, глухой топот марширующих легионов, мерное колыхание их рядов, море знамен со свастикой, шелестящих – или шипящих? – на ветру, все это давящее ритуальное действо глубоко поражает нервы людей, начисто парализуя их свободную волю. Какая-то смертная истома пронизывает их до мозга костей, увлажняет взгляд, скоывает в ядовитом, дурманном экстазе, именующемся патриотизмом. «За партию, за рейх, за фюрера!»

Однако монолитный блок рейха уже дал серьезную трещину, и удивительное происшествие, случившееся со мной на обратном пути, подтвердило этот факт, хотя и весьма комическим образом. Произошло оно в Зеегуттене, игрушечной деревеньке, притулившейся на берегу озера Спирдинг. Мне предстояло забрать у одного тамошнего крестьянина шесть мешков картошки. И вот, нате вам! – этот тип стал кочевряжиться и требовать, чтобы я завизировал свой реквизиционный ордер в мэрии. Ладно. Мэрия размещается в новеньком особнячке современного неоклассического стиля. Привязываю лошадь и иду вдоль ограды к подъезду. И тут из открытой двери до меня доносится странно знакомый голос, который на кошмарном, ломаном немецком вещает что-то властным, непререкаемым тоном. Останавливаюсь, слушаю.

– Да-да, верно, поезда ходят черт знает как, бензина нигде нет, автобус сломался! – гремит голос. – Ну, что ж, все это нужно было предвидеть! Вы там, у себя на фронте, воображаете, будто мы здесь как сыр в масле катаемся! А нас,

между прочим, бомбят, население дезорганизовано и голодает! Тебе, видите ли, угодно, чтобы я оправдал твоё опоздание, иными словами, на свой страх и риск продлил твою увольнительную на целые сутки. Ну так вот, мой милый, знай, что мэр такими полномочиями не располагает!

На эти громовые раскаты отвечал робкий прерывистый лепет; судя по всему, обвиняемый был молодым крестьянским парнем, но его неуклюжие оправдания только сильнее распалили предполагаемого мэра.

Поднимаясь на крыльцо, я уже знал, кого сейчас увижу, и заранее смаковал потрясающую шутку, которую судьба подбросила мне в утешение после парада в Йоганнисбурге.

– Тиффож! Неужели это ты, черт побери!

Виктор, дурачок Виктор из Морховского концлагеря, восторженно стиснул меня в объятиях, затем тычком в плечо отпустил юного прогульщика, который поспешно ретировался. Он потащил меня в кабинет, усадил в кресло. На все расспросы я сперва отвечал подробным описанием моей жизни в Роминтене, но скоро понял, что, несмотря на внешний жгучий интерес, за сверлящим взглядом и напряженной, застывшей улыбкой Виктора скрывается полнейшее безразличие к моим словам. Даже имя Геринга, обычно производящее на слушателей магический эффект, не изменило выражения глухоты на этой притворно-внимательной маске. А, впрочем, какая разница! Меня куда больше интересовала его собственная история.

Кем только Виктор не работал за это время: и лесорубом в Альтхайдерском лесу, и рыбаком на Мейерзее, и конюхом на коннозаводе Фрауенфлисса, и, наконец, пильщиком на Зеегуттене. В здешних местах рыболовство и пилка леса неразделимы; при огромной лесопилке есть плотницкая мастерская, которая занимается исключительно поделкой ящиков из древесных отходов для рыбы. Каждый день Зеегуттен отправляет в город около полутонны угрей, окуней, щук, а, главное, пресноводных сельдей горячего копчения. Внезапно Виктор приходит в лирическое настроение и, вновь бросившись ко мне, горячо жмет руки.

– Ах, этот лес, старина, этот лес! В нём вся моя жизнь!

И он с восторгом описывает богатое оборудование лесопилки: две электропилы Кишнера со сменными полотнами (до четырнадцати штук!), пять циркулярных пил и одна механическая поперечная; кроме того, циклевочная паркетная машина и точильные станки. За этим перечислением следуют истории сказочных рыбацких удач при ловле неводом: один, два, три, четыре, а то и пять баркасов за день добывали иногда до тринадцати тонн рыбы. Ну, а что касается самого Виктора, то он теперь полновластный хозяин Зеегуттена, и все благодаря лесу и рыбе, да-да, лесу и рыбе!

Вот взять хоть лес: каждый вечер в общем бараке Морхофа он терпел насмешки и поношения окружающих, ибо все свободное время отдавал изготовлению миниатюрного деревянного шедевра – точной копии мавзолея Гинденбурга, возведенного в Танненберге. Теперь уж и не скажешь, что ему помогло – счастливый случай, своевременно полученные сведения или обыкновенное предчувствие, – но только в один прекрасный день генерал Оскар фон Гинденбург, сын маршала, живший на покое в Кенигсберге, очутился проездом в Зеегуттене. Виктор добился разрешения преподнести ему свой макет, и что же?! – в один миг он стал другим человеком!

Или же взять рыбу: прошлой зимой он удил в проруби, а лед из-за оттепели истончился, и он оказался единственным свидетелем несчастного случая, кото-

рый едва не стоил жизни одиннадцатилетней Эрике, дочери хозяина мастерской, катавшейся вместе с другими ребятами на коньках по озеру, хотя это было чрезвычайно опасно. Мягкий лед провалился под тяжестью девочки, и Виктору, благо у него под рукой оказалась веревка, удалось вытащить ее из воды.

Вот так-то и устроилась его судьба. Хозяин сделал Виктора своим первым помощником и, будучи мэром Зеегуттена, назначил его секретарем мэрии. С той поры удача не покидала его: независимость и полномочия росли день ото дня, по мере того, как мужчины округа отправлялись на фронт, а жизнь становилась все тяжелее. И теперь именно он, Виктор, выдает продуктовые карточки, регистрирует новорожденных, а при случае (тому я и оказался свидетелем) распекает провинившихся служаек. Виктор захлеб перечислял все эти чудеса, то и дело заливаясь своим безумным смехом.

Слушая его повествование, я боролся с нахлынувшей на меня двойной неприязнью. Эта фантастическая, ничем не заслуженная удача... о, как я уповал на нее с самого начала моего пребывания в Германии, и зрелище триумфа Виктора исполнило меня едкой завистью. Но, главное, мне горько было сознавать, что этим успехом он обязан именно своему безумию; я еще раз припомнил поразивший меня диагноз, поставленный ему Сократом: душевнобольной, которому страна, обезумевшая от войны и разрушений, дарит тот единственный шанс, что обеспечивает ему успех и процветание. И разве сам я не уподобляюсь этому Виктору; разве не надеюсь на то, что удары судьбы ниспровергнут Кальтенборн до уровня моего безумия, отдав его на милость победителя?!

То ли из отвращения к эсэсовским мундирам, которые он считал нелепо-опереточными, то ли в знак протеста против скромной роли, отведенной ему в наполе, генерал граф Герберт фон Кальтенборн чаще всего показывался на люди в сером шерстяном плаще-пелерине и фетровой тирольской шляпе. Нужно отметить, что военная выправка господина генерала особенно выделялась именно тогда, когда он облачался в штатское. Благодаря этой выправке генерал выглядел мужчиной высокого роста, тогда как на самом деле был ниже среднего; его квадратное лицо украшали простоватые усы на манер Франца-Иосифа, придававшие ему выражение добродушия и всепонимания, не имевших ровно ничего общего со строго ограниченными незыблемыми принципами, коими он руководствовался всю свою жизнь.

Впервые Тиффож увидел графа, когда чистил лошадей у конюшни. Граф окликнул его по-французски и обменялся с ним несколькими фразами, явно довольный возможностью показать свое знание этого языка. Потом он как будто забыл о французе вплоть до того сентябрьского дня, когда Тиффожу пришлось отправиться на своей повозке в Лотцен, к мяснику, за половиной коровьей туши.

Прибыв в Лотцен, Тиффож нашел лавку запертой и опечатанной. Ему сообщили, что мясник арестован за махинации на черном рынке. Непрестанно разъезжая по стране, Тиффож имел возможность видеть, как она деградирует от недели к неделе, разоряемая всепожирающей войной. Долгое время бомбардировки, приходившиеся только на западную Германию, щадили Восточную Пруссию, вот почему детское отделение германского Красного Креста целыми составами эвакуировало туда детей из разрушенных крупных городов. Но с нынешней весны над восточными землями нависла куда более страшная угроза, чем воздушные налеты: Восточная Пруссия медленно, но неотвратимо становилась проклятым краем рейха. Невзирая

на категорический запрет гауляйтера эвакуироваться или хотя бы готовиться к отъезду, самые состоятельные люди, располагавшие средствами передвижения, постепенно выбирались на запад; поскольку они не могли увезти с собой все свое имущество, завязалась оживленная купля-продажа между теми, кто делал ставку на побег, и теми, кто еще продолжал уповать на спасение здесь, дома. Полиция действовала вслепую, хватая людей наугад, руководствуясь то доносами, то слухами, то газетными призывами; тюрьмы были переполнены, нацистские бонзы во все горло кричали о непобедимости Германии, но ничто уже не могло заглушить ужас, внушаемый людям падением Муссолини, капитуляцией Италии, откатом вермахта с Украины на запад, а, главное, сотнями траурных рамок, ежедневно заполнявших целые газетные страницы.

И все же никогда еще природа мазурского края не была так сияюще-прекрасна, как нынче. Сочтя свою миссию оконченной, Тиффож пустился в обратный путь, неторопливо следуя вдоль озер Левентин, Воиново и Мартинсхаген. Вода была такой прозрачной, что казалось, будто бакланы и чайки в поисках добычи и серебристые рыбешки, снующие в воде над темными глубинами озера, парят в одном и том же пространстве. Лодки, привязанные у мостков, тоже словно повисли в пустоте, подобные воздушным шарам на веревочках. Громкое монотонное гудение пчел над полем цветущего рапса, мирное тарыхтение молотилки во дворе фермы, звон наковальни в кузне, даже стук дятла на лиственнице, все эти звуки веселым, беззаботным хором сопровождали повозку Тиффожа. Их торжествующая песнь вовсе не противоречила мертвящей атмосфере Лотцена; наоборот, ему казалось вполне естественным, что, пока Германия катится к гибели, природа готовит ему, Тиффожу, апофеоз победителя.

В таком ликующем расположении духа Тиффож уже приближался к Кальтенборну; до крепости оставалось несколько километров, как вдруг он завидел стоявший на обочине старозаветный черный лимузин Командора. Автомобиль сломался, и старый граф недвижно стоял подле него в ожидании своего шофера-ординарца, посланного за подмогой. Тиффож пригласил графа в свою повозку и доставил его в замок. Он не придавал никакого значения своим скупым ответам на те несколько вопросов, что Командор задал ему в течение их короткого совместного пути, и потому был крайне удивлен, когда пару дней спустя генерал вызвал его к себе в кабинет и, обсудив какую-то пустяковую проблему, спросил:

– Когда вы везли меня в замок, я, помнится, интересовался, какое впечатление произвела на вас Пруссия. Вы мне ответили: черно-белое. Что вы разумели под этим?

– Ну... ели, березы, пески, торфяные болота, – нерешительно промолвил Тиффож.

Взяв француза за руку, генерал подвел его к стене, увешанной оружием, знаменами и гербами.

– Вы правы, прусская земля именно черно-белая, – подтвердил он. – Вот отчего официальные цвета прусского флага – черный и белый, в память о тевтонских рыцарях и их белых плащах с черными полосами. Но не следует забывать и о Меченосцах, без которых Пруссия осталась бы холодным и скудным краем.

– Да, господин генерал, – согласился Тиффож, – они были солью этой земли.

И он одним духом выпалил запомнившуюся ему историю кабатчика об Альберте Апельдомском и Альберте Буксхоудене, об империи на краю света, объединившей под своими двумя пурпурными мечами Ливонию, Курляндию и Эстонию, и о союзе с тевтонцами Германца фон Зальца, укрепившем могущество и величие Восточной Пруссии.

Командор пришел в восторг.

– Вот почему, – заключил он, – невозможно представить черно-белое знамя Тевтонцев без красного цвета Меченосцев, ибо этот последний воплощает в себе все, что есть живого в песках и торфяниках, о которых вы говорили.

И в самом деле, Тиффож припомнил, что, испытав его сперва черной землей и белым снегом Морхофа, Пруссия затем непрестанно посылала ему череду живых, теплых, трепещущих созданий – канадских бизонов, перелетных птиц, Роминтенских оленей. Синюю Бороду – вторую его ипостась, маленьких девочек из Гольда-па и, наконец, здесь, в Кальтенборне, юнгштурмовцев, эту тесно сплоченную, крепкую, упругую массу, что распевала боевые марши единым, чистым, металлическим голосом и печатала единый, четкий шаг по внутреннему двору крепости, у подножия могучей башни.

Командор провел Тиффожа через часовню на террасу, и они остановились перед бронзовыми мечами, которые тремя мощными воздетыми клинками рассекали мирные, кудряво-зеленые дали с лесами и озерами.

– Каждый из этих мечей носит имя одного из моих предков, – объявил он. – В центре – Герман фон Кальтенборн, которому накануне битвы явилась Богородица, возвестившая, что он погибнет в бою, но попадет в рай для рыцарей, где ему уже заготовлено место. К западу от него находится Випрехт фон Кальтенборн, истинный и могучий приверженец Христа, который в один-единственный день собственноручно окрестил десять тысяч пруссаков. И, наконец, по другую сторону, к востоку, стоит Файт фон Кальтенборн, мой отец, что сражался в этих самых краях в августе 1914 года, под командованием маршала фон Гинденбурга, освобождая собственные земли от славянских захватчиков.

И он с любовным почтением провел рукой по зеленой патине гигантских бронзовых клинков. Снизу, из внутреннего двора, воинственными энергичными всплесками доносился до них слаженный хор юнгштурмовцев:

Дрожи пред нами, старый мир гнилой!
Отважны мы, нам страх давно неведом.
Все, как один, мы рвемся в новый бой
И мы придем к блистательным победам.
Так марш вперед! Нам будущее ясно.
Врага раздавит наш стальной сапог.
Сегодня нам Германия подвластна,
А завтра целый мир у наших ног!

Мрачные записки

Каким нетерпимым, каким вспыльчивым был я во Франции, – вечно я кипел возмущением и проклинал все на свете; не понимаю, откуда взялись во мне выдержка и сговорчивость с тех пор, как я хожу по немецкой земле?! Видно, все дело в том, что здесь я постоянно сталкиваюсь с ЯСНО ВЫРАЖЕННОЙ реальностью, почти всегда четкой и доступной пониманию; даже когда она становится труднопознаваемой, это означает лишь одно: она сделалась глубже и намерстывает в богатстве содержания то, что теряет в очевидности. Франция же неустанно ранила меня примитивными, пошло-мелкими проявлениями духа, терявшимися в тумане повседневной действительности. Не хочу сказать, что все, здесь происходящее, направлено к добру и справедливости, о нет, до этого куда как далеко! Но духовность, которой одарила меня эта страна, настолько тонка и одновременно так важна и значительна, что я не могу, не успеваю сердиться, когда она слишком резко задевает мое естество.

Например, этот Блаттхен, со свойственной ему зловредной настойчивостью, делает все возможное, чтобы вывести меня из себя. Одна из его страстишек – переделывание географических названий и имен иностранного происхождения, в частности, литовских или польских, на немецкий лад. С маниакальным упорством он вынюхивает и вытаскивает на свет божий нечистый источник того или иного географического названия, на первый взгляд, вполне невинного, и тут же принимается писать своему рейхсфюреру по этому скандальному поводу, предлагая заменить скомпрометированное слово другим, более германским и более звучным – по крайней мере, на его слух. Эта мания довела его до того, что он прицепился и к моему собственному имени. Но в данном случае, как он полагает, речь идет не о замене польских или литовских корней немецкими. Он убежден, что Тиффож – это искаженное Тьефуж или, по-немецки, Тифауге, и, стало быть, фамилия моя имеет очень древнее, но оттого не менее почетное, тевтонское происхождение. Теперь он величает меня не иначе как «герр Тифауге», а когда совсем разнежится, то еще и облагораживает это имечко, превращая его в «герр фон Тифауге».

– Доказательством чистоты вашей крови, – заявляет он, – служит то, что вы обладаете в высшей степени выразительным признаком, который и объясняет ваше имя – Тифауге; это так называемый «глубокий взгляд», то есть, глаза, глубоко сидящие в глазницах. Стоит только посмотреть на вас, герр фон Тифауге, и сразу возникает предположение, а не является ли ваша фамилия прозвищем, отражающим вашу внешность?

Но однажды он зашел еще дальше, и тут уж я с трудом удержался от взрыва возмущения. В тот день работа у нас никак не ладилась: мальчик, которого мы обследовали, проявлял все признаки *ostisch* – восточной расы, к которой он явно принадлежал, судя по его коренастому сложению, узловатой мускулатуре, гипербрахицефалии (88,8), хамепрозопии, матовой коже лица и группе крови АВ, и Блаттхен возмущался небрежностью отборочной комиссии. Я то и дело ошибался в измерениях и, в довершение несчастий, разбил склянку с резусным реактивом. И тут Блаттхен оскорбил меня. О, в весьма скрытой форме, всего лишь добавив к моему имени одну букву.

– Нельзя ли повнимательнее, герр Трифауге! – промолвил он. Я уже достаточно знал немецкий, чтобы понять эту тонкую оговорку: *Triefauge* означает больной, гноющийся глаз. Моя ужасная близорукость и очки с толстыми стеклами, без которых я ровно ничего не вижу, делают меня вполне уязвимым для такого рода шуток. Я подошел к господину профессору почти вплотную и медленно снял очки. Глаза мои, обычно сощуренные за мощными стеклами до узеньких щелочек, открылись по-совиному широко, заполнив орбиты и едва не выскочив наружу, а слепой, но цепкий взгляд впился в лицо Блаттхена.

Сам не знаю, что это на меня нашло, – подобную штуку я проделал впервые в жизни, но результат оказался таким потрясающим, что я теперь возьму ее на вооружение. Блаттхен побледнел, отшатнулся, пролепетал какое-то извинение и больше не проронил ни слова до самого конца осмотра».

Тиффож всегда думал, что вещая сила, руководившая каждым из этапов его возвышения, проявится в полной мере лишь в том случае, если она, однажды выполнив свою миссию, все же сохранит себя для следующих шагов. Вот почему он с тоскливым беспокойством размышлял о том, помогут ли ему Роминтенские достижения продвинуться вперед здесь, в Кальтенборне. Его упования начали сбь-

ваться в октябре, когда трудности снабжения достигли своего апогея и пришлось обратиться к особым мерам. Начальник школы отсутствовал три дня; по возвращении он объявил, что совещался в Кенигсберге с самим гауляйтером. Эрих Кох пообещал ему оружие и амуницию, чтобы Кальтенборн мог продолжать военное обучение юнгштурмовцев, зенитную батарею для отражения вражеских налетов и, вдобавок, дал разрешение охотиться в окрестных лесах с целью разнообразить повседневный рацион школы. Добывание дичи вполне естественно должно было лечь на плечи Авеля Тиффожа, решил Начальник, поскольку тот отвечал за снабжение и работал помощником егеря в Роминтене. Однако гауляйтер поставил одно довольно жесткое ограничение, запретив традиционную охоту и использование стрелкового оружия. Дичь можно было ловить только с помощью западней и капканов, а убивать исключительно холодным оружием, – иными словами, гауляйтер одной рукой давал, а другой отнимал. Тем не менее, Тиффож приноровился и к этому условию, попросив предоставить ему сотню юнгштурмовцев, вместе с которыми организовал весьма эффективную ловлю силками в кроличьих заповедниках.

Со своей стороны, фрау Нетта, также сопровождавшая сотню, руководила сбором грибов в лесу Дроссельвальда. Сухая прохладная осенняя погода с частыми восточными ветрами не способствовала успеху экспедиций фрау Нетта, зато очень помогала планам Тиффожа. Утренние заморозки начались в этом году чрезвычайно рано, а вскоре выпал и первый снег, который с приходом ноября уже не таял.

Мрачные записки

Нынче утром взошедшее солнце уже ярко осветило землю, как вдруг всю округу вновь заволокла ночная тьма. Гигантское свинцово-черное облако медленно, грозно надвинулось на нас с запада. Мне-то давно знаком этот древний космический, пронизывающий до мозга костей ужас перед необъяснимым явлением природы, но на сей раз он переполнил не только меня самого, но поразили и окружающих – людей, зверей, все живое. Внезапно в воздухе замелькали мириады белых хлопьев, весело порхавших туда-сюда. Вот поистине волшебное зрелище – превращение черного в белое, в полном согласии с черно-белым, лишенным нюансов пейзажем. Стало быть, свинцовое облако оказалось всего лишь пуховой периной! Как же это звали того греческого космолога, что говорил о «скрытой черноте снега»?

Рождественский праздник был отмечен бураном с сильным северо-западным ветром; казалось, своими злобными порывами он решил начисто стереть из памяти людей недавние погожие, солнечные месяцы. К полудню все небо плотно затянули мрачные бурые облака. Над ними, где-то там, в вышине, с тоскливыми криками метались перепуганные чайки. Дремوتная равнина вдруг как будто встrepенулась, готовясь противостоять надвигающемуся кошмару. Снег, доселе мягко и неслышно ложившийся на притихшие улицы, взвился вверх и сплошной, белой, слепящей стеной ринулся на страну. Ураганный ветер швырял на ледяной панцирь озер вырванные ветки и целые стволы деревьев, а порой и обломки скал. Крепость, венчавшая холм, стала гигантской эоловой арфой бури; она пела всеми своими проходами и галереями, фонарями, колокольнями и шпилями. Флюгеры стонали человеческими голосами,

двери с размаху бились о стены, из коридоров несло могильное завывание стаи невидимых волков.

Тем не менее, рождественская церемония собрала всех юнгштурмовцев в оружейном зале, вокруг новогодней елки, сверкавшей множеством огней. Праздновали, однако, не рождение Христа, но рождение Солнечного Ребенка, восстающего из пепла в момент зимнего равноденствия. Поскольку солнечная траектория достигла низшей отметки, укоротив день до минимума, смерть бога-светила должна была оплакиваться как грозное космическое бедствие. Мрачные песнопения, вполне подходящие злосчастию земли и враждебности небес, восславляли добродетели светоносного усопшего и молили его вернуться к людям. И мольба эта была услышана: отныне с каждым днем свету предстояло брать верх над мраком, сперва на несколько мгновений, которые, постоянно удлиняясь, вскоре завоюют ему окончательную победу.

Затем Начальник школы громко зачитал пожелания, присланные в Кальтенборн сорока другими наполами, рассеянными по всей территории рейха – в Плоне, Кеслине, Ильфельде, Штурме, Нойзелле, Путбусе, Хегне, Руфахе, Аннаберге, Плошковице; при каждом новом названии из полукруга детей выступал один мальчик и шел к елке, чтобы зажечь очередную свечу. Потом воцарилось молчание, нарушаемое лишь воем ветра; и вдруг Начальник, словно во внезапном порыве вдохновения, выкрикнул:

– Рай обретем мы под сенью мечей!

Затем, уже более спокойным тоном, он разъяснил собравшимся, что каждому человеческому типу свойственно то или иное орудие труда, которое таким образом символизирует его сущность. Например, есть люди пера, чья естественная функция – письменные занятия, или люди плуга – крестьяне, находящие себя в полевых работах; архитекторам служит эмблемой чертежный угольник, кузнецы видят свое призвание в образе наковальни. Юнгштурмовцы же Кальтенборна живут под знаком меча, причем, вдвойне – во-первых, как юные воины рейха и, во-вторых, благодаря гербу данного замка. И все, что не имеет отношения к мечу, должно расцениваться как позорная трусость и предательство. Они обязаны постоянно держать в памяти эпизод с гордиевым узлом из жизни великого Александра Македонского. Во Фригии, на Гордиевом акрополе, высился храм Юпитера, где хранилась колесница первого царя этой страны. Согласно предсказанию одного великого оракула, Азия станет владением того, кто сумеет распутать узел, коим упряжка скреплялась с колесницей и оба конца которого были скрыты от глаз. Александр страстно желал завоевать азиатскую империю и, придя в ярость от слишком сложного испытания, одним ударом меча разрубил узел. Отсюда следует, что всякая задача может иметь два решения: долгое, медленное, сопряженное с робостью и ленью души, или же бесстрашный, молниеносный выход из положения с помощью меча. И юнгштурмовцам подобает следовать примеру Александра, обнажая меч всякий раз, как их намерениям воспрепятствует подобный узел.

Пока он говорил, буря, словно бешеный таран, сотрясала стены крепости, заставляя испуганно колебаться елочные огоньки. Вдруг они погасли все разом, и детей поглотил мрак; минуту спустя высокое окно оружейного зала разлетелось вдребезги под новым натиском бурана, таким неистовым, будто наступил конец света. И лишь со стороны востока воющую плотную завесу ночи пронизывал желтый глаз единственной видимой в небе звезды.

Мрачные записки

Мне понадобилось много времени, чтобы вскочить на подножку этой огромной, пестрой и шумной, разукрашенной флагами карусели, несущей по кругу толпу детей и горсточку руководящих ими взрослых. Теперь, когда я прочно утвердился на ней, мне яснее видна ее механика. Во-первых, время здесь бежит явно не по прямой, а именно по кругу. И жизнь протекает не в историческом отрезке, а по календарю, иными словами, тут безраздельно царит вечный круговорот; отсюда вполне справедливое сравнение с каруселью. Гитлеризму претит любая мысль о прогрессе, о созидании, об открытии или изобретении нового, чистого будущего. Он зиждется не на отрыве от прошлого, но на его реставрации – культе расы, культе предков, крови, мертвых, земли. . .

В этом календаре, чьи святые и праздники принадлежат к особому, избранному мартирологу, 24 января навечно вписано как горестная дата злосчастного 1931 года – года гибели юного Герберта Норкуса, ставшего, в силу своего возраста, святым покровителем всех молодежных организаций Германии.

И вот, в который уже раз, демонстрируется специально для юнгштурмовцев (которые бурно протестуют, ибо они уже его видели) фильм «Hitlerjunge Quex», снятый по роману Шензингера, вдохновленного судьбой Норкуса. Больше всего меня удивил выбор исполнителя главной роли. Этот мальчик намного младше реального Норкуса, хрупкий, чуточку женоподобный, беленький, нежный, как цыпленок, и самым своим видом обреченный на заклятие. Противники же – сгубившие его молодые социалисты, – изображаются эдакими грубыми юными скотами в людском обличье; их неперемненные атрибуты – вино, табак и женщины. Глядя на нежного, чистого, пасхального агнца, трудно представить себе юношу, «жесткого, как кожа, поджарого, как гончая, твердого, как сталь Круппа», каким охарактеризовал его Гитлер. Мне кажется весьма примечательным тот факт, что режиссер фильма за десять лет до меня нашел этот образ немецкого ребенка, столь противоречащий официальному идеалу: не распираемое грубой силой и животным аппетитом существо, а слабое, беззащитное создание, вечная невинная; жертва злодеев.

После фильма следует мрачная поминальная церемония; барабаны безостановочно отбивают суровый призыв «Черного корпуса»: два долгих удара – тамбуры справа, три коротких – тамбуры слева; остальные вторят им пятью короткими ударами, потом тремя такими же, потом двумя. Эта неотвязная похоронная дробь – словно грузная поступь самой судьбы, исполняющей танец смерти. Внезапно монотонная литания взрывается воем труб, тут же переходящим в мертвую тишину. Во мраке раздается юношеский голос, ему отвечает другой, за ним звучит третий.

– Сегодня вечером мы славим память нашего товарища Герберта Норкуса!

– Мы не скорбим над холодным саркофагом. Мы сплываемся вокруг поверженного товарища со словами: «Был один, который задолго до нас отважился на то, что мы пытаемся свершить сегодня. Уста его немые, но дело живет!»

– Многие вокруг нас пали в бою, но на смену им рождаются другие. Мир велик, он объединяет живых и мертвых. И подвиги старших товарищей помогут сражаться тем, кто следует за ними.

– Ему было пятнадцать лет. Социалисты убили его ударом кинжала 24 января 1931 года в Берлине, в квартале Бесселькритц. Герберт Норкус только выполнял свой долг в Гитлерюгенде, но этим-то он и вызвал к себе ненависть наших врагов.

Его труп будет вечной преградой между марксистами и нами!

Теперь они поют «Юный народ, вставай на борьбу!». Чистые, звонкие, как хрусталь, голоса взлетают в ледяное небо; знамя со свастикой извивается вокруг флажштока, точно спрут, обожженный узким лучом прожектора.

Штефан Рауфайзен:

«Я родился в 1904 году в Восточной Фрисландии, город Эмден. Это маленький, но зажиточный городок голландского типа, полупортовый, полупортовый, благодаря двум каналам, соединяющим его с Эмсом и Дортмундом. Мой отец держал там мясную лавку в рабочем квартале, но, поскольку его обитатели мяса не ели, мы бедствовали почти так же, как наши соседи. У отца был брат, мой дядя Зигфрид; он также работал мясником, только в Киле (Шлезвиг-Гольштейн), притом в богатом “адмиралтейском” квартале. В 1910 году Зигфрид умер, и мы переехали в Киль, унаследовав его имущество.

Я был тогда слишком мал, чтобы ясно понимать разницу между сонным существованием захолустного, хоть и чистенького, городишки на северном побережье и мятежной, взрывной жизнью крупного морского порта Балтики; но факт есть факт: я вырос в напряженной атмосфере политической борьбы. Кайзер решил, что будущее Германии связано с морем, и сделал Киль ареной своей предвыборной деятельности. Он часто приезжал сюда, но особенно заметным бывало его присутствие в конце июня, во время так называемой Большой недели, когда он лично возглавлял праздник Международной регаты.

В 1914 году мой отец был мобилизован и отправлен служить на субмарину. В 1917 году он погиб вместе со своей затонувшей подлодкой. По жестокой, но весьма типичной для Истории логике, именно Киль нанес самый сокрушительный удар могуществу кайзера. В ноябре 1918 года восставшие экипажи военных судов стали могильщиками II рейха, а заодно и своими собственными: перемирие и репарации практически уничтожили военный флот, и германские корабли больше не бороздили моря и океаны. В результате Киль, с его судоверфями и дока-ми, мгновенно пришел в полный упадок. Наше семейное предприятие – мясная лавка – также разорялось, медленно, но верно. Однако мне это было совершенно безразлично. В пятнадцать лет такие вещи мало волнуют. За неимением свинины я изготовлял сосиски из лошадей почившей в бозе имперской кавалерии, мыслями же был далеко от дома. Романтика “Перелетных птиц”(Wandervogel) – вот что безраздельно завоевало мое сердце.

Движение “Перелетные птицы”родилось в знак протеста молодого поколения против старших; мы решительно отделили себя от них. Проигранная война, нищета, безработица, политическая смута – от всего этого мы категорически отреклись. Мы бросили в лицо нашим отцам суровый упрек в том, что они пытаются вынудить нас разделить с ними мрачные последствия Первой мировой войны. Мы разом отринули все подряд – их комплекс вины и искупления, их закованных в корсеты супругов, их душные квартирки с бархатными портьерами в помпончиках, их смрадные заводы, их деньги. Молодежь, одетая в лохмотья, в драные, но украшенные цветами шляпы, с гитарой на плече, сбивалась в маленькие дружные компании и, распевая веселые песни, открывала для себя бескрайние чистые германские леса с их легендами, источниками и нимфами. Ободранные, грязные, романтические, мы ночевали в стойлах и яслях, питались одной любовью и прозрачной речной водой. Нас объединяло мощное сознание принадлежности к новому поколению. Молодость была нашим масонским орденом. Разумеется, у нас имелись наставники; их звали Карл Фишер, Герман Гофман, Ганс Блюхер, Тукк. Они писали для нас рассказы и песни, печатая их во всяких маленьких журнальчиках. Но мы так

хорошо понимали друг друга с полуслова, что не нуждались в какой бы то ни было доктрине. Да и в Киле они никогда не показывались.

И вот тогда произошло то самое “чудо с нищими”. Мы, беспечные бродячие школяры, внезапно очнулись от мечтаний и поняли, что члены “Лиги нищих”(Bund der Geusen), как две капли воды похожие на нас, руководствуются нацистской идеологией; что наши идеалы и образ жизни совсем не обязательно должны держать нас на обочине общества, сильного как своей организованностью, так и инерцией. “Нищие” были ничем не лучше “Перелетных птиц”, но, в отличие от нас, их воодушевлял революционный дух, открыто угрожавший нынешнему общественному устройству.

С мечтами было покончено. Началась уличная борьба. Моя мясная лавка внезапно обрела смысл: я стал политическим руководителем корпорации мясников. Мы расклеивали плакаты и листовки, обливали краской дома политических противников, воспрепятствовали демонстрации антивоенного фильма “На западном фронте без перемен” в Киле. Муниципалитет отвечал на наши действия репрессиями, ударявшими без разбора и по “наци” и по “соци”. В один прекрасный день власти запретили ношение формы “Гитлерюгенда”. Тогда все молодые мясники из моей группы продефилировали по городу в своей рабочей одежде, и бюргеры чуть в обморок не попадали при виде длинных ножей, заткнутых за пояса грубых белых фартуков с пятнами крови. У “соци” имелаась группа флейтистов, которые играли им сигнал сбора. Мы раздобыли себе таких же, и, после целого ряда стычек, этот сигнал стал нацистским.

Но ничто не могло сравниться с днем 1 октября 1932 года. Балдур фон Ширах назначил на эту дату первый съезд нацистской молодежи в Потсдаме. Партия арендовала тридцать восемь огромных палаток, где могла разместиться в общей сложности тысяча участников. Однако на съезд приехали сто тысяч молодых парней и девушек со всего рейха. Они прибывали целыми поездами, на велосипедах, пешком, в битком набитых грузовиках с развернутыми знаменами. Это был настоящий хаос! Но зато какое грандиозное зрелище, пронизанное духом братства и дружбы! Еды на всех не хватало. Нечеловеческая усталость валила с ног. Но мы жили на нервном подъеме, пьяные от песен, крика, шума, маршей и контрмаршей. О, эта маршировка! Она стала нашим мифом, нашим опиумом! Marschieren, Marschieren, Marschieren! Символ прогресса, символ победы и единения, символ этого съезда, она превращала наши ноги, отвердевшие, как рычаги, сухие и пыльные, в главный политический орган каждого из нас!

Шестьдесят тысяч парней разместились на Шутценвизе, пятьдесят тысяч девушек – на стадионе. Семь часов подряд отряды маршировали перед трибуной наших вождей. И самыми прекрасными, самыми свирепыми и неукротимыми были мы, молодежь из Килия. Мы закатали рукава рубашек и спустили ниже носки, чтобы похвастаться своими бронзовыми мускулами. Мы уже прошли мимо главной трибуны под пронзительные рулады флейт, как вдруг нас догнал адъютант фюрера.

– Фюрер послал меня узнать, кто вы!

– Скажите ему, что мы готовы служить ему и умереть за Кильский гитлерюгенд!

Какое счастье, какой жертвенный порыв прозвучали в этом ответе!

Через четыре месяца Адольф Гитлер стал канцлером рейха».

Мрачные записки

«Нынче утром Блаттхен показал мне циркулярное письмо Генеральной инспекции, касающееся отбора кандидатов в юнгштурмовцы. В частности, там говорится:

«В процессе отбора следует правильно расценивать некоторую отсталость развития, как физического, так и психологического, обычно наблюдаемую у детей далической (falisch) или нордической рас. Отборщики не должны обманываться внешней заторможенностью и низким интеллектуальным уровнем, которые ставят детей в невыгодные условия при сравнении с их юными ровесниками восточно-балтийского и альпийского (westisch) происхождения. В действительности, живой ум и способность мгновенно парировать чужие доводы (ай да автор, – он, видно, и сам за словом в карман не лазит!) нередко являются признаками, несовместимыми с чистотой немецкой расы. Углубленное исследование подобных индивидуумов почти всегда выявляет антропологические характеристики, подтверждающие данное положение».

– Вот видите, герр фон Тифауге, – констатировал Блаттхен, – автор как нельзя лучше выразил нашу идею; трудно переоценить мужество, с коим он проводит ее в жизнь. Заметили ли вы, что каждый народ пытается присвоить себе в первую очередь ту добродетель, каковой на самом деле обделен? Возьмите, к примеру, прославленную французскую учтивость, – что она прикрывает в действительности, как не наглую грубость, проявляемую на каждом шагу, особенно по отношению к женщине?! А так называемое испанское благородство, которым так чванятся испанцы и которое опровергается непреодолимой склонностью иберийских народов к предательству и коррупции?! Что же касается пресловутой швейцарской честности (в результате которой гельветские консулы только тем и занимаются, что вытаскивают из тюрем своих проворовавшихся соотечественников), английской невозмутимости (вам не приходилось сталкиваться со слепой необузданной яростью британцев?), голландской чистоплотности (до чего же воняют их каналы!) и итальянского жизнелюбия. . . то советую вам поехать и убедиться на месте в правдивости их репутаций! О, разумеется, Германия не составляет исключения из данного правила! С тех пор как вы здесь находитесь, вам, верно, все уши прожужжали восхвалениями нашей рациональности, любви к порядку и честному труду. На самом же деле, герр фон Тифауге, немецкая душа – потемки, мрак и хаос. И нордические дети вялы и тупы вовсе не из-за отставания в развитии. Никакая, даже самая ранняя зрелость, не превратит их в жизнерадостных южан. Причина бойкости этих последних кроется в истории древних греков – народа, в котором слились черты и кровь балканских и альпийских племен, левантинцев и египтян, словом, все неразлично смешанные наносы Средиземноморья, его евроазиатских рас. Наша чистота весьма сомнительна, герр фон Тифауге, – вот истина, которую мы должны иметь мужество признать! Да, нордический ребенок проявляет все признаки умственной отсталости, но это потому, что он должен подавлять в себе глубинные взрывы жизненной энергии. Он как будто дремлет, а на самом деле вслушивается в глухой шум потайной работы в недрах своего существа, которая и диктует ему его поведение. Ни один народ не способен так, как мы, немцы, осознать существование черных, загадочных источников, что скрыто питают душу человека, помогая ему проникнуть в загадку мироздания. Этот Urinstinkt – сокровенный инстинкт – и делает из немца род сонного тупого животного, подвластного худшим заблуждениям, но он же иногда превращает его в высшее, несравненное существо, в сверхчеловека!

Мрачные записки

Несмотря на явные успехи в немецком языке, мне ясно, что я занялся им слишком поздно, чтобы говорить так же свободно, как на родном французском. Но я об этом не очень сожалею. Разрыв – даже ничтожный – между мыслью и словом, когда я думаю, говорю или мечтаю по-немецки, предоставляет мне неоспоримые преимущества. Во-первых, этот язык, чужой и оттого чуточку затрудненный, создает нечто вроде преграды между мною и собеседниками, сообщая мне тем самым странную, но весьма благотворную силу. Есть вещи, которые я не смог бы выразить на французском, – например, ругательства, откровенные признания; они легко слетают с моих уст, облеченные в грубоватые формы немецкого разговорного языка. И этот факт в сочетании с естественным упрощением высказываний (в силу недостаточного владения немецким), делает из меня гораздо более жесткого, прямого и резкого человека, чем Тиффож-франкоговорящий. Какая потрясающая метаморфоза. . . по крайней мере, для самого меня!

Немецкий язык не знает слитного произношения. И слова и даже слоги сыпятся, как камни, не размывая своих границ. И, напротив, французская фраза, произносимая слитно, нераздельно, ласкает слух своей мягкостью, однако каждую минуту грозит распасться. Ибо немецкий язык сложен из прочных частей и, подобно игрушечному конструктору, позволяет бесконечные комбинации сложных слов, каждая часть которых предельно ясна, тогда как аналогичные построения во французском мгновенно превратили бы любую фразу в вязкую кашу. Отсюда результат: немецкая фраза, энергичная и повелительная, звучит отрывистым лаем. Такой язык очень подошел бы статуям или роботам. Мы же, существа из мягкой, влажной и теплой плоти, предпочитаем нежный выговор Франции.

Поразительную аберрацию представляет род слов, который немцы присваивают что вещам, что людям. Введение среднего рода – весьма ценная выдумка, при условии, что ею пользуются, зная меру. В противном случае этот коварный прием оборачивается каким-то всеобщим извращением. Луна становится мужчиной, солнце – женщиной. Смерть обретает мужской пол, жизнь – средний. Еда у них тоже «он», зато кошка, слава Богу, «она», что вполне соответствует очевидности. Но главный парадокс, доходящий до идиотизма, это обращение в средний род самой женщины, над которой немецкий язык нагло измывается в словах *Weib, Madel, Madchen, Fraulein, Frauenzimmer**.

Самым старшим юнгштурмовцам было семнадцать-восемнадцать лет. Близость этих юношей к мальчикам младшего возраста шокировала Тиффожа с его страстной тягой к детской невинности. Их присутствие наполняло столовую, спальни, да и вообще всю школу мужским солдатским духом, который вызывал в нем отвращение и возводил прискорбный барьер между ним и Кальтенборном. Впрочем, это препятствие, столь явно мешавшее его призванию, Должно было исчезнуть в самом скором времени. Обещанное гауляйтером вооружение позволило бы обучать здесь, на месте, юнгштурмовцев призывного возраста, и Начальник школы давно лелеял эту мечту – содержать в самом Кальтенборне отряд вооруженных и натренированных молодых солдат. Однако, невзирая на его настойчивые обращения к высшим чинам, доставка

*Женщина, баба; девушка; девочка, девушка; девица, барышня; бабища (нем.).

оружия затягивалась. И вот первого марта неизбежное свершилось. Две старшие центурии – шестнадцати – и семнадцатилетних – были срочно отозваны из напoлы. Первая из них отправлялась в лагерь ускоренной военной подготовки (Wehrtuchtigungs-lager), вторая – прямо на фронт. Вместе с парнями напoлу покидали и опекавшие их десять унтер-офицеров СС.

Мрачные записки

Старшие, которых через неделю отсылают на бойню, делают зарядку во дворе, под снегом; они обнажены до пояса, в одних только сапогах и брюках, а ведь сейчас раннее утро, и мороз еще довольно крепок. Штефан решил сочетать физическую тренировку с групповой гимнастикой, для чего придумал упражнения с бревном. Взвод из двенадцати парней должен пронести, каждый на вытянутой руке, здоровенную десяти метровую балку. Они то поднимают ее, то опускают, то перекидывают с одного плеча на другое, то подбрасывают в воздух, сперва вертикально, потом вправо, где ее должен подхватить другой взвод. Малейший промах грозит любому из них проломленным черепом, оторванным ухом или вывихом плеча, но наше начальство хлебом не корми, а дай выдумать что-нибудь поопаснее.

Всем этим парнишкам от пятнадцати до восемнадцати лет; на их гладких щеках и подбородках явственно виднеются порезы от бритвы. Однако нужно честно признать, что обнаженные юношеские торсы отличаются умильной свежестью, которую еще больше подчеркивает грубость поясов, брюк и сапог. Ни у кого из них пока не растут волосы на груди; растительности не видно даже подмышками. Некоторые носят цепочки с медальонами, и это придает трогательную детскость молочно-белым шеям, зовущим скорее к материнскому поцелую, нежели к удару казацкой шашки.

Предплечье двадцатилетнего парня по обхвату и упругости сравнимо с ногой двенадцатилетнего мальчика, но не стоит обольщаться: ниже пояса этой детской чистоте – конец; там только чернота, только бесстыдная мужественность.

Через некоторое время после этого кровопускания, которое вернуло Кальтенборну его «детскую чистоту», но зато вполнину сократило ученический состав и расстроило порядок в преподавательском корпусе, Штефан собрал военный совет, где присутствовали эсэсовцы, временные гражданские учителя и Тиффож, прятавшийся за спиной Блаттхена. Отсутствие унтер-офицеров придется возместить самым активным участием школьников в хозяйственной жизни напoлы, – объявил Рауфайзен. Учеников разделят на команды для работы в кухнях, прачечной и конюшне, а также для посменного обеспечения школы дровами и продовольствием. Более сложной представлялась проблема нового набора. Кальтенборн должен был сохранить свое место среди напoл первой категории по числу пансионеров, невзирая на трудности, связанные с войной. Согласно установленному правилу, каждая напoла отбирала кандидатов во всех землях рейха, избегая отдавать предпочтение местным детям. Однако нынешняя ситуация диктовала иные, экстраординарные меры, и Начальник велел присутствующим членам отборочной комиссии прочесывать близлежащие районы в поисках мальчиков, достойных заполнить пустоты, образовавшиеся после призыва в армию двух старших центурий. Сам же он

взял на себя обязанность проводить вместе с профессором доктором Блаттхеном обследование набранных кандидатов.

Тиффожа мало волновали категория и задачи школы. Он всячески приветствовал уход из нее великовозрастных парней, утративших детские черты и потому не вызывавших у него никакой нежности; зато чрезвычайно остро ощущал тот несомненный вакуум, что образовался после их отъезда в атмосфере Кальтенборна, всегда плотно насыщенной звенящими юношескими голосами и смехом. И он страстно желал, чтобы школа вновь пополнилась новобранцами, хотя не ждал ничего путного от последнего призыва Рауфайзена. По правде говоря, он сразу понял, что призыв этот обращен через головы здешних тупых невеж именно к нему; вероятно, один только Блаттхен мог считаться более или менее «посвященным», но ведь он был одержимым, безумцем! Главное, Тиффожа знал, что наверняка придет время, когда судьба сметет с лица земли всю эту нечисть и, наконец, передаст ему заветные ключи от царства, для которого он и родился на свет.

Мрачные записки

Случилось то, чего и следовало ожидать: отъезд десятка унтер-офицеров и участие детей в материальном обеспечении напoлы внесли полный разлад в тщательно отлаженную, строго подчинявшую всех нас механику. Если не считать нескольких главных, незыблемых пунктов – переключки, церемонии поднятия флага и тому подобного, – четкое расписание жизни школы сломано, и дисциплина сильно расшаталась. Для меня этот глоток свободы неотделим от весны, которую нынче во весь голос воспевают славки и которая уже пробудила под ноздреватым снегом бормочущие ручьи. Нет, новый год начинается не 1 января, он рождается 21 марта! Какая слепота поразила человечество, когда оно вздумало отделить свой календарь от великих космических часов, управляющих сменой времен года?!

Разумеется, мне пока неизвестно, куда заведет меня начавшийся год. Но этот Блаттхен, от которого за сто шагов разит преступлением, заставляет меня содрогаться от непереносимого, мучительного предчувствия: уж не есть ли все, абсолютно все, что отвечает – или кажется, будто отвечает, – моим надеждам, моим устремлениям, *КОВАРНАЯ, ЗЛОНЕСУЩАЯ ИНВЕРСИЯ?*!

Нынче утром он написал на грифельной доске:

Живой = наследственность + окружение

Затем, ниже, добавил другое уравнение:

Быть = время + пространство

Наконец, он заключил в рамку слова «окружение» и «пространство» и обозначил их термином «большевизм». «Наследственность» же и «время», в свою очередь попали под рубрику «гитлеризм».

– Вот они, термины великой битвы XX века! – провозгласил он. – Коммунисты отрицают наследственную сущность человека. По их убеждению, все, что в нем есть, должно быть отнесено на счет воспитания. И, коли свинья не превращается в борзую, в этом повинны социальная несправедливость и воспитатели. Ха-ха-ха! Они только и смотрят в рот своему пророку – Павлову! А этот еврей Фрейд, утверждающий, что все в нашей жизни определяется счастливыми и несчастными событиями младенческих лет, идет в том же направлении, только излагает свои мысли с большей изощренностью. Это философия безродных ублюдков и бродяг,

лишенных традиций, и горожан-космополитов, утративших свои корни. Гитлеризм же, выросший на доброй старой германской почве, являет собой религию земледельцев, прочно осевших на своих местах, и блестяще опровергает все положения вражеской философии. Для нас главное заложено в наследственном багаже человека, передаваемом, согласно известным и непреложным законам, от поколения к поколению. Дурную кровь нельзя ни улучшить, ни облагородить; единственное приемлемое лекарство – уничтожение, простое и чистое уничтожение.

Заметьте, что именно аристократическая философия прежнего рейха заложила основы для нашей идеологии. Родился ли ты аристократом или простолюдином, никакие последующие заслуги не помогут тебе скрыть свое происхождение. И чем древнее род, тем более он ценен. Я охотно признаю в таких людях, как генерал граф фон Кальтенборн, предвестников нашего расизма. Но беда в том, что они не способны эволюционировать. Биология – вот что займет место Готского альманаха*. Спектр групп крови, герр Тифауге, спектр групп крови – вот оно, наше нынешнее божество! Древние гербы старой аристократии мы заменим здоровыми, полнокровными, бодро пульсирующими внутренностями – самым потайным и самым жизнестойким сокровищем человека! И это еще одна причина, по которой не следует бояться проливать кровь. Помните: наш девиз – Кровь и Земля. Они крепко связаны между собой. Кровь выходит из земли и в землю возвращается. Земля должна орошаться кровью, она зовет, она жаждет ее. И кровь благословляет и оплодотворяет землю!

Я слушал эти безумные речи и вспоминал, что сам принадлежу к роду Авеля – пастуха, кочевника, лишенного корней; и еще я вспоминал слова Иеговы, обращенные к Каину: «Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей.

С наступлением темноты все юнгштурмовцы выстраиваются на плацу тремя плотными шеренгами вокруг пустого квадратного пространства, прилегающего к крепости. В центре – низкий помост, обнесенный факелами и знаменами; он служит родом алтаря для предстоящей поминальной церемонии. По одну сторону от него – юные барабанщики со своими узкими высокими черно-белыми тамбурами у левой ноги; по другую – юные трубачи с картинно приставленными к бедру медными раструбами сверкающих инструментов; все они молча ждут сигнала.

И вот резко, пронзительно взывают трубы. Следом за ними ночь заполняет глухой рокот барабанов; их дробь грозными мрачными волнами взмывает в небеса и там, поглощенная далью, сходит на нет.

История предательства и смерти звучит в торжественно-обличительных стихопениях, поочередно исполняемых одухотворенными ребячьими голосами.

– И вот умолкли фанфары, и люди в бесчисленных колоннах благоговейно склонили головы и знамена, дабы почтить память тех, кто погиб за отчизну.

– В этот час мы вспоминаем первого солдата рейха, Альберта Лео Шлагетера.

– Шлагетер принадлежал к стародавнему крестьянскому роду из Шенау, на юге Шварцвальда. Там же покоится ныне его прах. Он ушел в армию добровольцем и был не однажды

*Сборник генеалогических сведений обо всех знатных семьях Европы, издававшийся с 1764 по 1945 гг.

ранен в боях; он сражался на Балтике, а после заключения Версальского мира служил на границе Верхней Силезии.

– Но вот на западе грянул гром, и огонь войны вновь опалил этого образцового солдата. Нарушив мирный договор, французские войска завоевывают Рур. Сопротивление, как пожар, охватывает всю область. Шлагетер сражается в первых его рядах. Вместе с товарищами, действуя умело и бесстрашно, он перерезает все коммуникации противника, чтобы лишить его подкрепления.

– Но в результате низкого предательства он попадает в руки французов!

– Мы, юные германцы, любящие свою родину, начертали на нашем знамени одно только слово – *БОЙ!* И пусть сгинет в огне всякий, кто труслив и подл! Из крови, из земли родилась наша правота. И да поглотит жаркое пламя всех сомневающихся! Уничтожим все, что прогнило и одряхлело! Избавим родину от рабства! Выкуем новую немецкую нацию! Мы, молодые, любящие Германию, начертали на нашем знамени одно только слово – *БОЙ!*

– Шлагетер не колебался ни секунды, услышав призыв своего угнетенного народа. Он был лейтенантом на фронте, командиром зенитной батареи на Балтике, преданным бойцом дела национал-социализма, предводителем партизан в Руре; он был всегда готов к высшему самопожертвованию.

*Ты видишь, восток загорелся огнем!
Мы солнце свободы в сердцах пронесем.
Так встанем же рядом, товарищ и брат!
Сомнения прочь, и ни шагу назад!
Германская кровь в наших жилах течет.
К оружию, братья! Победа нас ждет!**

– Шлагетер предстал перед военным трибуналом по обвинению в попытке взорвать мост Хаарбаха, в Калкуме, между Дюссельдорфом и Дуйсбургом. 11 января, захватив Рур, французы реквизируют все поезда – главным образом, для вывоза захваченного угля. Шлагетер решил воспрепятствовать этому грабежу, взрывая железнодорожные пути. 26 февраля генерал французской армии, дислоцированной в Руре, издал декрет, угрожавший саботажникам смертной казнью. Шлагетер был приговорен к расстрелу.

26 мая 1923 года Шлагетера под усиленным эскортом доставляют в карьер Гольцхайма, где ныне высится крест с его именем. Осужденному связывают руки за спиной и ударами принуждают опуститься на колени. Но едва он остается один перед ружейными дулами, в нем вспыхивает воспоминание об Андреасе Хофере и его: «Никогда!» И он решает умереть стоя, как и сражался. Он выпрямляется во весь рост. Роковой залп громом разбивает тишину. Несколько страшных судорог, и тело падает вперед, лицом в землю.

Там, на камнях, покоится тот, кто был подобен всем нам. Солнце угасло, и печаль терзает наши сердца перед этим прахом всех наших надежд. Господи, неисповедимы пути твои! Сей муж был отважным бойцом. Наши знамена омрачены траурным крепом; он же, прославленный своими подвигами, ушел к предкам. Мы – верные последователи этого усопшего героя. Его воля – наша воля, его судьба – наша судьба. Мы лишились его, но он навсегда останется бессмертным сыном своей отчизны, и голос его взывает к нам из глубины могилы: «Я жив!»

Вербовка детей в Кальтенборнскую школу дала весьма жалкие результаты. Измученные люди, жившие под дамокловым мечом призыва в армию и оттого уже не думавшие о завтраш-

*Перевод М. Волевича.

нем дне, о своем педагогическом долге, мало заботились о новом наборе в наполу, которую им предстояло покинуть в ближайшие же дни. Да и самой школе, по их мнению, грозило скорое закрытие. Рауфайзен, с его фанатичной верой в будущее, метал громы и молнии, проклиная их несостоятельность, а Блаттхен непрерывно жаловался на низкий антропологический уровень тех редких объектов исследования, которые к нему поступали.

В тот день Тиффож возвращался из Николайнена, куда ездил перековывать Синюю Бороду. Припозднившаяся в этом году весна сияла беспечной прелестью, вселяя в него уверенность, что в его судьбе вот-вот случится какое-то счастливое событие. Черный мерин, гордый своими новенькими сверкающими подковами, звонко цокал копытами по каменистой дороге, а Тиффож, охваченный тихой ностальгией, которая наделяла странным очарованием самые печальные и жестокие эпизоды его прошлой жизни, грезил о подкованных громотворящих сапогах Пельсенера. По ассоциации он вдруг вспомнил велосипед «Альсион», принадлежавший Нестору, о котором неизменно думал с приливом гордости, и вот тут-то, оказавшись на берегу озера Лукнен, в часе езды от Кальтенборна, он как раз и заметил шесть велосипедов, прислоненных к деревьям у самой воды. Это были типично немецкие «тяжеловозы» с рулем, воздетым кверху, на манер коровьих рогов, с педальным тормозом и притороченным к раме насосом допотопной конструкции, с деревянной рукояткой. Сквозь листву деревьев поблескивало зеркало воды и оттуда неслись звонкие ребячьи голоса, смех, крики и плеск.

Тиффож спешил, оставил Синюю Бороду пастись на цветущей лужайке и пару минут спустя одним прыжком ринулся в прохладную чистую воду, в ее живые, сверкающие бликами струи. Он рассчитал расстояние так, чтобы вынырнуть прямо посреди резвящихся мальчишек, и это ему удалось, его встретили веселыми возгласами и смехом. Ребята жили в Мариенбурге, в трехстах километрах отсюда, и воспользовались каникулами по случаю Троицы, чтобы объехать на велосипедах мазурские леса и озера. Тиффож рассказал им о Кальтенборне, о крепости с ее спортивными залами, стендами для стрельбы, манежами, лодками и оружием, расхвалил увлекательную жизнь юнгштурмовцев и пригласил поужинать и переночевать в компании сотен их сверстников.

Услышав название «Мариенбург», Рауфайзен расцвел от радости и гордости. Этот город считался исторической и духовной столицей тевтонского рыцарства; его великолепно сохранившийся замок несомненно был самым величественным архитектурным шедевром Восточной Пруссии. Именно там, в обширном оружейном зале, каждый год 19 апреля Балдур фон Ширах провозглашал в микрофон магическое заклинание, навеки отдававшее поколение юных десятилетних немцев под эгиду фюрера. Блаттхен также не смог удержаться от восторженных похвал, обследуя новоприбывших. Никогда еще ему не попадались в руки столь чистые образцы той восточно-балтийской разновидности германской расы, самым знаменитым представителем которой был Гинденбург. Он созвонился с родителями мальчиков, списался с властями их города. Больше они в Мариенбург не вернулись.

Крайне довольный столь богатым уловом, Начальник вызвал к себе Тиффожа и в беседе с ним признал, что до сих пор недооценивал заслуги француза перед школой. Тиффож доказал, что способен поставлять Кальтенборну нечто более ценное, чем сыры и мешки с бобами. Разумеется, он, Начальник, не может облечь Тиффожа никакими официальными полномочиями, но он лично просит его обследовать весь их район в поисках кандидатов, достойных зачисления в наполу. Он разошлет циркулярное письмо на сей предмет администрациям близлежащих округов – Йоганнисбурга, Лика, Лотцена, Сенсбурга и Ортельсбурга, а также и в другие, более отдаленные районы, если это понадобится. Тиффож будет отчитываться в своих действиях только ему, Рауфайзену, который оценит работу по результатам.

Блаттхен даже не успел поздравить своего ассистента с этим повышением. С недавнего

времени в верхах поговаривали о новом широкомасштабном мероприятии под кодовым названием «Операция «Сенокос», затеянном по инициативе самого рейхсфюрера СС. Речь шла об отборе и отправке в Германию, в специально подготовленные для этой цели селения, сорока-пятидесяти тысяч детей от десяти до четырнадцати лет, коренных жителей Прикарпатской Украины, занятой группой армии Центр. Однако министр восточных оккупированных территорий Альфред Розенберг в который раз продемонстрировал самое упорное непонимание замысла этой чисто эсэсовской операции; он заявил, что столь малолетние дети будут для рейха скорее обузой, нежели эффективной рабочей силой, и предложил набирать подростков пятнадцати-семнадцати лет. Тщетно эмиссары Гиммлера разъясняли ему, что идея заключается не в банальной поставке рабочих рук, но в «переливании крови» между двумя сообществами, имеющем целью ослабить на биологическом уровне, раз и навсегда, живые силы славянского соседа немцев, – Розенберг и слушать не желал. Пришлось действовать в обход его министерства.

Вот тут-то руководители рейха и вспомнили про Отто Блаттхена и его блестящие заслуги в деле со ста пятьюдесятью еврейски-большевистскими головами. Вне всякого сомнения, глубокие познания профессора в области расоведения должны были принести богатые плоды и в данных обстоятельствах.

Итак, 16 июня Блаттхен распрощался с Командором и Начальником, разместил своих драгоценных золотых рыбок – *Cyprinopsis auratus* – в запечатанных бидонах и отбыл из Кальтенборна, проклиная посланный за ним тесный «опель», не позволивший увезти весь его объемистый багаж. На следующий же день Тиффож, с разрешения Начальника, перебрался в три комнаты «Расоведческого центра».

Водворившись туда единственным хозяином «лаборатории» и оказавшись среди разбросанного антропологического оборудования, второпях оставленного профессором доктором штурмбаннфюрером Блаттхеном, Тиффож разразился безумным нервным смехом, в котором смешивались торжество победителя и тайный страх перед этим новым поворотом его судьбы.

Мрачные записки

Сегодня вечером колонны юнгштурмовцев молча разошлись в разные стороны, растаяли в теплой душистой мгле, чтобы зажечь костры летнего солнцестояния на Зеехохе, на берегах озера Спирдинг, за озером Тиркло, словом, всюду, откуда можно увидеть огни других отрядов.

В этом празднике солнца заложена какая-то тайная грусть. Только что народившееся лето, едва дав людям отпраздновать свою середину, сразу начинает клониться к закату, – о, разумеется, совсем незаметно, еле-еле, и все же убывая каждый день на одну-две минуты. Так ребенок, в полном расцвете здорового детства, уже носит в себе семена будущего старческого угасания. И, напротив, Рождество, этот холодный антипод лета, празднует ликующую тайну возрождения Адониса в самое мрачное и непогожее время зимы.

Юнгштурмовцы окружают костер квадратом, открытым с той стороны, куда ветер уносит искры и дым. Самый младший из мальчиков выходит из шеренги и направляется к костру. Он держит в руке зажженную лучинку; ее невесомый беспокойный огонек так мечется и трепещет, что все мы затаиваем дыхание, боясь, как бы он не погас до того, как маленький огненосец выполнит свою миссию. Искорка и в самом деле исчезает, когда ребенок опускается на колени перед сооружением из

смолистых стволов с торчащим наружу валежником. Вспыхнувшее пламя с яростным треском вырывается наружу, заставив мальчика отпрыгнуть подальше; сумрак, расцвеченный пляшущими багровыми сполохами, пронизывают чистые голоса:

Как искры сбиваются в буйное пламя, Так станет единою наша страна. Священный огонь, что взвоется над нами, Врагов уничтожит, воздав им сполна.

Шеренги распадаются, и каждый подходит к костру, чтобы зажечь от него свой факел. Затем дети опять строятся в каре, теперь уже ярко озаренное десятками пляшущих огней.

В мрачных вечерних далях вспыхивают факелы других отрядов; их приветствует взволнованный речитатив:

– Взгляните, как яростен порог, что отделяет нас от тьмы! За ним рождается заря счастливой новой эры. Двери грядущего распахнуты для тех, в чьем сердце горит огонь любви к отчизне. Взгляните на сияющие искры, что будят к жизни темную уснувшую землю! Древняя трагическая Мазурия откликается на наш призыв и пылает тысячами братских огней. Они сулят и приближают самый светлый день года.

Трое юнгштурмовцев, каждый с венком из дубовых листьев в руках, также подходят к костру.

– Я посвящаю этот венок памяти павших на войне.

– Я посвящаю этот венок делу национал-социалистической революции.

– Я посвящаю этот венок будущим жертвам, на которые немецкая молодежь с восторгом пойдет ради победы нашей родины.

Им вторит дружный хор всех остальных:

– Мы есть огонь, мы есть костер. Мы – пламя и его искры. Мы – свет и тепло, побеждающие мрак, холод и сырость.

Наконец, сооружение из пылающих стволов с треском обрушивается, подняв целый рой искр, и плотное каре юнгштурмовцев тоже дробится на части. Дети окружают костер и поочередно прыгают через пламя.

На сей раз объяснения не нужны, смысл этой церемонии предельно ясен. В ней неразлично слились жизнь и смерть и, заставляя детей одного за другим бросаться в огонь, она тем самым воплощает в себе дьявольский обряд истребления невинных, к которому мы идем с ликующими песнями.

Я был бы сильно удивлен, если бы Кальтенборну удалось отпраздновать следующее летнее солнцестояние.

С той поры Тиффожа на его рослом черном коне неизменно видели в разъездах по всей Мазурии, от верховьев Кенигсхохе на западе до Ликских болот на востоке; случалось ему забираться и далеко на юг, чуть ли не к польской границе. Пользуясь сопроводительным письмом с гербом Кальтенборна, он смело входил в мэрии, обследовал коммунальные школы, говорил с учителями, присматривался к детям, а под конец наведывался к родителям мальчиков, каковой визит, со смесью заманчивых обещаний и завуалированных угроз, почти всегда увенчивался согласием отдать сына в напалу. Затем он неспешно возвращался в Кальтенборн и докладывал Рауфайзену о достигнутых успехах, которые тот своим решением претворял в

свершившийся факт. Но иногда Тиффож сталкивался с более или менее явным сопротивлением, трудно преодолимым в этих краях, омраченных близким разгромом, однако именно такую, ускользающую из рук добычу он ценил превыше всего и охотился за ней особенно рьяно.

Так, однажды он очутился на дальнем берегу озера Бельдам, которое длинным, узким, извилистым зеленым языком углублялось в пески Йоганнисбурга; там он заприметил пару мальчиков-близнецов, живших с родителями в убогой рыбацкой лачуге. Тиффожа всегда чаровал сам феномен двойства, которое, чудилось ему, черпает свою жизненную силу в тех темных безднах, где плоть диктует свои законы душе, подчиняя ее собственным прихотям. Он пытался постичь этот каприз природы, наделяющий – добровольно или насильно – одно существо всеми тайными и явными признаками другого, самого близкого, делая, таким образом, из первого alter ego второго. Вдобавок, Хайо и Харо были оба рыжие, как лисята, белокожие и такие веснушчатые, словно их вывалили в отрубях. Увидев, как они собирают камыш на берегу озера, Тиффож тотчас вспомнил ту смутившую его теорию, что некогда развивал перед ним Блаттхен (вспомнил и тут же с яростным возмущением отверг ее!), согласно которой на свете существуют всего две человеческие расы: рыжих – порочная до мозга костей, на клеточном уровне, и блондинов с брюнетами, с бесконечным набором оттенков того и другого цветов.

Вопреки его ожиданиям, вербовка близнецов натолкнулась на пассивное, но почти неодолимое сопротивление родителей. Они долго притворялись, будто не понимают немецкого (между собой они говорили на каком-то славянском диалекте), реагируя на все разъяснения Тиффожа с тупостью деревенских дурачков; потом начали твердить, бесконечно повторяя одни и те же слова, что двенадцатилетним мальчикам еще рано идти в солдаты. Напрасно Тиффож объезжал все окрестные деревни: чиновники тамошних мэрий, не испытывая никакого желания вникать в это малопонятное дело, все, как один, отрицали, что район озера принадлежит их коммуне. Пришлось самому Рауфайзену, по наущению француза, обратиться в администрацию округа Йоганнисбург, и в результате мэр лично доставил близнецов в Кальтенборн.

Мрачные записки

Из телефонного разговора я узнал, что мы все-таки заполучили близнецов к нам в школу. Машина Йоганнисбургской комендатуры везет их в Кальтенборн. Через час они будут здесь.

Тотчас мною овладело возбуждение, слишком хорошо мне знакомое по прежней жизни. Оно выражается в судорожной дрожи, сотрясающей все мое тело и, особенно сильно, челюсти. Я, как могу, борюсь с этим титаническим припадком, во время которого громко клацают зубы, а изо рта струйками брызжет слюна; чисто инстинктивно противлюсь ему, но вскоре сдаюсь и уступаю чувству, имя которому – предвкушение невыносимого счастья. Я даже спрашиваю себя, не есть ли это ожидание пока еще отсутствующей, но уже попавшей в плен добычи самым щедрым подарком, который преподносит мне жизнь.

А вот, наконец, и они! Грузный «мерседес» крайсляйтера заворачивает во двор и тормозит у входа. Близнецы по очереди выбираются из машины, до того похожие, что чудится, будто один и тот же мальчишка дважды пригибает голову и спрыгивает на брусчатку. Но нет, – они оба здесь, стоят рядышком, одинаково затянутые в черные вельветовые штаны и коричневые рубашки с поперечной полосой – форменную одежду «гитлерюгенда», которая еще сильнее подчеркивает мелочно-белый

цвет их кожи и апельсиновую рыжину волос.

Вот уже много недель я размышляю над своей неодолимой тягой – не к этой конкретной паре близнецов, но к самому факту двойства вообще. Феномен этот, несомненно, есть лишь частичное воплощение закона, в силу которого четыреста юных воспитанников Кальтенборна вместе образуют единообразную массу, несравнимую по плотности с той, что представляло бы простое арифметическое сложение их личностей. Ибо в данной общности многочисленные и столь непохожие друг на друга подростки почти полностью утрачивают свою индивидуальность, превращаясь в голую, слепленную воедино толпу. А ведь индивидуальность – иными словами, дух – пронизывает плоть, делая ее невесомой, легкой, трепещущей; так дрожжи вздымают и одухотворяют тесто. Стоит ей стереться, и тотчас телесная оболочка человека вновь обретает, вместе с первозданной чистотой, и первозданную грубую тяжесть.

В этом процессе обездушивания плоти близнецы идут еще дальше людей обыкновенных. Проблема заключается даже не в тон противоречивом смешении, где души могли бы уравниваться, нейтрализовать одна другую. На самом деле, у этих двух тел есть всего лишь один, общий концепт, помогающий им и разумно одеваться и проникаться духовностью. И они расцветают со спокойным бесстыдством, демонстрируя свою нежную телесную белизну, свой розовый пушок, свою мускулистую или вялую пульпу в невинной, животной, *НЕПРЕВЗОЙДЕННОЙ* наготе. Ибо нагота – не состояние, она – количество, и как таковая бесконечна в своем праве, хотя и ограничена на деле.

Обследование близнецов, немедленно, по их приезде, проведенное в лаборатории, подтвердило все вышесказанное. Хайо и Харо относятся к так называемому лимфатическому типу людей – одышливых, медлительных, рыхлых. Брахицефальные головы (90,5), широкие лица с выступающими скулами, заостренные, как у фавнов, уши, приплюснутые носы, редко посаженные зубы, зеленые, чуточку раскосые глаза. В общем, слегка *ЗВЕРИНЫЙ* облик сонного и, в то же время, хитрого, настороженного существа, отмеченного весьма скромными мыслительными способностями, над которыми явно преобладает сильный первобытный инстинкт. Хорошо? уравновешенные, крепко стоящие на ногах тела. Округлые плечи, мягко очерченные грудные мышцы; под кожей явно больше жира, чем мускулов. Реберный угол, напоминающий очертаниями вешалку, довольно широк; ему соответствует ширина таза, где надлобковая борозда смыкается в центре с перевернутым цветком лилии – половым членом. Между этими двумя симметричными дугами ясно прорисовываются три выпуклости брюшного пресса – удивительно четкие для тел, затянутых жиром в других местах. Широкий затылок переходит в мясистую шею и спину, белую и округлую, точно вылепленная из теста коврига; она разделена пополам позвоночной впадиной, теряющейся внизу между чрезмерно выпуклыми ягодицами. Руки с короткими квадратными пальцами и мускулистыми ладонями. Тяжелые ноги с топорными лодыжками; широкие колени с плоскими чашечками, которые легко выгибаются внутрь, заставляя колыхаться мясистую переднюю часть ляжки, чрезмерно выдающуюся вперед, над всей ногой.

Россыпь веснушек на молочно-белой коже собирается то в крупные пятна, то в полосы, то в целые потоки; даже предплечья и затылки покрыты этими рыжеватыми разводами, похожими на материк с выцветших географических карт. На внутренней стороне ляжек сквозь кожу просвечивает правильная, точно невод, се-

точка тоненьких лиловатых прожилок. . .

Мрачные записки

Беглый осмотр близнецов, который я осуществил сразу же после их приезда, со страстным нетерпением истинного коллекционера, не выявил самого существенного – чуда из чудес, которое бросилось мне в глаза только нынче утром, ослепив счастьем подлинного открытия.

Я увлекся довольно бесполезной игрою, состоявшей в настойчивом поиске признаков, позволивших бы различать мальчиков. По правде говоря, различие это существует, и несколько дней спустя я уже научился с первого же взгляда отличать Харо от Хайо. Однако различие это зиждется не столько на каком-то определенном признаке, сколько на общем облике ребенка, его жестах, походке, манере поведения. Для Харо типична некоторая порывистость и четкость движений, которой лишена замедленная, как бы заторможенная моторика Хайо. Сразу видно, что в этой паре инициатива принадлежит Харо, что верховодит именно он, зато Хайо очень хорошо умеет противостоять своему слишком близкому и слишком живому брату с помощью сонной неторопливости и всяческих оттяжек. :

Что же касается точного отличительного признака – антропометрического, формулируемого в научных терминах, – то я отыскал и его, но на значительно более тонком, абстрактном, духовном уровне, нежели тот, на котором я ранее блуждал вслепую. Я уже давно заметил любопытную вещь: если мысленно разделить ребенка на две половины вертикальной линией, проходящей по горбинке носа, то правая и левая части, в целом похожие, тем не менее, будут различаться множеством мелочей. Ребенок словно состоит из двух половинок, отлитых в одной форме, но одухотворенных разными реалиями: левая обращена в прошлое, к рефлексии, к эмоциям; правая – в будущее, к действию, к агрессии, и срастаются они как бы на последней стадии создания. На противоположном полюсе тела есть так называемый «шов» – узенькая выступающая полоска темной сморщенной кожи, что тянется от нижнего края ануса по середине промежности! и мошонки до самого кончика пениса; она также, только еще более зримо и откровенно, наводит на мысль о том, что мальчик слеплен из двух заранее изготовленных половинок, на манер раковины или целлулоидного голыша.

Итак, вот он – чудесный феномен, достойный того, чтобы попасть в анналы науки: мною неоспоримо установлено, что левая половина Харо полностью соответствует правой половине Хайо так же, как правая половина первого из братьев абсолютно подобна левой половине второго. Они – **ЗЕРКАЛЬНЫЕ** близнецы, сопоставимые лицом к лицу, а не лицом к спине, как все прочие. Я всегда уделял самый пристальный интерес процессам инверсии, пермутации, низложения; в молодости фотография послужила мне прекрасной иллюстрацией этого феномена, только в области воображаемого. И вот теперь я нахожу полное воплощение той же, неотступно преследующей меня темы в этих двух детских телах!

Я усадил их обоих перед собой и принялся изучать с тем ощущением нераскрытой тайны, которое неизменно посещает меня при виде нового лица или тела; однако на сей раз я почему-то не испытывал обескураживающей уверенности в

том, что их лица, в ответ на мой настойчивый взгляд, обратятся в застывшие, непроницаемые маски, – напротив, меня согревало скрытое предчувствие скорой удачи. И вдруг я заметил, что прядь волос надо лбом, завивавшаяся у Харо по часовой стрелке, обращена в противоположную сторону у Хайо. Этот первый, слабый проблеск догадки тотчас помог мне увидеть другое: маленькую не то отметину, не то родинку на правой щеке у Харо и на левой – у Хайо. И все же самым поразительным из открытий, которые тут же хлынули на меня целым потоком, оказался рисунок их веснушек, также зеркально-похожий.

Я позвонил в Кенигсбургский институт антропологии, с которым прежде часто связывался по распоряжению Блаттхена, и сообщил о своем открытии. Мне тотчас подтвердили факт существования зеркальных близнецов – феномен, как было сказано, довольно редкий и возникающий в результате деления не *ab initio*, то есть, не на уровне клетки, а на более поздней стадии, когда эмбрион уже расчленяется надвое. Мне обещали приехать взглянуть на близнецов, когда подойдет очередь обследовать наш район.

В июле юнгштурмовцы наконец-то получили в подарок великолепную игрушку, которую им обещали много месяцев назад, – зенитную батарею, состоявшую из двух пар тяжелых пулеметов, четырех более легких «двухсантиметровок» для стрельбы очередями – от двухсот до трехсот выстрелов в минуту, одной зенитки 3,7 и, главное, трех пушек 10,5 для стрельбы на большую дистанцию. Кроме того, прибыл локатор, и теперь, для полного комплекта противовоздушной обороны, не хватало только набора прожекторов. Батарею разместили и закамуфлировали в сосновой роще на холме вблизи деревни Дроссельвальде, в двух километрах от крепости; отсюда можно было, в случае необходимости, взять под обстрел дорогу в Арис, если вдруг по ней двинется неприятель с востока. Четыре отряда, набираемых из разных центурий, по очереди обслуживали батарею под руководством двух офицеров-инструкторов.

Незамедлительно начались учебные стрельбы; они усеивали небосвод белыми облачками разрывов, постоянно напоминавших своим победным грохотом о близости войны; даже над крышами замка время от времени со свистом пролетал снаряд. Тиффож регулярно доставлял дежурным отрядам сухой паек. Иногда мальчишки беспечно носились по лесу или в одних плавках загорали на солнышке, а иногда он заставлял их «за делом», в касках с фетровыми наушниками, приглушавшими грохот стрельбы; они суетились вокруг изрыгавших огонь и вой орудий, захлебываясь от восторга и сожалея только об одном: ни один вражеский самолет до сих пор не показался в небе, чтобы послужить им живой мишенью.

Мрачные записки

Какой бы шокирующей ни казалась на первый взгляд тесная близость войны и ребенка, отрицать ее было бы бессмысленно. Один вид юнгштурмовцев, в счастливом опьянении обслуживающих и кормящих этих чудовищных огненных идолов, что воздевают над деревьями свои стальные головы, – вот самое убедительное подтверждение этого родства. И в самом деле, маленький мальчик требует себе для игры в первую очередь ружье, саблю, пушку, оловянных солдатиков и другие «орудия убийства». Вы скажете: он всего лишь подражает взрослым, а я как раз думаю, не справедливо ли обратное; ведь, в общем-то, взрослые воют куда реже,

чем ходят в контору или на завод. И не начинается ли война с одной-единственной целью – позволить взрослым *ПРЕВРАТИТЬСЯ В ДЕТЕЙ*, с облегчением вернуться к возрасту игрушечных пушечек и солдатиков? Устав от тяжких обязанностей начальника отдела, супруга и отца семейства, взрослый человек, будучи мобилизованным, сбрасывает с себя эту надоевшую ношу вместе с деловыми и прочими качествами и свободно, беззаботно развлекается в компании сверстников, управляясь с пушками, танками и самолетами, которые суть не что иное, как *УВЕЛИЧЕННЫЕ ПОДОБИЯ* игрушек его детства.

Но трагедия заключается в том, что подлинный возврат к детству невозможен. Взрослый хватается за детские игрушки, но он уже давно утратил инстинкт игры, ее естественного развития, придающий детским забавам их неповторимый смысл. В его огрубевших руках они принимают чудовищные пропорции злокачественных опухолей, пожирающих людскую плоть и кровь. Убийственная *СЕРЬЕЗНОСТЬ* взрослого прочно заступила место прелестной детской *СЕРЬЕЗНОСТИ ИГРЫ*, и тщетно он будет пытаться подражать ей, ибо первая – всего лишь искаженный, переродившийся образ второй.

Так что же произойдет, если теперь дать ребенку эти гипертрофированные игрушки, задуманные и изготовленные кем-то с противоестественной, злодейской целью? А произойдет то, чему служат наглядным примером вот эти высоты над Дроссельвальде, а с ними и Кальтенборнская напола, и весь рейх: фория, определяющая идеал отношений между взрослым и ребенком, самым чудовищным образом устанавливает отношения ребенка со взрослой игрушкой. Он больше *НЕ НОСИТ* ее, не тащит, не волочит за собой, не опрокидывает, не катает, как положено обращаться с фиктивным предметом, попавшим в разрушительные детские руки. Теперь, напротив, сами эти игрушки несут ребенка, поглощенного чревом танка, запертого в турели самолета или во вращающейся башенке зенитной батареи.

Впервые я касаюсь здесь явления, несомненно, в высшей степени значительного, которое можно назвать «разрушением фории посредством злонесущей инверсии». В общем, логично было предположить, что эти две фигуры моей символической механики рано или поздно вступят во взаимодействие. И новая фигура – плод этого союза – явит собой некий вид *ПАРАФОРИИ*, – я подчеркиваю: именно «некий», ибо ясно, что где-то наверняка имеются и прочие разновидности этого феномена отклонения от нормы.

Итак, моя система пополнилась еще одним элементом. Я пока еще не постиг всех его аспектов; нужно посмотреть, как он будет действовать и проявлять себя в различных контекстах, и тогда уж измерить и оценить его значение.

Вторая неделя июля ознаменовалась редкой по силе грозой, которая разорила весь район и едва не окончилась трагедией для Кальтенборна. В тот день тяжелая, удушливая, насыщенная электричеством атмосфера побудила Начальника устроить водные игры на озере Спирдинг. Сто маленьких парусных лодок, по четверке юнгштурмовцев в каждой, бороздили озеро в поисках «документов» в запечатанных пронумерованных бутылках, разбросанных на многие километры по всей акватории. Требовалось набрать как можно больше бутылок, а затем, пользуясь отдельными, фрагментами текста, найденными в каждой из них, расшифровать и восстановить его целиком. Любо-дорого было смотреть, как легкие беленькие ялики, подгоняемые все крепчавшими порывами раскаленного ветра, искусно лавировали, уклоняясь друг

от друга, и как мальчишки, свесившись за борт, на всем ходу, выхватывали из воды очередную бутылку, с ключом к шифру. В пять часов дня небо внезапно почернело, и ураганный ветер поднял сильную волну. Начальник тотчас отдал приказ идти к берегу. За исключением четырех лодок, которые опрокинулись, не причинив, впрочем, особого вреда своим гребцам, все суденышки подошли к причалу, и мальчики опрометью кинулись в ангары, спасаясь от налетевшего буйного ливня. Только тут и заметили, что отсутствует экипаж лодки из 3-й центурии. В свинцовом сумраке, за сплошной стеной яростно хлеставшего дождя разглядеть ничего было нельзя. Начальник распорядился обзвонить все прибрежные деревни, а озеро тщательно обследовать на катере. Но поиски оказались напрасными, хотя и продлились до следующего утра, осветившего вновь спокойные, хотя, увы, и пустынные воды озера.

Тиффожу пришла в голову мысль обыскать ненаселенные прибрежные места с помощью одиннадцати живших в замке доберманов. Псы, привычные к близости и запаху детей, рванулись вперед с ликующим разноголосым лаем; за ними с трудом поспевал сам Тиффож на Синей Бороде. В конечном счете именно собаки и разыскали четырех мальчишек, живых и невредимых, но совершенно закоченевших, в расщелине скалы, о которую разбился их ялик.

Тиффож не преминул воспользоваться результатами этого опыта. Поскольку собаки знали юнгштурмовцев и умели их разыскивать, отчего бы не обратить этот инстинкт на поиски любого другого мальчишки того же возраста и тех качеств, что требовались для зачисления в напалу?! Он попробовал брать псов в свои рекрутские экспедиции и быстро убедился в эффективности этого замысла. Едва попав в деревню, доберманы рассыпались меж домов и палисадников, и, когда они с яростным лаем делали стойку перед дверью, у забора или под деревом, почти всегда оказывалось, что для вербовщика тут найдется интересный экземпляр. К тому же Тиффож стал носить с собой длинный охотничий хлыст и набивать карманы обрезками сырого мяса; таким образом, он в совершенстве выдрессировал псов, наказывая за промахи и поощряя за удачные находки. Сей неожиданный вклад в дело набора кандидатов оказался тем более ценным, что летние каникулы, а также почти поголовная мобилизация учителей опустошили школы, рассеяв детей по окрестностям, и одному человеку за ними было не угнаться. Правда, некоторая опасность таилась в самом жестоком и красочном зрелище, какое представляли собой в глазах населения черные, свирепо рычащие псы и всадник с мрачным темным лицом на рослом коне цвета ночи. Конечно, временами эта страшноватая картина, наводя робость на людей, могла давать хорошие результаты, но бывало и наоборот, когда приходилось сталкиваться с жестоким отпором; так случилось и в тот памятный день 20 июля.

Предыдущая неделя оказалась богата уловом, и Тиффож возвращался из деревни Эрленау, где добился того, чтобы местные мальчишки 1931 года рождения были представлены Начальнику. Он неторопливо ехал через лесопосадки, как вдруг прямо у него над ухом просвистела пуля, и тоненькая березка, с которой он поравнялся, рухнула, срезанная выстрелом. Миг спустя он услышал убегающие шаги. Синяя Борода резко отшатнулся, едва не сбросив хозяина наземь. Первой мыслью Тиффожа было пуститься вместе с собаками на поиски стрелявшего, но найти его значило подставить себя под вторую пулю и потом, что он будет делать, оказавшись лицом к лицу с виновным? Он пришпорил коня и вернулся в Кальтенборн, твердо решив не говорить никому ни слова об этом нападении.

Он уже спешил во дворе крепости, когда Начальник, выглянув из окна, знаком позвал его к себе и протянул лист грубой бумаги, на котором с помощью гектографа был неуклюже оттиснут следующий текст:

«Это предупреждение относится ко всем матерям, живущим в районах Геленбурга, Сенсбурга, Лощена и Лика! *БЕРЕГИТЕСЬ ЛЮДОЕДА ИЗ КАЛЬТЕНБОРНА!* Он похищает ваших сыновей. Он рыщет по нашим землям и ворует мальчиков. Если у вас есть дети, думайте, думайте каждую минуту о Людоеде, ибо он каждую минуту думает о них! Не отпускайте детей одних далеко от себя. Научите их убегать и прятаться при виде великана на синем коне, со сворой черных псов. Если он придет к вам в дом, не бойтесь его угроз, не поддавайтесь на его обещания. Матери, запомните только одно: если Людоед унесет ваше дитя, вы его больше *НИКОГДА* не увидите!»

Незадолго до своего отъезда Блаттхен почти безразлично сказал Тиффожу: «Мне тут рассказывали о сыне углежого из Николайненского леса. У него будто бы белоснежные волосы, сиреневые глаза и горизонтальный цефалический индекс, близкий к 70. Вам следовало бы поехать взглянуть на этого мальчика. Его зовут Лотар Вустенрот. Родители упорно не отвечают на наши вызовы».

Тиффож впервые попал в этот район, самый бедный в кантоне, да еще вдобавок и труднодоступный. Ему пришлось перебираться через длинную старицу на ветхом паромчике, которым управлял зобастый и явно глухой, как пень, но вполне жизнерадостный «капитан». Синяя Борода, пометавшись по берегу, наконец, отчаянным броском вспрыгнул на скользкие бревна парома, едва не свалившись в воду. Зобастый включил маленький мотор, чье прерывистое тарыхтение эхом разнеслось по тихим берегам. Во время этой короткой переправы лошадь, испуганно выкатив глаза, беспокойно озиралась и била передними копытами в бортик. Тиффож припомнил слова Блаттхена, когда увидел черных с головы до ног людей, что суетились на лужайках вокруг пылающих угольных ям, таких огромных, что невольно напрашивалось сравнение со сказочным царством гномов. Он опросил почти всех углежогов, назвав имя Вустенрота. Люди разводили руками и упорно выказывали недоумение; наконец, один из них неохотно указал на восток: там, в пяти-шести километрах отсюда, находилась нужная Тиффожу местность под названием Баренвинкель.

Тиффож погнал коня через обширные вырубki и редкие лесопосадки, перешедшие в лиловато-желтые ланды и песчаники, где Синяя Борода еле-еле передвигался судорожными скачками, то и дело увязая по самые бабки. Дальше опять потянулся угольный лес с выжженными ямами, корчевьями и широкими прогалинами, где свет костров болезненно ранил глаза, привыкшие к зеленому полумраку чащи. Первым, кого вспугнуло появление незнакомца, оказался ребенок – по крайней мере, судя по его росту, это был не взрослый; в остальном он был одет так же, как и все прочие – в нечто вроде мешка с прорезью для головы да в ветхие штаны. Тиффож собрался было задать вопрос, но тут же понял, что это излишне. Мальчишка поднял к нему перепачканное сажей лицо, и на этой черной маске сверкнули нежно-сиреневым цветом анемона детские глаза.

– Лотар Вустенрот! – произнес Тиффож, не то спрашивая, не то утверждая.

Мальчик не выказал никакого удивления, разве что анемоны на черной маске заблестели еще ярче. Он просто неторопливо стащил с головы шерстяную шапочку, обнажив гладкую литу массу серебристо-белых волос.

Тиффож заранее приготовился к сложным и, скорее всего, неудачным переговорам. Опыт подсказывал ему, что набор в юнгштурмовцы проходит тем труднее, чем ниже социальный уровень кандидата. Если крупная буржуазия буквально дралась за места в наполе для своих отпрысков, вербовка в рабочих и крестьянских семьях – наиболее желанных для руководства

молодежными организациями – неизменно наталкивалась на испуганное, а то и откровенно враждебное сопротивление. Но, к величайшему его восторгу, чета Вустенротов моментально согласилась на все условия. Они так охотно пошли ему навстречу, что он, наконец, усомнился, вправду ли они уяснили себе суть дела. Во избежание недоразумений, он повел их в мэрию ближайшей коммуны – Варнольда, где секретарь подробно растолковал родителям все сказанное Тиффожем, а потом и записал это, черным по белому.

Возвращаясь в Баренвинкель, Тиффож не помнил себя от счастья, ибо в последний момент было решено, что он нынче же вечером заберет Лотара в Кальтенборн, и ему уже представлялось, как он скачет на коне в победном пламени заката, укрывая под просторным плащом дитя с сиреневыми глазами и белыми волосами. Но ему очень скоро пришлось отказаться от этой заманчивой перспективы, ибо в его отсутствие Лотар покинул деревню. Люди видели, как он шел в сторону Варнольда, и решили, что он, помывшись и приодевшись, догоняет родителей и незнакомца. Мальчика так и не нашли, и поздним вечером Тиффож поневоле вернулся в Кальтенборн с пустыми руками и сердцем, переполненным обидой и негодованием.

Было условлено, что Варнольдская мэрия станет поддерживать постоянный контакт с Вустенротами и, как только Лотар вернется к родителям, тотчас же сообщит об этом в Кальтенборн. Тиффож закрепил за мальчиком вакансию в наполе, определил ему место в одной из центурий, а также в столовой и дортуаре; даже начал подбирать комплект посуды, белья и одежды, не забыв при этом кинжал, который вручался новичкам в торжественной обстановке. Но шли дни, и на все его телефонные запросы из Варнольда отвечали либо невнятными обещаниями, либо уклончивым молчанием. Однако вместо того, чтобы поставить крест на этом деле, Тиффож, как ни странно, укрепился в доверчивом ожидании. Исчезновение Лотара, в отличие от любого другого события его жизни, не могло быть делом случая. Разочарование уязвило Тиффожа так остро и болезненно, будто чья-то гигантская рука на его глазах прорвала пелену облаков и прямо из-под носа похитила ребенка с сиреневыми глазами. Он знал: если Лотар ускользнул от него в тот злосчастный день, значит, его поступление в Кальтенборн имело слишком большое значение; потому-то судьба и окутала его туманом столь загадочных обстоятельств.

Тиффожу пришлось ждать до конца августа, пока обстоятельства эти, соединившись вместе, не вознаградили его терпеливое и страстное желание. В тот день одна из центурий переправилась через озеро, чтобы провести в Йоганнисбургском лесу нечто вроде охоты с гончими, которая обычно завершалась триумфальным возвращением маленьких парусников с богатой добычей – оленями и косулями, чьи свесившиеся за борт головы бороздили кончиками рогов поверхность воды. Во время охоты дети, сопровождаемые на восточном фланге Тиффожем, Синей Бородой и доbermanами, прочесывали кустарник и чащу, оттесняя к берегу всю поднятую дичь. У них не было огнестрельного оружия, только дубинки и кинжалы, да еще великое множество лассо и сетей. Численность и ловкость юных охотников компенсировали им недостаток опыта, а необыкновенное изобилие дичи, расплодившейся за долгие военные годы, делало эти веселые импровизированные облавы крайне успешными. Однако нынче утром подлесок был спокоен и безмолвен; отсутствие мелкой дичи указывало на близость какого-то крупного зверя, затаившегося в овраге или в кустах. Облава длилась уже целый час, ничем особенным не радуя участников; наконец, им выпало развлечение в виде крупного тетерева, сидевшего на ветке граба и шумно, хлопотливо взлетевшего при появлении людей. Метко пущенная дубинка сбила его прямо на лету; птица рухнула в заросли и собралась было скрыться, но один из подросевших доbermanов прикончил ее на месте. Тетерев был великолепен, размерами с большого индюка; его привязали к шесту, который потащили двое мальчиков.

Загонщики уже подходили к берегу озера, где обычно кончалась облава, как вдруг совсем рядом, в кустах, послышался дробный топоток копыт. Тиффож прикрикнул на собак, веля им замолчать, и тут его внезапно заинтриговало поведение Синей Бороды: конь стоял в напряженном ожидании, наострив уши, прерывисто дыша и подергиваясь. Миг спустя раздался дикий крик и началась азартная погоня за оленем и двумя сопровождавшими его самками. В воздухе свистели лассо, мальчишки со всех ног гнались за тремя ускользавшими от них беглецами. Скоро Тиффож потерял ребят из вида и перестал слышать их голоса. Пригнувшись к шее коня, он, как мог быстро, продвигался следом, ориентируясь на отдаленный лай собак, также умчавшихся вперед.

Первые часы погони разворачивались, словно красивая, безобидная игра. Оленья семья огромными гибкими прыжками уходила от преследования, за ней по пятам неслась сплоченная, как пальцы на руке, собачья свора; звонкий, голосистый лай одиннадцати разгоряченных глоток разносился по всей округе, заменяя собой охотничий рог. Тиффож ослабил поводья, и Синяя Борода без понуканий, азартно, всей своей массой ломился сквозь кустарник, топтал ивняк и папоротники, яростно бил всеми четырьмя копытами при виде любого препятствия на своем пути, будь то овраг, поваленное дерево или изгородь. Тиффожу все время приходилось нагибаться, чтобы уберечь голову от хлещущих еловых лап или от удара о низкий дубовый сук. Большое, разгоряченное, все в пене конское тело, чей бешеный ритм скачки передался и ему самому, излучало такую мощную, такую непобедимую силу, что всаднику осталось только слепо и доверчиво подчиниться ей.

Тиффож догнал свору на берегу узкой старицы в тот миг, когда олень почти переплыл ее, высоко, как канделябр, держа над водой свою царственную голову. Обе лани куда-то исчезли, и Тиффож с удовольствием отметил, что собаки не польстились на эту второстепенную добычу. Олень уже выбрался на противоположный берег, когда псы в свою очередь разом кинулись в воду, найдя место помельче; за ними вброд перебрался и конь. И погоня возобновилась под неистовый рев черных демонов с налитыми кровью глазами, мчавшихся бок о бок по все более редющему лесу. Тиффож снова потерял псов из вида, когда они, с ходу проскочив распаханый клин, скрылись в молодом орешнике. Перелесок, за ним еще один, потом заросшие дроком поляны, сиреневые ланды, песчаники, изрытые кроличьими норками, – все это собаки миновали с оглушительным лаем, как вдруг Тиффож понял, что гонка кончилась, – видимо, загнанный олень встал и повернулся к своим преследователям; свора по-прежнему не смолкала, но теперь, казалось, ее голоса звучат иначе – более звонко, но, одновременно, более свирепо и вразной. Это уже был не слаженный хор, сопровождавший трудную и прекрасную погоню за добычей; это была песнь смерти, прелюдия к закланию жертвы.

Тиффож подстегнул Синюю Бороду, который перешел было на рысцу, словно и он понял, что собаки остановились. Выехав из леса, он очутился на огромном, распаханном под пар поле; вдали, на горизонте, высился корявый, растрепанный огненный бук. Приблизившись, неспешным галопом к подножию дерева, он с удивлением увидел, что окружавшие его псы почему-то глядят вверх, яростно облаивая толстые ветви. Тиффож поднял голову. В развилке бука, вцепившись в ствол, сидел мальчик с сиреневыми глазами.

– Я боюсь собак! – закричал он, едва увидев Тиффожа. – Уберите их отсюда!

Даже пожелай Тиффож усмирить одиннадцать бесновавшихся у его ног доберманов, он не смог бы этого сделать. Подогнав Синюю Бороду к самому дереву, он встал во весь рост на седло. Мерин словно почуял всю важность роли, отведенной ему в предстоящем форическом ритуале: он замер, как статуя, не обращая внимания на разъяренных псов, взметавшихся вверх, словно черные волны. Лотар, судорожно держась за ветки и брыкаясь, изо всех сил отбивался от Тиффожа. Наконец, тому удалось схватить его за ногу и рывком притянуть к

себе. В тот миг когда ребенок упал сверху на Тиффожа, его охватила такая горячая радость, что он даже не почувствовал, как маленький пленник до крови прокусил ему руку.

Мрачные записки

Лошадь – не только животное-тотем Дефекации и зверь с идеально несущей, форической функцией. Этот Бог Анус может, кроме того, стать инструментом похищения, захвата, увоза и, имея на себе всадника, форически несущего в руках свою добычу, возвыситься до уровня *СУПЕРФОРИИ*. Более того, похищение может состояться даже тогда, когда суперфория уже прочно достигнута, – к примеру, если некое сверхчеловеческое существо вырывает у всадника ребенка, которого тот увозит; именно так случилось в поэме «Лесной царь». Это баллада Гете, где отец скачет через ланды на коне, укрывая под плащом сына, которого Лесной царь стремится соблазнить и выманить из рук отца, а под конец похищает насильно; вот она – истинная хартия фории, возведенной в третью, высшую степень могущества. Это латинский миф о Христофоре Альбукеркском, доведенный силою гиперборейской магии до высшего накала, до пароксизма. К охоте с гончими, при которой Бог Анус догоняет и травит Бога Фаллоносца, мой личный гений добавляет еще и эту сцену – преобразование оленя в ребенка и суперфорический ритуал, за ним следующий. Этот неожиданный поворот открывает новую страницу в моей игре сущностей; посмотрим же, чем завершится он в Кальтенборне.

Рауфайзен долго не мог понять, что нужно было Командору от Тиффожа, когда он срочно вызывал его и держал у себя целыми часами. Самолюбие мешало ему расспрашивать француза, а субординация никогда не позволила бы просить объяснений у генерала. Дело же заключалось в том, что со времени встречи на дороге, возле поломанного автомобиля и возвращения домой на двуколке старый аристократ открыл в мире Тиффожа, насыщенном знаками и символическими фигурами, поле исследований, весьма близких к его собственным размышлениям, и, в то же время, достаточно новое и неизведанное, чтобы всерьез заинтересоваться им. Живущий в строгой изоляции, вежливо отстраняемый от участия в повседневной жизни, трудах и праздниках напoлы, генерал высоко оценил общество Тиффожа, его почтительное внимание к себе и некоторые рассуждения, заставлявшие забывать о том, что перед ним француз, обыкновенный солдат и простолюдин. Ибо Тиффож впервые в жизни изменил своему правилу молчать о собственных страхах, радостях и открытиях. Разумеется, это не означало, что он открыл Командору все свои тайны; он не поведал ему ни о своей людоедской сути, ни о сообщничестве с судьбой, зато, страстно надеясь узнать побольше, заговорил С ним об инверсии – и благой и злонесущей, – о насыщении, о фории и ее героях.

Во время этих бесед Командор вспоминал свое детство, юность, проведенную в юнкерском училище Плона, где он воспитывался вместе с сыновьями кайзера, гарнизонную жизнь в Кенигсберге, в такой затхлой, удушливой атмосфере, что даже он, юнкер, выросший в монастырских условиях закрытой школы, не выдержал и сбежал оттуда, воспользовавшись удобным предлогом – восстанием Боксеров*. Получив офицерское звание прямо в Потсдаме,

* Английское название китайской секты, организовавшей в 1900 г. восстание и резню в иностранных посольствах Пекина.

новоиспеченный лейтенант вступил в международный экспедиционный корпус под командованием фельдмаршала Вальдерзее, отомстивший за убийство немецкого министра Кеттелера и вызволивший из плена работников иностранных посольств в Пекине. В войну 1914 года он бросился на фронт с пылом, который мало соответствовал его уже вполне зрелому возрасту, зато был оправдан первыми успехами немецкого наступления. Однако, когда на его глазах распустили кавалерийские полки и смешали в грязи траншей кирасиров с пехотинцами, он понял, что в мировом порядке вещей сломалось что-то главное, лопнула самая нужная, самая гибкая и тонкая пружина. Разочарования и последующий разгром армии стали фатальными последствиями этой первоначальной ошибки.

Потом он дожид до отречения кайзера и социалистической смуты, восприняв и то и другое с отстраненностью человека, преждевременно постаревшего оттого, что мир, к которому он безраздельно принадлежал, рухнул, исчез навсегда. С той поры геральдическая наука, словно прозрачный экран, защищала его от окружающей действительности.

– Все заключено в символах, – утверждал он. – Я понял, что величие моей родины умерло окончательно и бесповоротно, когда в 1919 году рейхстаг, заседавший в муниципальном театре Веймара (подумать только, в Веймаре! В театре! Какая позорная буффонада!), отказался от нашего славного имперского черно-бело-красного флага, завещанного доблестными предками – рыцарями Тевтонского ордена, – и сделал из черно-красно-золотого, в горизонтальных полосах, знамени, которое ядовитым цветком распустилось на баррикадах 1848 года, новую эмблему нации. Вот когда они официально открыли эру позора и падения Германии! Тот, кто грешит с помощью символов, от них же и погибнет. Тиффож, я давно понял, что вы – толкователь символов, да вы и сами меня в этом убедили. Вам казалось, будто вы нашли в Германии страну идеальных сущностей, где все происходящее есть символ, есть парабола. И вы правы. Впрочем, любому человеку, отмеченному судьбой, роковым образом назначено окончить свои дни в Германии; так мотылек, порхающий во тьме, всегда, рано или поздно, отыскивает источник света, что манит его, зачаровывает и убивает. Но вам еще многому предстоит научиться. До сих пор вы открывали для себя знаки вещей; так люди читают буквы и цифры на дорожных знаках. А это весьма примитивная форма символической экзистенции. Но Боже вас упаси поверить, что знаки всегда являют собой только безобидные и слабые абстракции! Знаки – великая сила, Тиффож; вспомните, что именно они привели вас сюда. Знаки обидчивы и злопамятны, их легко восстановить против себя. Оскорбленный вами символ становится дьявольской силой. Бывший до того средоточием света и согласия, он перерождается в оружие мрака, источник раздоров. Ваше призвание заставило вас открыть форию, злонесущую инверсию и насыщение. Теперь вам остается познать квинтэссенцию этой механики символов – *СОЮЗ ТРЕХ НАЗВАННЫХ ФИГУР В ОДНОЙ, КОТОРАЯ ЕСТЬ СИНОНИМ АПОКАЛИПСИСА*. Ибо наступает страшное мгновение, когда знак отказывается от своего носителя, – представьте себе, например, знамя, отринувшее знаменосца. Знак завоевывает себе самостоятельность, он отрекается от вещи, которую символизировал, и, что самое ужасное, теперь *САМ БЕРЕТ ЕЕ НА СЕБЯ*. И тогда горе ей! Вспомните Страсти Христовы. Долгие часы Иисус нес на себе крест. А потом крест поднял Его на себя. «И разодралась завеса во храме, и угасло солнце». . . . Когда символ пожирает олицетворяемую им вещь, когда Крестоносный становится Крестораспятием, когда злонесущая инверсия разрушает форию, это означает, что близок конец света. Ибо символ, уже ничем не сдерживаемый, превращается в повелителя мира. Он разрастается, захватывает все вокруг, разбивается на тысячи значений, ровно ничего не означающих. Читали ли вы «Апокалипсис» Святого Иоанна? Там описаны пугающие и грандиозные сцены: объятые пламенем небеса, фантастические звери, мечи и короны, светила и созвездия, вселенский хаос из архангелов, скипетров, тронов и солнц. И все

это, несомненно, символ, все это – шифр. Но не пытайтесь постичь, – иными словами, подыскать для каждого знака вещь, к которой этот символ якобы отсылает вас. Ибо символы эти – дьявольское наваждение, они ровно ничего больше не символизируют. А из их насыщения рождается конец света.

Генерал смолк и подошел к окну; там, в небе, на ночном ветерке с мягким шелестом полоскалось знамя.

– Как видите, я живу здесь, в собственном замке, который разукрасили флагами и знаменами со свастикой, – продолжал он. – Должен признаться, что в 1933 году, когда новый канцлер вышвырнул на свалку истории три цвета Веймарской республики и вернулся к исконным цветам империи Бисмарка, во мне забрезжила слабая надежда. Но когда я увидел этот кошмарный красный стяг с черной свастикой в белом круге, то понял, что нужно ждать самого худшего. Ибо этот черный перекошенный паук, угрожающий своими крючковатыми лапами всему, что встает на его пути, – явная и откровенная антитеза мальтийскому кресту, олицетворению безмятежного, умиротворяющего покоя! Однако III рейх поистине превзошел все, когда, в продолжение реставрации традиционных государственных эмблем, решил восстановить славу прусского орла. Вам, конечно, известно, что в геральдической символике правое считается левым, а левое – правым?

Тиффож кивнул. Это правило было ему внове, но оно настолько соответствовало лево-правой интерверсии, с которой он регулярно сталкивался, когда символы вели свою игру, что показалось знакомым.

– Этой интерверсии дали практическое объяснение, несомненно, придуманное задним числом. Например, утверждается, что изображение на щите должно читаться не со стороны стоящего перед ним зрителя, а со стороны рыцаря, который несет его на левой руке. Общеизвестно, что у прусского орла голова повернута вправо, а *dextre*, как диктует святая геральдическая традиция. А теперь взгляните на орла III рейха, сжимающего в когтях венок из дубовых листьев со свастикой посередине: его голова повернута а *senestre*. Это орел-ОТРАЖЕНИЕ, настоящая аберрация, оставляемая, как правило, побочным, незаконным ветвям знатных семейств. О, разумеется, ни один высокий чиновник партии не осмеливался оправдывать эту чудовищную нелепость. Все они ограничивались смутными намеками на обыкновенную ошибку художника Министерства пропаганды. Наконец, Геббельс придумал оригинальное объяснение: орел III рейха якобы смотрит на восток, в сторону Советского Союза, которому грозит нападением. А ведь истина, мсье Тиффож, заключается в другом.

И он подошел к французу поближе, чтобы тихим свистящим шепотом раскрыть ему тайну, которой отныне им предстояло владеть вдвоем.

– Истина заключается в том, что с самого начала III рейх был продуктом символов, которые властно, по-хозяйски ведут свою игру. Ни один человек не понял предупреждения – а оно было таким красноречивым! – в виде инфляции 1923 года, с ее горами обесцененных банкнот, денежных символов, которые ровно ничего не символизировали; она обрушилась на страну с опустошительной яростью саранчи. Теперь заметьте, что именно в тот год, когда доллар стоил 4,2 биллиона марок, Гитлер и Людендорф, в сопровождении кучки своих приспешников, прошли по площади Одеон в Мюнхене, намереваясь свергнуть правительство Баварии. Продолжение вам известно: перестрелка, скосившая шестнадцать путчистов, тяжело раненный Геринг, насмерть сраженный Шебнер-Рихтер, увлекший за собой в падении Гитлера, который в результате вывихнул себе плечо. Затем тринадцатимесячное заключение будущего фюрера в крепости Ландсберга, где он пишет «Майн кампф». Но это все – только аксессуары. Отныне во всем, что происходит в Германии, человек будет служить лишь аксессуаром. Главное, что имело значение в тот день 9 ноября 1923 года в Мюнхене, это знамя – знамя со свастикой,

несомое заговорщиками и упавшее посреди шестнадцати трупов в лужу крови, запятнавшей и освятившей его. Теперь это окровавленное знамя станет самой священной реликвией нацистской партии. Начиная с 1933 года оно выставляется на всеобщее обозрение дважды в год. Во-первых, 9 ноября в Мюнхене, на Фельдερнхалле, где по примеру средневековых мистерий разыгрывается тот знаменитый марш путчистов. А, главное, в сентябре, во время партийных съездов в Нюрнберге, что знаменуют собой вершину нацистских ритуалов. Вот когда этот стяг – *die Blutfahne* – точно бык-производитель, оплодотворяющий бесконечную череду коров, касается новых знамен, страстно жаждущих этого символического совокупления. Я видел эту сцену, месье Тиффож, и я утверждаю, что знаменитый жест фюрера, свершающего сей свадебный обряд эмблем, есть именно жест человека, направляющего член быка в чрево коровы. А мимо шагают целые армии, где каждый человек – знаменосец, и это не что иное, как *АРМИЯ ЗНАМЕН*, бескрайнее, бурное, вздыбленное ветром море стягов, флагов, знамен, лозунгов, хоругвей и эмблем. По ночам этот апофеоз озаряется бесчисленными факелами; их колеблющийся свет багровыми сполохами пляшет на древках, полотнищах и венчающих флаги бронзовых орлах; человеческая же масса, обреченная на темный конец, погружена в могильный мрак. Наконец, когда фюрер выходит вперед на монументальную трибуну, точно на алтарь для религиозной службы, сто пятьдесят прожекторов ПВО вспыхивают все разом, воздвигая в ночном небе грандиозный храм света, чьи пилоны высотой в восемь тысяч метров подчеркивают сакральное величие этого праздника-таинства.

Вы любите Пруссию, месье Тиффож, ибо под северным солнцем, как вы мне говорили, знаки блестят несравненно ярче. Но вы еще не знаете, куда ведет это жуткое, непрерывно разрастающееся обилие символов. В насыщенном знаками небе зреет буря, которая разразится с безжалостной силой апокалипсиса и поглотит всех нас!

Мрачные записки

Сегодня, часа в три ночи, объявлена общая тревога. Я впервые присутствую на том, что дети называют «маскарадом» – одним из самых отвратительных издевательств, какие могут родиться в мозгу прусского унтер-офицера. И действительно, Рауфайзен понимает, что дисциплина в школе катастрофически падает и контроль над наполой ускользает из его рук. Вот почему он безжалостно муштрует своих питомцев, выбирая для этого самые неподходящие моменты.

Детям приказано в течение трех минут построиться во дворе, надев полевую форму. На запоздавших градом сыпятся наказания. Затем, после тщательного осмотра, наказываются те, кто допустил небрежность в одежде. Четверть часа ожидания по стойке «смирно», потом звучит новая команда. Через две минуты все должны стоять на том же самом месте, но уже переодетыми в каждодневную форму. Суматошный бег по лестницам, свалка в дортуарах, толкотня возле шкафов. Строжайшая кара тем, кто открыл рот, тем, кто замешкался, тем, кто оделся, на взгляд Начальника, не по уставу. Новая четверть часа недвижимого стояния. Вольно! Через две минуты построиться здесь же, одетыми в выходные мундиры. Потом в спортивные костюмы. Потом в парадную форму. Сжав зубы, мальчишки из последних сил стараются вести себя, как маленькие роботы, но я вижу, что некоторые из них не могут сдержать слезы бессильной обиды.

Я, конечно, мог бы остаться в постели. Но, по правде сказать, мне не захотелось пропустить этот парад переодеваний. Я со страстным интересом наблюдаю,

как индивидуальность каждого мальчика соотносится с его новым обликом, и это зрелище поневоле завораживает меня. Эта индивидуальность не пронизывает одежду, как, например, голос проходит сквозь стену, звуча, в зависимости от ее толщины, глухо или разборчиво. Нет, каждый раз моему взору предлагается новая сторона личности, до сих пор мне неведомая и производящая совершенно непредсказуемый эффект, но столь же полная, как предыдущая, как нагота. Это словно поэма, которая, будучи переведена на один, другой, третий язык, нигде ни на йоту не утратит своего магического звучания, но всякий раз сверкнет новыми, неожиданными гранями.

Одежда – это, несомненно, ключ к человеческому телу, на самом тривиальном уровне. На этой ступени различия ключ и дешифровальная решетка более или менее схожи. Одежда, которая уподобляется ключу, поскольку она всего лишь *НОСИМА* телом, на самом деле схожа с решеткой, ибо покрывает тело, иногда даже целиком скрывая его; так, подробнейший комментарий к тексту иногда оказывается куда длиннее самого текста. Правда, я имею в виду исключительно прозаический комментарий, многословный и цветистый, лишенный эмблематического значения.

Одежда еще в большей степени, нежели ключ или решетка, есть инструмент *ОБРАМЛЕНИЯ* тела. Лицо *ОБРАМЛЕНО* – и, следовательно, истолковано, прокомментировано – головным убором сверху, воротником снизу. Руки меняют форму в зависимости от покроя рукава, длинного или короткого, тесного или пышного, или же от его отсутствия. Узкий короткий рукав хорошо обрисовывает контур предплечья, выявляет форму бицепса и трицепса, подчеркивает мягкую округлость плеча, но во всем этом нет шарма, нет приглашения к контакту. Пышный же рукав, напротив, скрывает округлость руки, делает ее тоньше, слабее, но зато своей уютной просторностью зовет к пожатию, которое завладеет кистью, локтем, а если нужно, поднимется и до самого плеча. Шорты и носки обрамляют колено и преобразуют его в зависимости от того, как низко спускаются первые и как высоко подняты вторые. Колено, едва видимое между шортами и носками, поневоле ограничено своей скупой и жесткой функцией головки шарнира. Оно выражает лишь свое назначение, эффективность и полное безразличие к окружающей плоти. < А вот если носок спадает на обувь или отсутствует – вовсе, то икра, с ее нежными очертаниями, тут же берет реванш, оспаривая у колена главенствующую роль, на которую оно претендует. Подобный образ ясно говорит о бессилии дисциплины, навязываемой извне милому, беззаботному существу, что чисто бессознательно обороняется от нее небрежным обращением с костюмом, в который его обрядили. Куда более гармоничным кажется мне сочетание очень высокого носка, достигающего до самого колена, а то и частично его прикрывающего, с очень короткими шортами, полностью обнажающими ляжку. В этом случае именно ляжка обрамлена и выставлена напоказ, колену же отводится скромная функция подпорки. Вот истинное пиршество для глаз, где узкое предназначение одежды сочетается с лирическим воспеванием плоти, а строго соблюдаемый порядок с восхвалением самой округлой, самой нежной, самой соблазнительной части тела. Тот, кто моделировал для этих маленьких мужчин одежду на все случаи жизни, в частности, молодежную форму и спортивный костюм, руководствовался безошибочным инстинктом знатока человеческой фигуры. Однако высокие носки или гольфы довольно часто пренебрегают своей почетной обязанностью, если они не слишком длинны, плохо натянуты и падают гармошкой. В этом случае они беззастенчиво обнажают ногу, лишая ее

всякой загадочности. И тогда остается надеяться лишь на обувь, которая должна быть солидно-устойчивой, чтобы поддержать *in extremis** все это обвалившееся сооружение, и достаточно надежной, чтобы служить ноге прочным цоколем, которого ей так не хватает.

Мрачные записки

«Лотар Вустенрот. Родился 19 декабря 1932 года в местечке под названием Баренвинкель. Рост 148 см. Вес 35 кг. Объем грудной клетки 77 см. Горизонтальный цефалический индекс – 72».

Чуткое, вибрирующее, как натянутый лук, стройное тело с великолепно вылепленной мускулатурой, поразительно хорошо развитой для такого юного возраста. Очень широкий, распахнутый подреберный угол. Вот, кстати, признак, о котором не подумал Блаттхена ведь именно от него зависит общая архитектура торса. У индивидуумов, менее щедро одаренных природой, грудная клетка производит впечатление сжатой, сплюсненной с боков. Обычно подвздошный угол имеет треугольную форму и напоминает перевернутое латинское «V». Его ветви могут изгибаться так или эдак, но чем больше он походит очертаниями на вешалку, тем гармоничнее выглядит все тело. Именно от этого рисунка грудной клетки, скорее даже, чем от высоты лба или формы губ, зависит степень *ОДУХОТВОРЕНИЯ* всего существа. И это отнюдь не пустая игра слов, – напротив, вполне логично, что на данном уровне собственный смысл слова смешивается с переносным; хочу напомнить, что *ДУХ* происходит от латинского *SPIRITUS*, чей первоначальный смысл – *ДУНОВЕНИЕ, ВЕТЕР*.

Скупое намеченное, как бы стилизованное лицо – туго обтянутая кожей маска, прорезанная тонкогубым ртом, едва приподнятым носом и сиреневыми озерцами глаз, – кажется еще мельче под тяжелой шапкой платиновых волос, остриженных, как здесь принято, «под горшок». Мне нет нужды прибегать к антропологическому инструментарию Блаттхена, чтобы сформулировать, глядя; на эту безупречную голову, золотое правило человеческой красоты. Она, эта красота, заключена в *СО-ОТНОШЕНИИ РАЗМЕРОВ ЧЕРЕПНОЙ КОРОБКИ И ЛИЦА*. Именно здесь таится все эстетическое превосходство ребенка над взрослым. Череп этого мальчика достиг размеров черепа зрелого мужчины, ему больше некуда расти. Лицо же, напротив, со временем увеличится по крайней мере вдвое, и тогда красоте конец. Ибо, чем крупнее лицо по отношению к черепной коробке, тем неизбежнее голова приближается к животному типу. И в самом деле, – у животных соотношение морды с черепом прямо противоположно: голова собаки или лошади представляет собою, так сказать, одно сплошное лицо; иными словами, в первую очередь видишь лоб, орбиты, нос, рот, тогда как череп сведен почти на нет. Хочу также заметить, что мужчины и женщины, чья красота общепризнанна, как правило, сохраняют остатки этой очаровательной детской пропорции – или, если хотите, диспропорции – между черепной коробкой и лицом. Таким образом, на линии, ведущей от животного к человеку, ребенок помещается над взрослым и должен рассматриваться как супермен, сверхчеловек. А, впрочем, не напрашивается ли тот же вывод в отношении

*На самом краю (лат.).

мыслительной деятельности? Если определить ее как способность воспринимать *НОВОЕ*, находить решения задач, вставших перед человеком впервые, то найдется ли существо умнее ребенка?! Какой взрослый способен, если он не сделал этого в детстве, научиться писать, более того, заговорить *ex nihilo**, не опираясь при этом на родной язык?!

Пока я заканчиваю эту запись, он спокойно стоит передо мной, положив руку на бедро, опираясь на левую ногу – живую стройную колонну – и мягко расслабив правую. Его половой член имеет грушевидную форму, пенис и тестикулы составляют три приблизительно равные массы, разделенные тоненькими складочками, сходящимися к узкому основанию под лобком.

Я поднимаю голову, и он мне улыбается.

Дети собраны в рыцарском зале, превращенном нынешним вечером в просторный затемненный амфитеатр, приглушенно гудящий тихими голосами и смешками. Низкий подиум освещен четырьмя канделябрами, и отсветы их огней играют на высоких пальмовых сводах, крутыми дугами впадающих в колонны. Как обычно, все тщательно спланировано заранее и хранится в строгой тайне; вот почему, когда на подиуме внезапно появляется Командор в парадной генеральской форме, его встречает пораженное молчание. Уединенная жизнь графа где-то на задворках наполь, его будничная гражданская одежда, тайна, окружающая этого человека, хотя все присутствующие, вплоть до самых младших юнгштурмовцев, знают, что он, с его заслугами и знатностью, позволяет себе игнорировать мрачную славу СС, – все это придает его сегодняшнему явлению оттенок чего-то сверхъестественного. Он начинает говорить, и тишина сгущается еще больше, поскольку голос его звучит глухо и еле слышно. Чудится, будто все это тонущее в полутьме детское сборище разом подалось вперед, стараясь разобрать его слова. Но мало-помалу голос генерала крепнет, набирает силу, и высокие понятия, о которых он ведет речь, властно завоевывают аудиторию.

– Юнгштурмовцы! Сегодня ночью мы проведем церемонию, которая станет венцом вашей юной карьеры. Троим из вас сейчас вручат священное оружие. Хайо, Харо и Лотар, отныне вы будете носить у левого бедра символический меч, объединяющий два великих понятия – *КРОВЬ* и *ЧЕСТЬ*, – которые станут повелевать вашей жизнью и смертью. Нигде больше церемония эта не уместна так, как здесь, под древними сводами, возведенными при моем предке Германне, графе фон Кальтенборнском, рыцаре Христа и Двух Мечей в Ливонии, приоре ордена Меченосцев, выборщике Померании и архидьяконе Рижском. Он ваш святой патрон и покровитель, с нынешнего вечера и во все время, пока вы будете маленькими Меченосцами. Посему вам следует знать, кем он был и какую жизнь прожил, дабы вы смогли впоследствии, при любых обстоятельствах, смело ответить себе на вопрос: «Как поступил бы великий Германн фон Кальтенборн на моем месте?»

Подобно всем рыцарям своего времени, Германн фон Кальтенборн в юности закалил свое сердце на безжалостном солнце Востока. Он познал все тяготы, а также и все радости великих крестовых походов. Но, в отличие от большинства своих товарищей, он не довольствовался преследованием неверных. Как монах-госпитальер он умел врачевать больных и раненых; он принес на родину множество целебных, чудодейственных, ранее неизвестных снадобий, полученных от магов Леванта; средства эти прославили его при дворе епископа Рижского. В начале XIII века он участвует во всех сражениях, которые обеспечивают Меченосцам вла-

*«с нуля» (лат.).

дычество над северными провинциями, от берегов Балтики до окрестностей Нарвы и озера Пейпус. Меченосцев было крайне мало, всего несколько сотен, то есть почти столько же, сколько вас, юнгштурмовцев, в этом зале. Но то были истинные титаны! Они не имели ничего – ни богатства, ни жен, ни даже собственной воли, ибо дали обет бедности, безбрачия и послушания. Спали они, не снимая доспехов, положив рядом с собою меч, который и был их единственной супругой; строгие законы ордена воспрещали обнимать даже сестер и матерей. Дважды в неделю они питались лишь яйцами да молоком, по пятницам постились. Они не имели права утаивать от своих наставников любую малость, равно как получать послания от кого бы то ни было. Рыцарь, отправлявшийся воевать на своем огромном, как слон, коне, в тяжелой кирасе, с громоздким вооружением, напоминал движущуюся крепость. И никто не видел, что его плечи и спина под кольчугой представляли собою сплошную кровавую рану, ибо перед сражением рыцари безжалостно бичевали друг друга.

Возглавлял их самый великий и безупречный рыцарь, Германн фон Кальтенборн, и сияние его святости было столь мощно и неодолимо, что даже тысячелетние дубы языческого леса склонялись перед ним долу. Германн предпочитал зиму другим, более мягким временам года, ибо зимняя стужа своей суровостью символизирует рыцарскую мораль, ибо нищая нагота зимнего леса схожа со скудной отреченностью святой жизни, ибо ясное небо, где северный ветер разогнал облака, напоминает о душе, очищенной пылкой верой. А еще он любил скованную морозом землю, застывшие болота и оледенелые озера за то, что они облегчали продвижение его повозок и пушек.

Из всех деревьев он предпочитал ель, потому что она, стройная и прямая, с зеленой и блестящей хвоей, с ровными ярусами ветвей, правильными, словно галереи в храме, – самое немецкое из всех деревьев на земле.

Командор еще долго вещает в том же духе, смешивая прошлое, настоящее и будущее, сравнивая кинжал, похожий на игрушечный меч и носимый юнгштурмовцами у левого бедра, с титаническими мечами, грозно воздетыми в небо с парапета большой террасы; войну немецких танковых дивизий против СССР с борьбой германских рыцарей против славян; два сражения при Танненберге, первое в 1410 году, ознаменованное гибелью Тевтонцев и Меченосцев от превосходящих сил поляков и литовцев, и второе – славный реванш 1914 года, когда немцы под командованием Гинденбурга раздавили русскую армию Самсонова. И, наконец, он заводит речь об отношении Франции и Германии, разительно несхожем, к своим рыцарям-монахам после их возвращения из Святой земли: в то самое время, как Тевтонцы воздвигали Мариенбург, символ господства ордена над провинцией, пожалованной ему императором и Папой, французские Тамплиеры, жертвы злой клеветы, по приказу Филиппа Красивого всходили на костер. Так дух немецкого рыцарства продолжал жить на этой земле, в этих стенах; Франция же навеки запятнала себя преступлениями своего коварного короля.

Тиффож отметил, что Командор ни разу не упомянул об Атланте, скрытом в толще стены и несущем крепость на своих плечах.

По окончании речи все юнгштурмовцы встают и хором заводят песнь К. Хофманна:

*Развернем напоенные кровью знамена,
И пусть пламя взметнется до самых небес!*

Древние своды вибрируют от мощного напора сильных металлических голосов. Затем центурия, к которой принадлежат новопосвященные, собирается на плацу перед замком для торжественного ночного бдения.

Это не такое уж легкое дело: мальчикам придется бодрствовать до самого восхода солнца, выстроившись полукругом, открытым со стороны востока. В тот миг, когда огненный шар

покажется из-за холмов Никольсберга, юнгштурмовцы хором запоют гимн богу-солнцу – Гелиосу. Затем начальник центурии напомним троим новобранцам о присяге на беспредельную верность фюреру, в которой они поклялись сегодня ночью, и призовет их выйти из строя и удалиться, если они не чувствуют в себе решимости умереть, не задавая никаких вопросов, за III рейх. И, наконец, он торжественно вручит им почетное оружие в сияющем апофеозе первых солнечных лучей.

Вероятно, церемония посвящения, объединившая троих мальчиков, сделала свое дело: Харо и Хайо стали неразлучны с Лотаром. Куда бы ни шел, что бы ни делал Лотар-недотрога, Лотар-задавака, Лотар-неутомимый, его неизменно, как верные стражи, сопровождали близнецы, спокойные, молчаливые, простоватые с виду. Вначале юнгштурмовцев раздражала эта дружная троица, чья спаянность противоречила неписаным законам поведения в коллективе. Но трое новичков отгораживались от града намеков и подначек таким невозмутимым безразличием, что нападки вскоре прекратились, и трио стало признанным фактом.

Тиффож, со скрытой симпатией наблюдавший за ними, без особого труда распознал, что близнецы *СЛУЖИЛИ* беловолосому мальчику с немой, неосознанной преданностью. Не суетясь, но и не раздумывая, с какой-то неустанной предупредительностью, они всегда и везде создавали собою идеальное обрамление, в котором Лотар красовался, точно картина в раме. Что бы ни объявлялось – сборы, подъем флага или перекличка, урок верховой езды, гимнастика на снарядах или стрельбы из шестимиллиметрового маузера, – Хайо и Харо всегда оказывались первыми, и Лотар, легкий, пылкий, нетерпеливый Лотар, неизменно стоял на своем месте, между ними.

В одно серое туманное утро Начальник велел мальчикам поупражняться на открытом борцовском манеже. В бледном мареве красные спортивные костюмы юнгштурмовцев ярко выделялись на фоне белого песка. Тиффож остановился перед троицей друзей, делавших пирамиду; Лотар стоял на руках, поддерживаемый справа Хайо, слева – Харо. Такие пирамиды по трое делали все вокруг, но какими же убогими казались они по сравнению с композицией из светловолосого мальчика и зеркально схожих близнецов, – эта группа выглядела безупречно уравновешенной, точно выверенной и потрясающе симметричной.

– Ага, вы, я смотрю, тоже заметили этих троих! Чем бы они ни занимались, они всегда неразлучны, словно три Кальтенборнских меча.

Тиффож не слышал, как сзади подошел к нему, опираясь на свою трость с железным наконечником, Командор. Он обернулся и поздоровался с графом.

– Да, – продолжал тот, – они так идеально подходят друг другу, словно сбежали с какого-нибудь прекрасного старинного герба!

По сигналу Начальника все мальчишки, стоявшие в центре пирамид, встали на ноги и вместе с остальными вытянулись по стойке «смирно».

– Неужели эти красные силуэты на белом фоне ни о чем не напоминают вам, Тиффож? – спросил старый граф, продолжая развивать свою мысль. – Что бы вы сказали, если бы я посвятил вас в рыцари дома Кальтенборнов, с гербом, похожим на мой, как это было принято, – например, «в серебряном поле три паж, головы к небу воздевших». Ха-ха-ха! Если не ошибаюсь, этих мальчиков завербовали именно вы?

Шутка, вполне отвечавшая тайным помыслам француза, звучала так недвусмысленно, что тот медленно двинулся на Командора, вопросительно глядя ему в лицо и даже не сознавая того, что выглядит сейчас угрожающим.

– Заметьте, – невозмутимо продолжал старик, – что в геральдике часто используются

изображения растений и животных, но весьма редко – человеческие. Отчего бы это? Я часто задавал себе такой вопрос. Правда, на прусском гербе щит поддерживают два дикаря с лежащими у ног палицами. Также иногда можно увидеть на гербе голову мавра или какие-то фантастические создания – полулюдей, полужверей, – кентавров, сфинксов, сирен, гарпий. Но мужчина, женщина, ребенок... нет, такого я не встречал никогда... кажется, никогда.

Он повернулся и медленно зашагал к замку, тщательно выбирая место, куда поставить ногу. Вдруг он остановился и вернулся назад.

– Погодите-ка, мне пришла в голову одна интересная мысль. Вполне вероятно, что включение живого существа в герб неотъемлемо связано с идеей *ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ*. Вдумайтесь: если вернуться к истокам, то окажется, что животное-тотем – это животное пойманное, убитое и съеденное; именно таким образом оно и передает свои лучшие качества носителю эмблемы. А теперь скажите мне, какая человеческая эмблема считается самой известной и самой священной? – Христос на кресте! Выразительнейший символ высшей степени холокоста! Следовательно, изображение на гербе ритуального жертвоприношения орла или льва, убийство чудовища вроде дракона или минотавра, усмирение черного раба или дикаря – все это лежит, так сказать, в одной плоскости, и все в порядке вещей. Но изображение мужчины-воина, женщины или ребенка... о, нет, совершенно недопустимо. Вы только представьте себе, бедный мой Тиффож, – я вознамерился предложить вам герб «в серебряном поле три паж, головы к небу воздевших». Ха-ха-ха! Да ведь это же герб людоеда!

Мрачные записки

Возвращаюсь на Синей Бороде из Эбенроде и по дороге вижу мальчика на велосипеде. Слегка осаживаю коня, заставляя его следовать трусцой за велосипедистом, а сам размышляю над тем, что вижу. Странная вещь велосипед: у него есть длина и высота, но нет толщины. Человеческое тело, в него вписанное, тут же утрачивает все свои параметры, кроме профиля, и силуэт этот выглядит утрированным, почти карикатурным. Тело лишается объема, оборотной стороны, оно сведено к эпюре. Теперь это уже барельеф, медаль. Видна лишь одна нога, внутренняя сторона которой отражается зеркальцем. Ступня не касается земли. Она вовлечена в безупречное вращательное движение, в котором участвуют также икра, колено, удлиненная ляжка, и которое замирает наверху, переходя в трогательное покачивание маленьких ягодиц над седлом. Игра мускулов явственно видна, она подчиняется тому монотонному ритму, который можно было бы наблюдать на учебном мультипликационном анатомическом стенде. Верхняя часть туловища совершенно неподвижна, а плечи, поднятые высоко, до ушей, почему-то наводят на мысль о презрении или страхе.

Доехав до околицы деревни Олдорф, мой маленький велосипедист тормозит, соскакивает наземь, ставит свою машину на подпорку и удаляется. Кончено дело: очарование нарушено. Мальчик вновь вернулся в третье измерение. Пешая ходьба с ее сбивчивыми движениями сразу нарушила стилистику детского силуэта. Этот ребенок, только что казавшийся восхитительным до такой степени, что у меня начали зарождаться планы на его счет, сойдя с велосипеда, опустился до самого ординарного уровня. Не презираемого, конечно, – отнюдь! – просто не заслуживающего особого внимания.

Так что же произошло? Велосипед, который не оказывает на взрослого человека

абсолютно никакого воздействия, служит для ребенка дешифровальной решеткой; он выявляет его сущность и помогает разобраться в ней. Это вдвойне подтверждают недавние, хотя и довольно запутанные, рассуждения Командора. Во-первых, потому, что опыт с велосипедом делает очевидным *ГЕРАЛЬДИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ* ребенка, призвание ужасное, если оно предполагает жертвенное убийство. И, во-вторых, потому, что теперь я лучше понимаю разницу между *КЛЮЧОМ*, который открывает нам только особый смысл сущности, и *РЕШЕТКОЙ*, которая полностью завладевает ею, а затем предлагает нашей интуиции разгадку, выводя ее на свет божий. Между ними существует различие фористического порядка, поскольку ключ несет свою сущностью (так замок несет обыкновенный ключ), тогда как решетка сама несет сущность, – так, скажем, железные раскаленные решетки несут тело мученика. Остается теперь понять процесс превращения ключа в решетку, которое Командор определил как злокозненную инверсию, что превращает Крестонесущего в Крестораспятого.

Старик несомненно знает об этом куда больше, чем говорит. Значит, нужно воспользоваться близостью, которой он меня удостаивает, и при первом же удобном случае выжать из него все, что ему на сей предмет ведомо.

Однако Тиффож не успел расспросить Командора. После покушения 20 июля* на Германию обрушилась страшная по своему размаху волна арестов и казней; особенно досталось Восточной Пруссии, где все и произошло. Полицейский террор со слепой яростью уничтожал не только посвященных в заговор, но и их родных, друзей и знакомых, вплоть до самых отдаленных. В отчетах гестапо непрерывно всплывали имена самых знатных прусских аристократов – Йорк, Мольтке, Витцлебен, Шуленбург, Шверин, Штульпнагель, Дона, Лендорф. . .

Однажды утром у ворот замка остановилась машина с зачехленным флажком. Из нее вышли двое в штатском. У них состоялся секретный разговор с генералом графом фон Кальтенборном. Затем они покинули замок, но не уехали, а остались ждать на плацу. Часом позже, примерно к одиннадцати, дети, находившиеся там же, к великому своему изумлению, увидели Командора в парадной форме, который шагал быстрой, но какой-то механической походкой, пристально глядя прямо перед собой и не отвечая на приветствия. Он прошел по центральной аллее и скрылся в ожидавшей его машине с зашторенными стеклами, которая помчалась в сторону Шлангенфлисса.

Уход единственного человека, которому Тиффож мог полностью довериться, глубоко поразил его душу. Старомодно-витиеватые рассуждения Командора, атмосфера чуть затхлого аристократического величия, которую тот распространял вокруг себя, старание, с которым он побуждал Тиффожа мыслить ясно и глубоко, безмерно возвысили и избаловали француза. Тиффож безраздельно отдался сознанию своей тайной силы, время от времени дарившей его изощренными усадками, запечатляемыми на страницах «Мрачных записок». Да и ухудшение внешней ситуации вполне способствовало его возрастающей свободе. Призыв Гитлера от 26 сентября ко всеобщей мобилизации женщин, детей и стариков, с целью приостановить надвигающийся разгром, наметил новый этап его возвышения. Рауфайзен, явно приложивший руку к исчезновению Командора, с отчаянием смотрел, как из замка один за другим исчезают его офицеры, и унтер-офицеры, помощники и гражданские учителя. Он приходил в ярость от того,

*20 июля 1944 г. – дата неудачного покушения на жизнь Гитлера, организованного немецкими офицерами и генералами, не согласными с его политикой.

что ему приходится командовать теми, кого он пренебрежительно величал «детским садом». Ему хотелось успеть как следует натренировать, подготовить и вооружить юнгштурмовцев для последнего решительного испытания. Он поговаривал о поездке в Поссесерн, ставку Гиммлера, а пока то и дело наведывался в Кенигсберг, оставляя школу на попечение француза, который, как мог, руководил ее повседневной жизнью.

Мрачные записки

Вот уже три дня в подвальном помещении замка парикмахер из Эбенроде и его подмастерье безжалостно снимают с наших маленьких мужчин их пышные гривы, орудуя огромными электрическими машинками, которыми, на мой взгляд, только гривы лошадям стричь. Нужно сказать, мастеров здесь не видали уже месяцев пять, и детям приходилось раздвигать руками завесу из волос, падавшую им на глаза, а то и на рот. Признаюсь, тут была доля и моей вины, – у меня прямо сердце разрывалось при виде этой жестокой поголовной экзекуции. В конечном счете я смирился с суровой необходимостью, а потом вдруг обнаружил, что могу извлечь из этой стрижки немало для себя положительного.

Во-первых, следует отметить, что шевелюра, даже если она красива сама по себе, всегда играет *НЕГАТИВНУЮ* роль по отношению к лицу, изменяя его выражение, стирая экспрессивность черт. Конечно, она благоприятна для некрасивых лиц, которые заметно хорошеют, будучи увенчаны пышной копной волос. А поскольку некрасивость – явление распространенное, шевелюра предпочтительнее лысины. Зато правильное, красивое лицо несомненно выиграет, освободившись от диктата волос. Дети выходят из подвала, смеясь и звонко шлепая друг друга по стриженным затылкам; они поражают меня внезапно открывшейся резкой красотой своих лиц – обнаженной, чистой, скульптурной красотой, в которой есть точность и завершенность мраморных статуй. А когда этот мрамор вдобавок согрет и оживлен улыбкой, до чего же он становится красноречивым, понятным, близким!

Вот почему я решил спуститься и попристутствовать при этой метаморфозе. Я долго наблюдал, как машинка прокладывает голубоватые ходы в волосяной массе, от затылка до лба. Обнаженная, колючая, как сжатая нива, кожа раскрывала свои секреты, изъяны, шрамы, а, главное, рисунок расположения волос. Густые мягкие пряди падали на детские плечи, а с них на пол, покрывая его душистым ковром, который парикмахер, закончив свой труд, небрежным взмахом метлы отправлял в угол. Я тотчас распорядился сохранить это золотое руно, набив им мешки. Пока не знаю, что буду с ним делать.

Мрачные записки

Наблюдая за стрижкой детей, я заметил, что волосы, как правило, растут по спирали от центра, расположенного точно на макушке. Выходя из него, они идут по расширяющейся спирали, постепенно захватывая всю голову. И только на самой макушке вздымается одинокий хохолок, не вовлеченный в эту фигуру.

Вот когда мне вспомнилась шерсть оленя, добытого юнгштурмовцами на прошлой неделе и разложенного на кухонном столе. В косо падавших лучах солнца было ясно видно, как по-разному растут волосы на тех или иных частях тела. В одних местах наблюдались все те же спиралевидные завихрения, то сходящиеся к центру, то разбегавшиеся вовне. На других, более обширных и плоских участках, например, в районе хребта, волоски то сталкивались, вставая дыбом, то, наоборот, устремлялись в разные стороны от узкой полоски лысой кожи. Потом я вспомнил утверждение доктора Блаттхена о том, что на человеческом теле растет столько же волос, сколько на медведе или собаке; просто они, если не считать определенных участков тела, такие коротенькие и бесцветные, что их можно разглядеть лишь в лупу. И я решил, что интересно было бы изучить карту волосяного покрова у детей и сравнить между собой его разновидности.

Для начала я выбрал троих подопытных, чей пушок на коже, более густой, нежели у других, явственно золотился или серебрился, когда они стояли против света. Я поочередно вызвал их к себе в лабораторию и исследовал с помощью лупы, сантиметр за сантиметром, поставив между собой и окном.

Результаты оказались интересными, но почти одинаковыми у всех троих. Вот лишнее подтверждение того, что средний юнгштурмовец – вполне обычное, ничем не примечательное создание.

Волоски на всем теле расположены спиралевидными рисунками двух видов, в зависимости от направления; расходящиеся спирали типичны для внутреннего угла глаза, подмышкой, в паховой складке, между ягодицами, на тыльной стороне ступни и руки, ну и, разумеется, на макушке; сходящиеся наблюдаются под подбородком, над локтями, в пупочной впадине и у основания пениса. По бокам, от подмышки до паха, бежит полоска, вдоль которой волоски расходятся в разные стороны. И, напротив, на передней и задней частях торса, вдоль позвоночника и грудной кости, волоски стремятся навстречу друг другу и сталкиваются, образуя род светлой гривки.

В большинстве случаев эта волосяная география постигается медленно и только через лупу, при специальном освещении. Но можно ускорить эту процедуру с помощью простого (и сколь трогательного!) приема, быстро проведя по коже губами. Пушок тотчас обнаруживает направление своего роста, отвечая на это касание либо щекочущим сопротивлением, если я иду «против шерстки», либо шелковистой покорностью.

Мрачные записки

Я достаточно долго сокрушался по поводу своих огромных неуклюжих рук, чтобы не воздавать им должное, когда они того заслуживают. Как я был не прав, мечтая о длинных, изящных, как у фокусника, пальцах, способных ловко и незаметно скользнуть за ворот блузочки, в разрез коротких штанишек! Мои грубые руки, совершенно не приспособленные к прикосновениям такого рода, тем не менее, обладают своей особой, только им присущей ловкостью. Они, как известно, моментально выучились обращаться с рейнскими голубями; их призвание к птицам было столь очевидным, что голуби – не только мои, но и чужие – даже не порывались ускользнуть, когда я тянулся к ним.

Что же касается детей, то просто удивительно, как я умею за них взяться! Со стороны кажется, будто я верчу маленького человечка туда-сюда грубо и бесцеремонно. Но сам он на сей счет не заблуждается. При первом же физическом контакте он чувствует, что под этой внешней грубостью таится огромное, бесконечно нежное умение. В обращении с детьми все мои жесты, даже самые неуклюжие, проникнуты ангельской кротостью. Моя сверхъестественная судьба наделила меня инстинктивно верным ощущением веса ребенка, равновесия его тела, жестов и реакций – всего, вплоть до сокращений мускулов и работы суставов под кожей. Кошка бесцеремонно хватается за загривок и тащит в зубах, словно тряпку, а детеныш мурлычет от удовольствия, ибо за этими внешне жестокими ухватками таится подлинно материнская ласка.

Мой первый жест при знакомстве с новичком – положить ему руку на затылок, ближе к шее. Хрупкий или мускулистый, курчавый или обритый, изогнутый или плоский, затылок – это основной корень, ключ одновременно и к голове и ко всему телу. Он сразу откровенно говорит мне, какого сопротивления или послушания можно ждать от данного человека. Мой жест ни к чему не обязывает, его легко прервать в любой момент. Но точно так же он может и найти свое естественное продолжение, достигнув спины, завладев плечами, спустившись к пояснице – этой точке равновесия тела, – для того, чтобы подхватить его с земли и унести, унести с собой.

Так вот, мои руки созданы именно для этого – приподнять, захватить, унести. Из двух классических позиций – поддержки и захвата – им свойственна только поддержка. Скажу больше: это их естественное состояние – ладонями кверху, со сжатыми и вытянутыми пальцами. Захват же создает во мне дискомфорт, переходящий в мускульную судорогу. О, мне даны поистине форические руки! Да и разве одни только руки?! Все мое тело, с его гигантским ростом, мощной спиной грузчика и геркулесовой силой, создано именно для этих легоньких, крошечных детских телец. Моя несоразмерная величина и их малость – вот две вещи, идеально подогнанные одна к другой самой природой. Это она замыслила меня таким, каков я есть; это она заповедала мне мое предназначение, – стало быть, оно в высшей степени почетно и достойно всяческой похвалы.

Мрачные записки

Я счел необходимым придать общим переключкам видимость торжественного ритуала, коему наша крепость должна служить храмом. Вот единственная цель этих церемоний, которые я возглавляю в отсутствие Начальника, проводя их по вечерам во внутреннем дворе. Распорядившись ими таким образом, я могу потешить свою двойную приверженность строгому распорядку и капризам случая.

Дети играют на свободе во дворе, у подножия Главной башни с тремя мечами. А я, погруженный в свои мысли, жду назначенного момента в часовне с витражами, в которых всеми цветами радуги переливаются последние закатные лучи. Чувствую, как убаюкивает меня эта симфония криков, возгласов и смеха, что поднимается сюда, наверх, звонкими всплесками, унося в прошлое – сперва к моим опытам в Нейи, потом еще дальше, в коллеж Святого Христофора. О, разумеется,

эти остзейские голоса звучат, в отличие от французских, отрывисто и гортанно, но в них я обретаю именно ту идеальную чистоту сущности, которая является квинтэссенцией Германии, ее даром, оправданием моей жизни здесь.

В урочный час я подхожу к парапету террасы, заранее охваченный радостным трепетом перед нашим церемониалом. Едва мой силуэт появляется между «Германном» и «Випрехтом», шум и гам во дворе разом стихают, а когда я кладу руку на острие «Германна», дети строятся в ряды. Четыреста мальчиков образуют сорок рядов по десять человек в каждом – строгий плотный четырехугольник, как раз в размер двора. Понадобились месяцы суровой дрессировки, чтобы научить их вот так, в одно мгновение, образовывать эту безупречную фигуру; я даже заподозрил бы, что они заранее намечают себе для построения плиты двора, если бы не видел, как преданно подняты ко мне все четыреста лиц, четыреста раз отражая взгляд, которым я окидываю их всех. И тогда четким взмахом руки я разбиваю мертвую тишину – плод муштры моих юных солдатиков – и выпускаю на волю их голоса, что затягивают гимн Восточной Пруссии:

*Сбросив столетия рабских оков,
Гордые дети тевтонских отцов,
Мчимся, как птицы в далекий полет,
Мчимся к востоку, где Солнце встает,
Где Солнце встает.
Бури и ветры на нашем пути.
Кони устали ношу нести.
Памятью предков клянемся, солдат,
Мы не отступим ни шагу назад,
Ни шагу назад!
Мчимся, как молния, мчимся, как рок,
Мчимся на Север, на Юг, на Восток,
Где Кальтенборн рубежи стережет,
Нам указуя дорогу вперед,
Дорогу вперед!
Ржавчина съела щиты и мечи.
Выплавим новые в жаркой печи.
И сокрушим мы вражий оплот,
Встретив с победою Солнца восход,
Солнца восход!**

Ломкие, с металлическим тембром, юношеские голоса взывают ко мне, на верхушку башни. Они пронизывают мое сердце какой-то болезненной радостью; я с горечью думаю о том, что апофеозом этого неистового энтузиазма станут кровь и смерть. Но вот начинается прекрасная, долгая литания переключки. В этот ритуал, где слышатся лишь имя да место рождения, я решил ввести новый элемент, предоставив случаю объединять вызов и ответ. Места в общем каре не определены заранее, на каждое из них всякий раз встает новый юнгштурмовец. Итак, переключка организована следующим образом: первый слева в последнем ряду выкрикивает имя и место жительства своего соседа справа. Тот отвечает: «Здесь!» и

*Перевод М. Волевича.

называет следующего справа, и так до конца, пока крайний справа в первом ряду не завершит эту процедуру.

Само собой разумеется, подобного рода переключка не выполняет свою обычную функцию, а именно, выявление отсутствующих. Я жду от нее как раз обратного – полной, целостной, круговой демонстрации четырех сотен индивидуальностей, запертых в этих тесных стенах и безраздельно подчиненных моей воле. Нет для меня более сладкой музыки, чем эти имена, столько говорящие об их обладателях и выкрикиваемые – каждое – новым голосом. Отмар из Йоганнисбурга, Ульрих из Дирнталя, Армин из Кенигсберга, Иринг из Мариенбурга, Вольфрам из Прусского Эйлау, Юрген из Тильзита, Геро из Лабьяу, Лотар из Баренвинкеля, Герхард из Хохензальцбурга, Адальберт из Хаймфельдена, Хольгер из Норденбурга, Ортвин из Хохенштайна... О, мне приходится сделать над собой нечеловеческое усилие, чтобы прервать это перечисление моих сокровищ, в котором соединились весомость тел и невесомость запахов прусского края.

За переключкой следует минута молчания. Потом четыре сотни детей единым, слаженным движением делают пол-оборота, чтобы встать, как и я, лицом к востоку, и теперь мне видны только их стриженные затылки, золотистые и колючие, словно сжатая нива, лишенные волос, которыми отныне владею я; нужно будет придумать, каким образом насладиться ими в полной мере. И снова дружный хор воздвигает звонкую, твердую, блестящую пирамиду песни. Теперь в ней превозносится великая восточная равнина, вдохновляющая на подвиг их сердца.

*Рейте, знамена! Ветер с востока
Туго наполнит вас, как паруса.
Смело мы глянем невзгодам в глаза.
Слышишь, как ветер нам песню поет?
Немцы, на подвиг! Шагайте вперед!
Буря и натиск – немецкий оплот.
Кровь наших предков к отмищенью зовет.
Рейте, знамена! Земли Востока –
Вот наша цель. Так шагайте вперед!
Мы на Восток проложили свой путь.
Гордым тевтонцам назад не свернуть.
Рейте, знамена! Сталью и кровью
Мы сквозь преграды проложим свой путь.**

Мрачные записки

«Сегодня утром я отправился в Биркенмюле, где проживает, как мне сообщили, некая фрау Дорн, по профессии чесальщица на ткацкой фабрике; помимо этого она занимается ручным ткачеством, изготавливая по частным заказам полотнища ткани из шерстяной пряжи. Война низвела экономику страны до такого первобытного уровня, что только те, кто разводит овец, могут позволить себе одеваться во что-то новое! Я же, за неимением овец, пасу моих мальчиков. И мне пришло

*Перевод М. Волевича.

в голову заказать плащ или что-нибудь вроде шинели из их волос. Пускай это будет мое золотое руно, одеяние любви, удовлетворяющее мою тайную страсть и, одновременно, явное свидетельство моей высокой власти. Как мне жаль тех незадачливых влюбленных, что носят на шее медальон с одной-единственной прядкой волос предмета своих воздыханий! Просто смешно, ей-богу!

Фрау Дорн, эдакая здоровенная костлявая кобыла, будто вся составленная из одних только ног, рук и носа, с крайним подозрением отнеслась к всаднику в непонятной форме, который спешил перед ее домом. Она замкнулась во враждебном молчании и ни разу не нарушила его, пока я нахваливал ее репутацию умелой ткачихи. Что ж, видимо, это занятие и впрямь не поощрялось властями, – ведь здесь давно уже запрещена всякая деятельность, не признанная обязательной! Тогда я решил перевести разговор в более благоприятное русло и вытащил из-под полы сверток в тряпке. Пройдя в кухню, я развернул его и выложил на стол ножку косули. При виде этого щедрого дара хозяйка несколько успокоилась. Затем я развязал мешок, который притащил за собой с улицы, и, показав ей детские волосы, объяснил, что у меня их очень много и она должна соткать из них материю. На это женщина отреагировала бурно и совершенно неожиданно. Ее охватила конвульсивная дрожь, и она попятилась от меня, испуганно твердя: «Нет, нет, нет!» и отмахиваясь так, словно хотела вышвырнуть из дома все разом – и ножку косули, и мешок с волосами, и меня самого. Наконец, она выскочила из дома через заднюю дверь, и я услышал, как она со всех ног бежит прочь, прямо по огородам.

Хоть убей, не понимаю, чем ее так напугал мой мешок с волосами. Делать нечего, пришлось возвращаться не солоно хлебавши, с ножкой косули и волшебным золотым руном, которому, как я сильно опасаюсь, еще долго придется ждать своего часа.

Мрачные записки

Я распорядился набить мне тюфяк, перину и подушку всеми волосами, собранными после большой стрижки. Подумать только: эта дура фрау Нетта вознамерилась перед тем отмыть их!

О, что за волшебную ночь провел я в гнездышке из этой кудели – более нежной, но не менее упругой, чем шерсть ягнят. Конечно, я не спал ни минуты. Запах невымытых, засаленных волос тут же властно обволок меня, повергнув в блаженное опьянение. Счастье... слезы... счастливые слезы! К двум часам ночи я уже не мог выносить касание дурацкой холстины, отделявшей меня от этого драгоценного руна. Вспоров матрас, перину и подушку, я вывалил содержимое в бассейн, где некогда Блаттхен держал своих золотых рыбок; теперь он пуст и сух – идеальноеместилище для моих богатств. Сделав это, я с головой зарылся в новое гнездышко; так прежде, в голубятне, я укладывался в птичий пух. Все, все они были здесь – мои милые, мои восхитительные; я узнавал их, прижимая к лицу пучки волос. Вот пряди Хиннека, с запахом скошенной травы, а эти, с голубоватым отливом – от Армина; тут пепельно-белокурые завитки Отвила, их не спутаешь ни с какими другими; а там кудри Иринга, нежные, прямо-таки ангельские кудряшки; а вот жесткие, золотисто-медные, пахнущие жженым углем лохмы Харо, а дальше –

Балдур, Лотар и все остальные. Потом я смешал все эти волосы, взбил, вымесил, как тесто, набрал полные горсти и, уткнувшись в них лицом, непроизвольно, судорожно всхлипнул от счастья. А теперь спрашиваю себя – и до сих пор не могу дать ответа, – не этот ли взрыв эмоций пошатнул мой разум.

Я уподобился закоренелому наследственному алкоголику, который с детства цедил один только слабенький, почти что и не хмельной сидр, и вдруг получил бочку – пей, не хочу! – семидесятиградусного первача.

После этой бессонной ночи я поднялся наутро с тягостным стоном похмелья.

Мрачные записки

«Они заполонили весь внутренний двор своими криками и бодрой возней. Внезапно завязывается жестокая драка; из кучи сцепившихся выбрасывают мальчугана, я подхватываю его на лету, – сработал мой форический рефлекс. Мои огромные руки обхватывают круглую стриженую детскую головенку; между пальцами бегают, мечутся карие глазки, бросая во все стороны испуганные взгляды. Я склоняюсь над этими зеркальцами, ясными и глубокими, точно лесное озеро, и чувствую себя бакланом, который парит где-то в небесной выси и вдруг камнем падает вниз, готовый разбить незамутненную гладь воды. Свежий детский ротик приоткрывается, как створки раковины.

И тут я замечаю на обметанных мальчишеских губах, между бугорками сухой кожи, тоненькие яркокрасные бороздки.

– У тебя болят губы?

– Да.

– А у твоих товарищей?

– Не знаю.

– Пойди спроси!

Оказавшись на свободе, но все еще слегка оробевший и удивленный странным приказом, он исчезает в толпе, словно выпущенная в воду рыбка. Минуту спустя он выныривает обратно, таща за собой другого юнгштурмовца, судя по их несомненному сходству, брата. У этого рот – сплошная рана, с гнойными выделениями и язвочками.

В тот же вечер я раздобыл у аптекаря в Арисе баночку миндального крема, смешанного с маслом-какао. После ужина обширная столовая превращается в театр доселе невиданной, но трогательной службы. Дети чередой проходят мимо меня, а я как бы даю им причастие... Каждый из них на миг останавливается и протягивает мне губы. Моя левая рука, с соединенными указательным и средним пальцами, поднимается в царственно-благословляющем жесте. Однако вскоре она устало сникает, моя Левая, моя Гениальная шуйца, моя Епископальная длань, Хранительница апостольских истин; теперь дети сами склоняются над нею, ловя губами капельку святого елея – их ночного помазания; так молящиеся прикладываются к статуе своего святого патрона-целителя. У меня даже нашлись еретики – о, немного, ровно столько, сколько положено! – эти откидывают голову назад или строптиво отворачиваются.

До чего же восхитительна двусмысленность фории, позволяющая обладание, господство над другими в той же мере, что и собственное самозабвенное рабство!

Мрачные записки

Я заметил, что душевая может служить идеальным местом для создания той самой *ПЛОТНОСТИ АТМОСФЕРЫ*, которая всегда казалась мне противоположным или добавочным полюсом фории. Это обширное – примерно двенадцать на двадцать метров – помещение, куда проходят через раздевалку. Пол выложен плиткой со сточными желобками, с потолка сталактитами свисают головки душ; вода содержится в резервуаре на пять тысяч литров, со встроенным котлом, и подается нажатием рычага на стене раздевалки. Смесители позволяют включать холодную и горячую воду по отдельности или вместе.

Раньше дети запускались в душевую центуриями. Теперь, в целях экономии тепла, они будут принимать душ все вместе. И если прежде, для укрепления духа мужской солидарности, в омовениях принимал участие кто-нибудь из офицеров или унтер-офицеров, то с завтрашнего дня сопровождать детей буду один я.

Поскольку вместо угля мы давно уже топим дровами, приходится поддерживать огонь всю ночь, чтобы нагреть воду хотя бы до 40 градусов. Я не менее пяти раз за ночь спускался в котельную, – воспоминание о Несторе, задохнувшемся в подвале коллеги Святого Христофора, лишило меня покоя и сна. Детям было приказано явиться в душевую к восьми утра, перед завтраком. К этому часу я уже лежал там, на скамье, голый, полузадушенный и ослепленный низвергавшимися сверху горячими струями, как вдруг помещение заполнилось чистой музыкой мальчишеских голосов, смешанной со шлепаньем босых ног по кафельному полу. Радостный гомон, толкотня, смех под яростно хлещущей с потолка водой, в молочно-сером облаке пара, заволокшего все вокруг. Обнаженные тела то растворяются в тумане, то внезапно выныривают оттуда на какой-то миг, чтобы тут же, подобно миражу, растаять вновь. Чудится, будто дети варятся в гигантском котле на кухне людоеда, но я-то сам бросился в него, движимый любовью и желанием свариться вместе с ними. Задавленный, заверченный, стиснутый их мокрыми скользкими телами, я, наконец, обрел то, прежнее *СОЗНАНИЕ*, позабытое за долгие прошедшие годы, вернее, с самого начала войны; назову его *АНГЕЛЬСКИМ*. Только нынче оно очищено раскаленным паром и отмечено *ПЕРЕМЕНОЙ ЗНАКА*: теперь это уже не злая воля, низвергавшая меня в бездну тоскливого страха, но блаженное успение на непорочно-чистой кипени облаков, в коем было бы мало возвышенного, если бы не глухие, тревожные, сотрясающие грудь удары сердца, трагический там-там, в мерном ритме которого текут счастливые мгновения моего апофеоза. Я грежу о возрождении плоти, какое сулит нам религия, но плоти преображенной, в апогее юной свежести, и подставляю свое потемневшее, траченное возрастом тело, блеклую, испещренную метами времени кожу обжигающим струям и облакам пара; прикипаю своим черным одутловатым лицом к упругой белоснежной детской плоти, в безумной надежде исцелиться этим касанием от моего взрослого уродства!

Мрачные записки

Ночи заметно похолодали, а постоянная нехватка топлива не позволяет обогревать маленькие, на восемь кроватей, дортуары; пришлось отказаться от них и

разместить детей в огромном рыцарском зале, согреваемом старинными чугунными печами. Мальчишки с восторгом приветствовали эту перемену, сулящую богатые возможности для ночной «бузы». Что до меня, то вот удобный случай сопоставить мое задумчивое, тоскливое одиночество этой новой, огромной ночной общности, полной вздохов, сонных грез, кошмаров и глубокого забытья.

Дети по собственной инициативе тесно сдвинули кровати, образовав из них второй, приподнятый пол, белый и мягкий, по которому я с удовольствием пробежался из конца в конец босыми ногами. Этому помещению скорее подойдет название «гипнодром», чем спальня, в традиционном смысле слова.

«Гипнодром» и впрямь оказался чудом из чудес. Грандиозная «буза», с вождением ожидаемая мальчишками, вылилась в настоящую вакханалию: азартная скачка по белой упругой равнине, составленной из узких кроваток; мелькание одеял и подушек, сбивающих с ног целые группы сражавшихся, которые с радостными воплями кувырком валились на постели; свирепое преследование «врага», которое заканчивалось под кроватью; яростные атаки крепости, сооруженной из тюфяков. И все это в горячей, спертой, потной духоте, куда плотные оконные занавеси не пропускали ни единого дуновения ветра.

Забившись в тесную нишу, где никто меня не замечал, я долго следил за этими безумствами. Я знал, что дети весь день копали противотанковые рвы и теперь сжигают последние свои силенки. Вот уже кто-то из них заснул прямо там, куда свалился в потасовке. Да и общий накал страстей начал заметно ослабевать; тут-то я и положил конец шашашу, разом выключив семьдесят пять мощных ламп, освещавших зал. И тотчас семьдесят пять ночников слабо замерцали по стенам, убаюкивая своими голубоватыми дрожащими огоньками куда вернее, чем ночная тьма. Шум и возбуждение улеглись почти мгновенно, и только несколько самых неугомонных все еще сражались по углам. Только тут я почувствовал, как неодолимо смыкаются мои отяжелевшие веки. Никогда бы не подумал, что я, стойкий полуночник, чемпион бессонницы, задремлю одним из первых, сидя на кровати и привалившись спиной к стене; может быть, это явилось для меня самым ярким и поучительным эпизодом нынешнего вечера. Если до сих пор я спал так скверно, значит, мне просто было назначено всегда ночевать в обществе четырехсот детей.

Но, видимо, кто-то сидевший во мне твердо знал, что я оказался здесь не ради одного только сна, ибо среди ночи я внезапно, толчком, проснулся, притом, таким бодрым, словно проспал целые сутки. Детские тела, разбросанные в самых немыслимых позах на широком голубовато-белом поле, выглядели поразительно странными. Одни сбились тесными группками, словно объединенные страхом; другие сплелись в братском объятии; третьи легли на кровати ровными рядами, как будто их скосила автоматная очередь; но самое патетическое зрелище представляли одиночки – те, что расплзлись по углам подобно раненому зверю, умирающему подальше от всех, или же, напротив, из последних сил потянулись – и не успели! – к товарищам.

После восторженного вечернего ажиотажа это затихшее поле битвы безжалостно напомнило мне о том неизменно угрожающем повороте судьбы, чье имя – злонесущая инверсия. Предсказания, расточаемые Командором, всегда звучали слишком символично и оттого невнятно. Урок же данного вечера отличается пугающей наглядностью. Все сущности, раскрытые мною и доведенные до высшей точки накала, могут завтра – да что завтра, уже сегодня! – *СМЕНИТЬ ЗНАК* и сгореть в адском

огне, тем более жестоком, чем восторженнее я стану им поклоняться.

Однако печаль, навеянная этими предчувствиями, была столь возвышенной и величественной, что легко соседствовала с торжественной радостью, переполнявшей меня в те минуты, когда я склонялся над моими маленькими спящими воинами. Я переходил... нет, окрыленный нежностью, почти перелетал от одного к другому; я отмечал и запоминал своеобразие сна каждого из них; некоторых я переворачивал, чтобы заглянуть им в лицо, как переворачивают гальку на пляже, открывая ее вторую, влажную, спрятанную от солнца щеку. Дальше я приподнял, не разъединяя, пару крепко обнявшихся близнецов, и они оба с сонным бормотанием мягко уронили головы мне на плечо. О, мои большие уснувшие куклы с влажными вспотевшими лицами и бессильно-мягкими телами! – мне никогда не забыть вашу особенную, *МЕРТВУЮ* тяжесть! Мои руки, мои плечи и спина, каждый мой мускул навсегда запомнит этот необычный, ни с чем не схожий груз...

Мрачные записки

«Много позже, размышляя о знамениях той достопамятной ночи, я пришел к выводу, что разнообразные позы спящих детей можно свести к трем основным типам.

Во-первых, это «спинная» поза, делающая из ребенка нечто вроде распростертой на могильной плите фигуры с набожно сложенными руками, обращенным к небу лицом и вытянутыми ногами; она говорит скорее о смерти, нежели об отдыхе. Ей можно противопоставить «боковую» позицию, когда колени подтянуты к подбородку, а все тело свернуто калачиком. Это так называемая «зародышевая» поза, наиболее распространенная из всех трех; она напоминает о внутриутробной жизни человека, вплоть до его появления на свет. В отличие от этих двух поз, подражающих преджизненному и послезжизненному положениям тела, третья – «ничком» – является той единственной, что полностью соответствует земному, настоящему периоду бытия. Она, и только она, сообщает значимость, притом, первостепенную, тому ФОНУ, на котором располагается спящий. Человек прижимается, льнет к этому фону – в идеале, к нашей родимой земле, – стремясь одновременно и обладать ею и просить у нее защиты. Он принимает позу и любовника земли, оплодотворяющего ее семенем своей плоти, и солдата, которого научили «кланяться матушке-земле», чтобы спастись от пуль и осколков снаряда. При позе «ничком» голова лежит боком, на правой или левой щеке, вернее, на том или другом ухе, словно человек вслушивается в голос земли. И, наконец, вспомним Блаттхена, утверждавшего, что данное положение тела наиболее удобно для сна «длинноголовых»; вполне возможно также, что обычай укладывать младенцев на живот, поворачивая им головку набок, идет от желания – с учетом мягкой податливости детских косточек – превратить их в долихоцефалов.

Мрачные записки

Вчера я разглядывал Синюю Бороду, расседланного и привязанного к кольцу в стене. Интересно: конь без сбруи мгновенно теряет благородство осанки, роняет голову, расслабляет уши и спину, принимает унылый, какой-то побитый вид. Но стоит накинуть на него уздечку, затянуть намордный ремень, надеть стремяна, и он тут же напряжется, вскинет голову, насторожит уши, звонко заржет и ударит копытом в землю... Вот так же и я пребываю в меланхолии и, раздавленный гнетом собственного тела, собственной силы, не могу шевельнуть ни рукой, ни ногой, пока не почувствую на себе тяжести ребенка, – и в тот же миг встрепенусь и воспряну к жизни, стиснутый его коленями, оседланный его чреслами, обвитый его ручонками, осчастливленный его смехом.

Мрачные записки

В отличие от ягодич взрослых людей – этих бугорков мертвой плоти или, вернее, сала, жалких, как верблюжьих горбы, – ягодички ребенка всегда выглядят живыми, трепещущими, бодрыми; иногда они могут показаться бледненькими и опавшими, но миг спустя, глядишь, опять смеются и сияют, выразительные, как детские личики.

Мрачные записки

Шесть часов утра. Первые солнечные лучи уже заиграли на блестящих черепицах восточных башен. Под легкой солнечной лаской все четыреста маленьких пенисов на гипнодроме напряжились, воздели свои слепые головки, в еще сонной грезе о желанном апофеозе, о приобщении к свету, краскам, ароматам, к *ГЛАВНОМУ ДРЕВУ* ангепа-фаппофора. Но едва истечет минута утреннего возбуждения, как они вяло сникнут, обреченные на долгую неволю в темнице гениталий, откуда их выпустят разве что для мерзкого соития с целью продолжения рода. А, впрочем, может быть, именно фория... Кто знает, не в этом ли кроется смысл великой награды Святого Христофора: за то, что он перенес на своих плечах Бога-младенца, шест его внезапно расцвел и покрылся плодами.

Мрачные записки

Мед, источаемый их ушами и такой же золотистый, как пчелиный, отдает едкой горечью, что отвратила бы любого – кроме меня.

VI АСТРОФОР*

«В полночь Господь поразил всех первенцев в
земле египетской».

Исход, XII, 29

*Несущий звезду, Звездоносец (*греч.*).

Последние бои конца 1944 года разразились в Восточной Пруссии, близ городка Гольдап, в сотне километров к северо-востоку от Кальтенборна. 22 октября город, дом за домом, взяли войска Третьего Белорусского фронта под командованием генерала Черняховского, но 3 ноября он был отбит 29-й танковой дивизией генерала Деккера. Затишье, установившееся вплоть до нового советского наступления, которое началось 13 января 1945 года, позволило местным жителям оценить размеры грозящей им опасности, а также «надежность» гарантий, на которые не скупилось нацистское правительство. Решиться на бегство из Восточной Пруссии, подальше от Красной армии, означало стать преступником, пораженцем и предателем в глазах немецких властей. Нескончаемые вереницы беженцев с Востока, спасавшихся от грозного вала русских войск, – сначала белорусские крестьяне, за ними литовцы из Мемеля* и, наконец, первые немцы с восточной границы Пруссии, – ни в коем случае не должны были рассматриваться местным населением как сигнал к эвакуации. На центральной площади почти каждой деревни, каждого города болтались в петле люди, уличенные в приготовлениях к отъезду. Таким образом, Красная Армия нашла гражданское население районов, покинутых вермахтом, на месте, в испуганном и покорном ожидании. Советские солдаты докладывали командованию, что, заходя на фермы, видели там полный порядок: скот в стойлах и конюшнях, огонь в очаге, суп на плите. А тем временем по узким малочисленным дорогам края, в обжигающем холоде середины зимы, растерянно метались разноязыкие толпы беженцев, стремящихся на запад, поближе к немецкой армии, подальше от линии фронта.

Хотя Тиффожа мало затрагивали внешние события, ему все же пришлось дважды быть свидетелем этого горестного исхода. В первый раз это случилось незадолго до Рождества 1944 года, на дороге между Арисом и Ликом. Немецкая войсковая колонна медленно продвигалась в сторону Лика, а шедшее ей навстречу, в Арис, скопище беженцев остановилось, словно парализованное стужей. Вероятно, на подступах к Арису возникла безнадежная пробка. Пользуясь остановкой, мужчины соскакивали с повозок, чтобы проверить упряжь и покрепче привязать вещи; детишки тем временем весело шныряли по обочинам и в придорожном кустарнике. Тиффож подстегнул коня и мелким галопом поскакал вдоль вереницы людей и телег в направлении Ариса; через полтора километра он, наконец, увидел причину этой задержки – группу военных и гражданских, суевившихся вокруг двух опрокинутых повозок. Видимо, войсковая упряжка, пытавшаяся пройти в обход движения, по обледенелому склону, так неудачно столкнулась с крестьянской телегой, что дышло последней буквально протаранило одну из военных лошадей. Агонизирующее животное рухнуло на колени между своей напарницей и крестьянской лошадежкой, которые с диким ржанием рвались из постромок, пытаясь освободиться.

Тиффожа глубоко поразило зрелище этого всеобщего панического бегства. Он думал об исходе французов в июне 1940 года, казавшемся, в сравнении с нынешним, прямо-таки «Отплытием на Цитеру»**, и мысленно повторял слова из Святого Писания: «Молитесь о том, чтобы бегство наше не случилось зимою». Воспоминание о лошади с пробитой грудью болезненно запечатлелось в его сердце, и он не преминул уловить в нем символ – увы, необъяснимый! – даже, более того, геральдическую фигуру, доселе не известную, но имевшую определенное сходство с гербом Кальтенборна. Зато другое зрелище, открывшееся его взору, когда колонна беженцев наконец дрогнула и медленно двинулась вперед, было лишено всякой символической ауры; от него веяло голым, неприкрытым ужасом: человеческий труп, распластаный,

*Немецкое название г. Клайпеда.

**Намек на картину известного французского художника Антуана Ватто, изображающую галантную сцену на фоне летнего пейзажа.

впечатанный в обледенелое шоссе, бесконечное число раз изутюженный гусеницами танков, колесами грузовиков и телег, наконец, просто затоптанный солдатскими сапогами так, что его сплющило до толщины ковра, и на этом жутком ковре, лишь отдаленно напоминавшем тело, едва проглядывались остатки лица с одним глазом и прядью волос.

Через несколько дней на дороге от Лотцена к Рейну Тиффожу выпала другая встреча, которая потрясла его до глубины души. Этих пленных он увидел еще издали; их головы были обмотаны поверх военных пилоток шарфами, ноги утеплены шерстяным тряпьем или газетами, обвязанными веревками; почти все тащили за собой на маленьких деревянных полозьях фибровые или картонные чемоданы, превращенные таким образом в санки. Сколько их там насчитывалось? – сотни, а, может, и целая тысяча; они держались совсем не так подавленно и немо, как другие пленные, – напротив, смеялись и балагурили, размахивая на ходу торбами с провизией. Едва заметив их вдали, Тиффож уже понял, что его ждет; тем не менее, первая же услышанная французская фраза больно пронзила ему сердце. Он собрался было поздороваться с ними, расспросить, но какое-то близкое к стыду стеснение помешало ему раскрыть рот. Он вдруг вспомнил, с удивившей его самого ностальгией, шофера Эрнеста, Мимиля из Мобежа, Фифи из Пантена, Сократа, а главное, дурачка Виктора. Если вдуматься, ничто не мешало ему присоединиться к этим людям, что весело шли в сторону Франции, собираясь одолеть пешком более двух тысяч километров земли, вспаханной войной, среди суровой зимы, в жалкой обуви из тряпок и газет. . . Опустив глаза, он взглянул на собственную обувь, принадлежавшую сеньору Кальтенборна – красивые черные мягкие сапоги, которые он нынешним утром до блеска начистил собственными руками. Пленные уже поравнялись с Тиффожем и понизили голоса, принимая его за немца; один только чернявый коротышка, немного похожий на Фифи, задорно крикнул ему на ходу:

– Фриц капут! Советски кругом, везде, uberall!

Это чисто парижское зубоскальство при первом же контакте с соотечественниками внезапно напомнило Тиффожу о той непреодолимой пропасти, что всегда отделяла его – тяжело-весного, молчаливого меланхолика – от большинства его легкомысленно-веселых товарищей. Повернув Синюю Бороду, который громким пуканьем демонстрировал свое недовольство поддержкой, он поехал обратно в Кальтенборн. Наверное, он тотчас забыл бы эту встречу, ибо давно уже принадлежал душой и телом Пруссии, что теперь рушилась вокруг него, но до самого замка его неотступно преследовал образ Лесного царя, затаившегося в болотах, защищенного плотным слоем ряски от любых посягательств – что людей, что времени.

Мрачные записки

Сегодня утром поездка в Гумбинен. Перед сапожной мастерской томится очередь из женщин и стариков; у каждого в руках кусок автомобильной покрышки. Войдя внутрь, клиент разувается и ждет, пока сапожник вырежет из старой резины новую подметку и прибьет ее на развалившуюся обувь.

По мере того как возрастает мое могущество, я со смесью восхищения и страха наблюдаю за безудержным падением немецкой нации. Детей младшего возраста уже эвакуировали в тыл. Тех же, кто постарше, призвали во вспомогательный состав ПВО, поэтому школы закрываются одна за другой. Почтовые отделения работают только в кантонных центрах, и для отсылки письма или бандероли приходится преодолевать многокилометровые расстояния. В мэриях сидят древние старики, которые замещают и мэра, и его помощника, и секретаря, выполняя лишь самые

необходимые функции, а именно: раздачу продуктовых карточек и уведомление семей о гибели их мужчин на фронте; а еще, как ни странно, они регистрируют браки. Последнее – по приказу гауляйтера. Великий рейх даже на пороге краха настоятельно требует, чтобы новое потомство являлось на свет только в результате законного брака, и никак иначе. Кстати, на всю огромную, в сто километров, округу работает теперь один врач.

Иногда я слышу, как люди жалуются: жизнь, мол, усложняется. Правда же состоит в обратном: она упростилась, но упростилась до такой примитивной степени, что стала невыносимо тяжелой. Прежде все звенья административной, торговой и прочих систем современной жизни выполняли роль буфера, смягчавшего трения между людьми и вещами. Теперь же население лицом к лицу столкнулось с грубой действительностью.

Именно оттого, что эта страна гибнет, она все прочнее завоевывает мое сердце. Я представляю себе, как она падает к моим ногам – голая, обессиленная, разоренная, ввергнутая в полное ничтожество. И чудится, будто при этом крушении обнажаются ее корни, основы, прежде скрытые от всех, а нынче немилосердно выставленные напоказ. Вот так же перевернутый на спину жук беспомощно сучит в воздухе всеми шестью ножками вокруг белого мягкого брюшка, внезапно лишившись своей надежной, темной опоры – земли. И если принять это сравнение, то явственно чувствуешь острый запах влажной земли и живого гниения, исходящий из развороченного чрева поверженной нации. Здесь покоится огромное беззащитное тело Пруссии, в нем еще теплится жизнь, но я уже попираю его мягкую податливую плоть своими сапогами. Да, поистине, нужно было свершиться тому, что свершилось, чтобы подчинить эту страну и ее детей моей властной и требовательной нежности.

Рауфайзен отсутствовал целую неделю. Однажды вечером он вернулся в Кальтенборн с колонной военных грузовиков, которые доставили в крепость три тысячи фауст-патронов и тысячу двести противотанковых мин; их сложили во дворе замка. Фауст-патроны – маленькие ручные гранатометы, необычайно эффективные, несмотря на легкий вес и простоту конструкции, – представляли собой идеальное оружие для стрелков-одиночек против вражеских танков. При попадании в броню кумулятивный заряд разрывался и выбрасывал вперед мощную струю раскаленного газа со скоростью нескольких тысяч метров в секунду и температурой в несколько тысяч градусов. Экипаж, как правило, сгорал, а воспламенившиеся пары масел и бензина приводили к взрыву машины. Однако фауст-патроны имели ограниченный радиус действия – восемьдесят метров, и инструкторы особо подчеркивали, что нужно подойти к цели так близко, как позволит храбрость стреляющего. Пятнадцать метров – вот идеальная дистанция, твердили они, – идеальная, разумеется, для героев, для дерзких безумцев, и требующая от человека перед мчащимся на него танком хладнокровия, граничащего с полным бесчувствием.

Потому-то Рауфайзен и старался во время теоретических занятий, проходивших в аудитории, где специально установили грифельные доски для чертежей, внедрить в сознание детей мысль о том, что бронированное чудовище не так уж и страшно.

– Танк глух и наполовину слеп, – неустанно повторял он, отчеканивая каждое слово. – Вы его слышите, он же не слышит ничего. Грохот двигателя не позволяет запертому внутри

экипажу различить природу и направление выстрелов противника, будь то автоматическое оружие, артиллерия или авиация.

– Танк почти слеп. Его видовая щель узка, а сектор обзора настолько ограничен, что в мертвую зону попадает как раз то, что находится в непосредственной близости. Тряска при движении еще больше затрудняет этот обзор. А ночью танк вообще вынужден идти с открытыми люками.

– Танк не способен стрелять одновременно во всех направлениях, тем более, в объекты, находящиеся рядом. Мертвые зоны обстрела плюс те тридцать секунд, что требуются башенному стрелку для полного разворота орудия, разрешат любому умелому пехотинцу действовать без всякого риска. Мертвое пространство пушки составляет от семи до двадцати метров, а пулемета – от пяти до девяти, в зависимости от типа машины. И, наконец, из танка на полной скорости совершенно невозможна прицельная стрельба. Для этого ему придется остановиться и тем самым спугнуть нападающего.

Затем Рауфайзен перечислил шесть самых уязвимых мест танка, в которые следует целиться: гусеницы, днище, воздухозаборник, бензобак, двигатель, стрелковая башня и смотровая щель.

По мере того как он говорил, дети явственно представляли себе, как оживает это сказочное чудовище, пугающее, смертоносное и, вместе с тем, медлительное, шумное, неуклюжее, глухое и полуслепое; они сравнивали его с пернатой и мохнатой дичью, на которую привыкли охотиться. Что ж, эта бронированная дичь выглядела, конечно, пострашнее оленя, но зато ее легче было преследовать и уничтожать; в общем, эдакий гигантский железный кабан, только и всего, сущие пустяки! И они весело смеялись, заранее предвкушая, как здорово поохотятся на этих свержзверей.

Но реальные стрельбы фауст-патронами, организованные в ландах Айхендорфа, где сложились кирпичные стенки, силуэтом напоминающие танк, вернули детей к суровой действительности. Оглушительный взрыв при выстреле, болезненная отдача, струя горячего воздуха, обжигающая затылок, истошный визг не взорвавшегося снаряда, скачущего рикошетом по снегу оттого, что его выпустили под слишком крутым углом к земле, ослепительный клинок пламени, взметающего в воздух кирпичи, словно конфетти, все это очень скоро заставило детей понять, что им дали в руки адскую игрушку, с которой началась в их жизни новая эра. Впрочем, первый несчастный случай произошел уже через два дня и стоил жизни юнгштурмовцу Гельмуту фон Биберзее.

Согласно принципу устройства безоткатного орудия, энергия порохового заряда действует в двух противоположных направлениях – вперед, выталкивая снаряд, и назад, в атмосферу. Главная опасность, грозящая наводчику и всему орудийному расчету, таится в выбросе огня с обратной стороны дула, которое на первый взгляд кажется вполне безобидным. Если на пути этого выброса встретится слишком близкое препятствие, пламя брызнет веером, охватив стоящих рядом людей; особенно уязвим в этом случае подносчик снарядов, стоящий позади наводчика, ибо радиус смертоносного действия огня достигает трех метров.

Когда Тиффож узнал, что Гельмут буквально обезглавлен огненным кинжалом, вырвавшимся из ствола фауст-патрона, и что его останки перенесли в часовню, он тотчас поспешил туда и почти всю ночь провел возле погибшего мальчика.

Мрачные записки

До самой зари я не мог оторваться от созерцания тщедушного детского тела, словно нарисованного черной тушью по белой простыне; на плоском костяке там и сям вздымались круглые бугорки мускулов – точь-в-точь наросты омелы, прильнувшей к оголенным древесным ветвям. Не знаю, верно ли передает этот диковинный образ мое ощущение, что в лежащем передо мной обезглавленном теле не осталось больше ничего человеческого. Я хочу сказать, ничего такого, что побуждало бы взрослых заботиться о нем. Гельмут фон Биберзее – больше не Гельмут, у него нет ни имени, ни адреса. Теперь это некое существо, упавшее с неба подобно метеориту и обреченное бесследно раствориться, исчезнуть в земле. Смерть придала его плоти ту полноту и законченность, которыми та никогда не обладала при жизни. Сухожилия, нервы, внутренности, сосуды, вся эта скрытая от глаз механика, согревавшая и питавшая его кровью, расплавилась, обратившись в твердую спекшуюся массу, у которой остались лишь форма и вес. Даже грудная клетка приподнялась, словно в глубоком неоконченном вздохе, да так и застыла, исключая малейшую надежду на живой трепет. И, разумеется, мои размышления витали в первую очередь вокруг понятия веса – мертвого веса – тела мальчика; эти мысли должен был увенчать собою форический акт.

Я всегда подозревал, что человеческая голова – это наполненный духом шар (вспомните: spiritus, ветер!), шар, который приподнимает тело, держит его в вертикальном положении, перетягивая в себя большую часть его веса. Голова – вот что одухотворяет и обесплочивает тело. И, напротив, тело, лишенное головы, тотчас рушится наземь, внезапно вернув себе тяжкий, гнетущий вес плоти. Подобная двойственность, при которой распределение духа влечет за собой ту или иную весомость плоти, дала мне возможность сформулировать *ОТНОСИТЕЛЬНУЮ* версию этого феномена, который смерть восстанавливает в его *АБСОЛЮТНОМ*, конечном варианте. Вот откуда выпуклость мускулов и грудной клетки, кажущаяся чрезвычайной, несмотря на мертвую инерцию застывшего тела, лишенного всех своих двигательных пружин.

Я поднял на руки маленького покойника, не отрывая взгляда от ужасного зияющего среза на месте его головы. И тотчас же, несмотря на всю мою силу и готовность к этой тяжести, я пошатнулся, едва не упав. Клянусь, обезглавленное тело мальчика весило втрое или вчетверо больше его живого.

И мой форический экстаз вознес меня в черные небеса, что каждое мгновение содрогались от размеренного грохота пушек Апокалипсиса.

Мрачные записки

В самом сердце ночи... Все они здесь, на гипнодроме, покорные, всецело подвластные мне в своем глубоком сне. Что делать?словно огромная мохнатая ночная бабочка, я тяжело, неуклюже перепархиваю от одного к другому, не зная, как выразить свое желание, как утолить ту печальную жажду, что томит и сердце и плоть. Ночная бабочка, окрыленная любовью, летит к электрической лампе и, достигнув вожделенной цели, не знает, что делать дальше, что ей делать с этой лампой. И впрямь, – что может бабочка сделать с этим стеклянным предметом?!

По правде говоря, меня неотрывно мучит одно подозрение, столь упорное, что придется записать его на этом листе бумаги, скрытом ото всех ночной тьмой. Не могло ли случиться так, что бодрствование подле останков Гельмута пробудило во мне вкус к плоти, гораздо более тяжеловесной и мраморно-холодной, чем эта, смешно посапывающая во сне, на гипнодроме?!

Мрачные записки

Одна из роковых особенностей, тяжело довлеющих надо мною (может, следовало бы сказать наоборот: одно из осеняющих меня благословений?), заключается в том, что стоит мне высказать какое-либо пожелание, задать вопрос, и судьба рано или поздно займется «моим делом» и даст на него ответ. Каковой ответ почти всегда поражает меня своей силой, хотя я с давних пор размышляю над этим феноменом.

Что делать с детьми, заключенными мною в клетку Кальтенборна? Теперь я знаю, отчего абсолютная власть в конце концов непременно сводит с ума тиранов. Они просто не знают, как ею распорядиться. Нет ничего убийственнее этой пропасти между безграничными возможностями и ограниченным умением применить их. Разве что сама судьба властно нарушит границы убогого человеческого воображения и подстегнет колеблющуюся волю. Так вот, – со вчерашнего дня мне ведомо ужасное и блистательное предназначение моих детей.

Рауфайзен прилагает невероятные усилия для того, чтобы Кальтенборн тщательно соблюдал инструкции по сопротивлению врагу, в изобилии рассыпаемые фюрером. Смерть Гельмута отнюдь не помешала дальнейшему проведению учебных стрельб фаустпатронами. Кроме того, все центурии посменно трудятся над сооружением минных полей. Они устанавливают так называемые «тарелки», не очень опасные для детей, поскольку взрываются под тяжестью не менее сорока килограммов. Но зато сама такая мина весит все пятнадцать, и юнгштурмовцам пришлось здорово попотеть, сгружая их с машин и устанавливая в местах возможного прорыва вражеских танков. Мины располагаются на участке шириной двести-триста метров, в шахматном порядке, так, чтобы на каждые два квадратных метра приходилось по три заряда.

Я вполне спокойно вел один из этих грузовиков (вермахт оставил их нам еще на несколько дней), несмотря на то, что пятьсот тяжелых мин, лежавших в кузове, могли вдребезги разнести целый город. Две предыдущие машины были уже разгружены, и мою ожидали всего десятка два мальчиков. По инструкции положено, чтобы один человек нес только одну мину, а дистанция между людьми должна составлять не менее сорока метров. Я раздал мальчикам мины и пошел следом за одним из них, движимый любопытством и симпатией, а, в общем-то, от нечего делать.

Это был Арним из Ульма, что в Вюртенберге, – типичный крестьянский сын из швабов, приземистый, плотный, большеголовый, с упрямым низким лбом; впрочем, светло-зеленые глаза и соломенно-желтые волосы с лихвой искупали в глазах эсэсовских селекторов эти недостатки. В общем, белокрысы брат наших овернцев, тем более, что швабы в Германии так же, как уроженцы Оверни во Франции, пользуются репутацией угрюмых скопидомов, недалеких и грязных. Однако мне

Арним нравился своей основательностью и силой; особенно крепкими были у него икры и ляжки, пожалуй, чересчур массивные для его веса, хотя при этом ступал он легко, слегка даже подпрыгивая при каждом шаге, словно его ноги забавлялись своей ничтожной ношей.

Однако на сей раз эта походка лишилась обычной упругости, ибо Арним из Ульма с трудом нес на вытянутой правой руке тяжеленный смертоносный диск, эдакий металлический «пирог» со взрывчаткой, чей вес заставил его наклониться всем телом налево и балансировать свободной рукой. Он продвигался вперед мелкими быстрыми шажками, и я решил догнать его со смутным намерением подсобить, невзирая на инструкции. Одолев сотню метров, Арним остановился, чтобы сменить руку, предварительно обмотав левое запястье тряпкой, снятой с правого: для такого груза оно было слишком хрупким. Затем он двинулся дальше, еще более торопливо, отставив теперь правую руку. Вдруг он снова остановился, оглянулся на меня и шутиливо надул щеки, показывая, как устал. Потом взялся за мину по-другому, более удобно, но не так, как предписывалось правилами минирования, с которыми нас долго и подробно знакомили на занятиях. Подняв мину обеими руками, он прижал ее к животу и понес, слегка откинувшись назад. Обе его остановки значительно сократили расстояние между нами, и я уже был в десятке метров от него, когда произошел взрыв.

Я ничего не услышал. Я просто увидел на месте Арнима ослепительно-белую вспышку, и тут же воздушная волна сбила меня с ног, накрыв кровавым дождем. Вероятно, я на какое-то время потерял сознание, потому что мне почудилось, будто меня сразу окружили и куда-то понесли, а это, конечно, невозможно. В медпункте все очень удивились, обнаружив, что я цел и невредим: кровь, залившая меня с головы до ног, была не моею, она принадлежала Арниму, в один миг распыленному на мириады кровавых шариков.

Это страшное крещение, случившееся тотчас после бодрствования у ложа мертвого Гельмута, превратило меня в другого человека.

Огромное красное солнце вдруг поднялось и встало передо мною. И солнцем этим был ребенок.

Багровый ураган швырнул меня в дорожную пыль, точно Савла, ослепленного божественным светом на пути в Дамаск*. И ураганом этим был юный мальчик.

Кровавый циклон простер меня ниц, точно молодого послушника перед благословляющим его епископом. И циклоном этим был маленький солдат из Кальтенборна.

Пурпурный плащ невыносимой тяжестью лег на мои плечи, утверждая меня в моем королевском достоинстве Лесного царя. И плащом этим был Арним, уроженец Швабии.

Мрачные записки

Придя в себя и отдохнув, я, тем не менее, не торопился расставаться с заботливым уходом фрау Нетта. Сам не знаю, почему. Вообще, если вдуматься, удивитель-

*Савл (впоследствии Святой Павел) был ярим преследователем христиан, но, встретив Христа на пути в Дамаск и послушав его речи, обратился в христианство. Был казнен в Риме.

но, как это я до сих пор упускал из виду эту часть подземелья, переоборудованную в медпункт, где сладковатый вьедливый запах эфира погружает меня в странное полуобморочное состояние. Взрезанная, вспоротая, раненая плоть является плотью куда в большей степени, чем здоровая, и у нее есть свои собственные одежды – повязки; такая дешифровальная решетка способна говорить неизмеримо красноречивее, нежели обыкновенный костюм. Атмосфера медпункта, пронизанная страхом и экстазом, тотчас вернула мне воспоминание о больничной койке Святого Христофора, где я пролежал несколько дней после того, как Пельсенер заставил меня вылизать языком свое разбитое колено.

Благодарение Богу, сегодня я достаточно силен и проницателен, чтобы спокойно и беспристрастно оценить тот злополучный, но крайне важный эпизод моей жизни. Мне понадобились долгие годы, чтобы вырвать, наконец, правдивое признание из самых потаенных и стыдливых глубин моей души. Однако будем справедливы и воздержимся от анахронизмов: когда лихорадка и конвульсии швырнули меня к ногам Пельсенера, я, разумеется, никак не мог анализировать случившееся. Я слишком буквально воспринимал все события своей жизни, чтобы пытаться их истолковывать, давать им название. Да и сделай я это, что толку: избыток преследовавших меня несчастий сам по себе вполне убедительно объяснил бы мой нервный срыв. Но за ним последовало довольно длинное пребывание в больнице – кажется, около двух недель, – и оно-то уж могло открыть мне глаза, если бы какая-то тайная боязнь узнать о самом себе слишком многое упорно не держала их закрытыми.

Итак, лишь сегодня, да, только сегодня я в состоянии написать правду о том кризисе и сделаю это, не вдаваясь в пространные рассуждения: в тот миг, когда мои губы слились с разверстыми губами раны Пельсенера, меня сотрясло и повергло в шок не что иное, как приступ радости, радости невыносимо острой, жгучей, точно ожог, несравнимой по глубине со всеми болями, испытанными что раньше, что потом, ибо это была боль наслаждения. И, конечно, мой еще девственный, замкнутый на собственную нежность организм не мог безболезненно перенести подобный опаляющий взрыв ощущений.

Что же касается последующих дней, проведенных на больничной койке, то они представляли собой лишь смягченный, ослабленный, как бы разнеженный повтор того невыносимого испытания. Сладковатый и какой-то двусмысленный запах эфира, пропитавший собой все кругом, вплоть до пищи, поддерживал меня в легком опьянении, счастливом и, вместе с тем, беспокойном. Но главное, что воспламеняло и воодушевляло меня в те лихорадочные часы, была моя зачарованность перевязками, то жадное любопытство, с каким я следил, как разматывают бинт, снимают ватный тампон, обнажают болезненно-белую, сморщенную кожу, а на ней красные губы раны. Марлевый квадратик, крест-накрест приклеенный пластырем, смущал меня неизмеримо сильнее, чем самые пышные и соблазнительные оборки. Ну, а сама рана, ее очертания, ее глубина, все этапы ее заживления дарили моему желанию пищу куда более богатую и неожиданную, чем нагота любого, пусть даже самого аппетитного тела. Подсыхающая рана затягивалась темной корочкой; иногда пациент сам нетерпеливо сколупывал ее, заново открывая сочащийся кровью порез, а иногда она отпадала сама, оставляя вместо себя новенькую, розовую, полупрозрачную кожу. И еще дезинфицирующие средства... они придавали ране какую-то вызывающую, неестественную красоту. Рыжие, как хна, узоры йода на

молочно-белых разводах перекиси образовывали прямо-таки, фантастический макияж. Но ничто не могло сравниться с кричаще-красным цветом нового лекарства – меркурохрома. Конечно, и при нем некоторые раны выглядели, как сухие уста праведниц с поджатыми губами, но такие составляли исключение. А большинство походило на веселые, хохочущие, грубо намалеванные губы разгульных шлюх.

Мрачные записки

Сегодня утром все четыреста детей были выстроены в плотное каре на плацу. Они только что совершили утреннюю пробежку и теперь, несмотря на холод, стояли в одних черных спортивных трусах, с голыми ногами и грудью. Рауфайзен, которому предстояло явиться к одиннадцати часам в комендатуру Йоганнисбурга, был, наоборот, при полном параде – в каске и мундире с португеей, в сверкающих сапогах, с моноклем в глазнице; сунув подмышку хлыст, он нервно прохаживался вдоль рядов. О, мне стоило только взглянуть, как этот тип, точно майский жук в блестящем панцире, красуется перед беззащитной невинностью, и я сразу угадал подлые замыслы, овладевшие его душой! Он выкрикнул короткий приказ, и ряды мальчиков рухнули вперед, наземь, словно сбитые костяшки домино; этот обширный ковер из тел напоминал аккуратные валки скошенных колосьев или травы. И тогда Рауфайзен прошел на середину этого костра, но не *МЕЖДУ* телами, а *ПРЯМО ПО НИМ*. Его сапоги безжалостно попирали человеческую плоть, давя на ходу то руку, то ягодицу, то затылок. Он даже приостановился на минуту посреди лежащих детей и, расставив ноги, закурил сигару, по-прежнему держа хлыст подмышкой.

Слушай же, Штефан из Киля! Твой дьявольский инстинкт подсказал тебе точную формулу идеального *АНТИФОРИЧЕСКОГО* акта, и за это я предвещаю тебе жестокую неминуемую смерть!

Они шли из Ревеля и Пернау, что в Эстонии, из Риги и Либавы, что в Латвии, из Мемеля и Ковно, что в Литве, только привлекали к себе гораздо меньше внимания, чем другие беженцы, ибо передвигались в основном по ночам и под охраной эсэсовцев, один вид которых создавал вокруг них пустоту. Старуха-крестьянка, увидевшая в лунном свете колонну этих бесшумных, как призраки, людей, говорила, что, видать, мертвецы на Востоке повставали из могил и бегут впереди врага, оскверняющего прах усопших. Другие очевидцы также утверждали, будто видели этих живых покойников, и добавляли еще, что головы у них наголо обриты, а высохшие тела кажутся скелетами в полосатых куртках заключенных; иногда они были скованы цепями. Если кто-нибудь из них падал от истощения, ближайший охранник тут же приканчивал его выстрелом в затылок; таким образом, и этот тайный исход оставлял после себя следы.

Тиффож ни разу не встречал такие колонны; он только слышал, что их срочно эвакуируют с «фабрик смерти», из шахт и карьеров, гетто и концлагерей, расположенных на Востоке. Однако пришел день, когда по пути в Ангербург ему пришлось остановить Синюю Бороду перед трупом, укрытым в канаве под старым пастушеским плащом. Это существо не имело ни пола, ни возраста, и только номер, вытатуированный на левом запястье, да желтая буква;

«J» в центре красноватой шестиконечной звезды, нашитой на левой стороне куртки, позволяли угадать, кем было оно при жизни. Тиффож сел на коня, но через пару километров ему пришлось спешиться вновь – на сей раз перед свертком из мешковины, прислоненным к путевому столбу. Это был ребенок в шапочке, сшитой из трех кусочков фетра. Он еще жил, он дышал. Тиффож легонько встряхнул его, попробовал расспросить, но тщетно, – мальчик пребывал в оцепенении, близком к смерти. Когда Тиффож поднял его на руки, у него даже сердце защемило от поразительной невесомости этого тельца, как будто в свертке, под грубыми лохмотьями, вообще не было ничего, кроме головы. Тиффож пустился в обратный путь, к Кальтенборну. До крепости оставалось два десятка километров, – значит, ему удастся, как он надеялся, вернуться еще до рассвета.

И действительно, часом позже светлая гиперборейская ночь все еще окружала его своим нежным мерцанием, своими тайнами. Синяя Борода шел вперед ровным, спокойным шагом, и лед разлетался сверкающими брызгами под его железными копытами. Это уже не было той безумной, горячечной скачкой, что приводила Тиффожа в Кальтенборн после удачной охоты с белокурой и свежей добычей в жадных руках. И сейчас его не опьянял обычный фориический экстаз, исторгавший у него то мучительные стоны, то всхлипывающий смех. Величественный звездный бестиарий, подобно нимбу, медленно вращался над его головой, в черной небесной бездне, вокруг полярной звезды. Большая Медведица со своей Колесницей, Жираф и Рысь, Овен и Дельфин, Орел и Телец чередовались с другими священными и фантастическими созданиями – Единорогом и Девой, Пегасом и Близнецами. Тиффож скакал вперед торжественно и неспешно, со смутным чувством, что открывает новую эру – эру *ЗВЕЗДОНОСНОЙ* фории. Ибо под его широким плащом укрывался Звездоносный мальчик; время от времени он размыкал уста, роняя тихие слова на неведомом языке.

Большая часть замковых кровель давно уже лишилась черепицы, и в образовавшиеся дыры свободно влетали полчища ночных птиц, угнездившихся на чердаке. Но в самом дальнем углу сохранилось подобие закрытого чуланчика, куда выходили отопительные и канализационные трубы; с помощью керосинового примуса здесь можно было поддерживать сносную для жилья температуру. Сюда-то Тиффож и водворил своего подопечного, уложив его на раскладушку, найденную в куче хлама. Потом он спустился в кухню и вернулся с чашкой молочной ячменной каши, которой попытался, – впрочем, безрезультатно, – накормить своего найденыша.

С этого дня жизнь его раздвоилась между привычными обязанностями внутри или вне замка и жарко нагретой чердачной камеркой, где он упорно боролся за жизнь умирающего Эфраима. Невозможно было определить возраст этого ребенка – то ли восемь, то ли пятнадцать лет; его страшное физическое истощение удивительно не соответствовало высокому умственному развитию. Тиффож отыскал в аптечке мыло с пиретрумом и стал бережно обмывать голову Эфраима, постепенно освобождая ее от зловонной корки из слипшихся волос, перхоти и гнид. Но особенно изводила мальчика дизентерия; ее мучительные спазмы заставляли скелетоподобное тело корчиться в судорогах, исторгая бледные выделения с кровяными подтеками. Когда приступ кончался, больной просил пить и жадно, стакан за стаканом, поглощал воду; в отсутствие Тиффожа он сам доползал до большого медного крана, торчащего среди топоров, багров, ведер и брезентовых рукавов на противопожарном щите. Утолив, наконец, жажду, он впадал в беспокойный сон, полный кошмаров и борьбы с невидимыми мучителями. Тиффож установил в чулане маленькую печурку, позволявшую ему готовить, не привлекая чужого внимания, мясные и овощные бульоны, которыми он кормил больного.

Пришлось ждать два дня, пока мальчик смог заговорить. Он объяснялся на дикой смеси

идиш с ивритом, литовским и польским, откуда Тиффож с трудом выуживал и переводил для себя слова немецкого происхождения. Но, для того чтобы понять друг друга, времени у них было предостаточно, да и терпения тоже, и, когда ребенок обращал к Тиффожу свое изнуренное, покрытое язвами личико, на котором жили, казалось, одни огромные черные глаза, тот слушал его, затаив дыхание, всем своим существом, ибо перед ним воздвигалась новая, неведомая вселенная, отражавшая его собственную до ужаса верно, только с противоположными знаками.

Так он узнал, что под этой Германией, одурманенной экстазом войны и разделившей на двое немецкую нацию, простиралась другая, подземная страна концлагерей, ничем, за малыми случайностями, не сообщавшаяся с поверхностным миром живых. По всей Европе, оккупированной вермахтом, а, главное, в Германии, Австрии и Польше, около тысячи городов, сел и деревень образовывали адскую географическую карту тайной империи, имевшей не только свои столицы и районные центры, но и супрефектуры, транспортные узлы и пункты сортировки людей. Ширмек, Нацвиллер, Дахау, Нойенгамме, Берген-Бельзен, Бухенвальд, Ораниенбург, Терезиенштадт, Маутхаузен, Штутгоф, Лодзь, Равенсбрюк... Их названия звучали в устах Эфраима как давно знакомые и привычные ориентиры этой заселенной призраками земли – единственной, какую он помнил с самого детства. Но ни Одно из этих названий не звучало так зловеще-звучно, как Освенцим, лагерь в тридцати километрах к юго-востоку от польского городка Катовицы; немцы называли его Аушвиц. Вот где находился *Anus Mundi* – великая метрополия нравственного падения, страданий и смерти, куда со всех концов Европы свозили миллионы жертв. Эфраим попал в этот лагерь таким маленьким, что ему казалось, будто он там и родился; он был почти горд тем, что вырос в этой страшной бездне, имевшей самую мрачную славу даже в глазах бывалых обитателей концлагерей. Эфраим и его родители были арестованы немецкими спецслужбами в июле 1941 года, сразу же после захвата Эстонии, и отправлены прямо в Освенцим. Их доставили туда в вагонах для скота, и от момента прибытия у мальчика осталось только одно четкое воспоминание – гигантская гроздь сосисок-дирижаблей в темном небе. Эсэсовцы гнали огромное людское стадо ударами палок в сторону лагеря. Затем был душ, стрижка и дезинфекция, после которой им разрешили выбрать себе одежду в куче разноцветного тряпья, к великой радости ребятишек.

– Мы со смехом напяливали на себя женские платья; некоторые едва ковыляли, потому что надели на ноги оба левых или правых башмака. Это было похоже на Пурим*!

И Эфраим не мог сдержать слабый, дребезжащий смешок, вспоминая тот «веселый» эпизод.

Потом его разлучили с родителями, которых он больше не увидел, и отвели в барак, где жили дети младше шестнадцати лет, в том числе и несколько младенцев. Один бывший учитель из соседнего барака приходил заниматься с детьми. Эфраим любил вспоминать, какую задачку он дал им однажды: что с вами случится, если вдруг исчезнет земное тяготение? Ответ был такой: «Мы все улетим на луну». Услышав это, Эфраим не удержался и прыснул со смеху. Эсэсовцы нередко обходились с детьми вполне милостиво: разрешали отращивать волосы, установили стол для пинг-понга и даже отдали целый узел одежды из Канады.

Когда Эфраим впервые произнес это слово – Канада, – Тиффож понял, что слышит голос великой злонесущей инверсии. Канада была заповедным краем его давней потаенной мечты, приютом его несторианского детства и первых месяцев прусского плена. Он потребовал разъяснений.

– Канада? – переспросил Эфраим, удивленный неведением Тиффожу. – Это сокровищница

*Еврейский религиозный праздник, во время которого дети надевают маскарадные костюмы.

Освенцима. Понимаешь, заключенные привозили с собой все самое ценное – дорогие камни, золотые монеты, украшения, часы. И когда они уходили в газовую камеру, то их одежду, вместе со всем, что лежало в карманах или зашивалось внутрь, складывали в специальный барак, – вот его-то и называли Канадой.

Тиффож никак не мог смириться с этой ужасной метаморфозой своей самой лучезарной, самой заветной мечты.

– Но почему, почему вы его звали именно Канадой?

– Да потому, что для нас Канада означала богатство, счастье, свободу! Вот взять хоть меня, – родители всю жизнь твердили: «Хочешь быть счастливым, эмигрируй в Канаду! У твоего двоюродного деда Иегуды есть фабрика готовой одежды в Торонто. Он богат, у него много детей». Вот я и мечтал попасть в Канаду. А нашел ее в Освенциме.

– Что же еще было в вашей Канаде?

– В одних отсеках держали одежду, в других – только очки, пенсне и даже монокли. О, и еще в одном бараке хранились волосы, женские волосы, не короче двадцати сантиметров, – такие можно было использовать для всяких поделок. Женщинам срезали волосы, а потом выбривали полосу от лба до затылка, чтобы их можно было узнать, если они сбегут. Волосы увозили из лагеря целыми вагонами. Говорили, будто из них делают валенки для немецких солдат, воюющих в России.

Тиффож слушал этот рассказ и вспоминал, как он приволок к фрау Дорн мешок волос и ножку косули. Только теперь он понял причину ужаса рослой костлявой женщины, что пятилась от него, мотая головой, отмахиваясь, протестуя всем своим существом. Ясное дело, она прослышала о волосах из Аушвица и решила, что он хочет приобщить ее к работе на этой огромной фабрике смерти.

Затем Эфраим рассказал о пытке переключками, которые длились иногда по шесть часов; заключенные должны были выстаивать их не двигаясь, как бы ни было холодно. И Тиффож тотчас признал в этой процедуре дьявольскую инверсию общей переключки в Кальтенборне, позволявшей ему любовно перебирать имена всех своих детей. После этого повествование о специально натасканных лагерных доберманах, которые преследовали и рвали в клочья заключенных, показалось ему всего лишь легким дополнительным штрихом, завершающим ту чудовищную аналогию, то противоестественное сходство, что стало теперь его личным адом. И уж окончательно добил его рассказ о газовых камерах, замаскированных под душевые.

– Под конец, – продолжал Эфраим, – я с двадцатью ребятами работал в Rollkommando; нам выдали телегу, и мы сами возили ее вместо лошадей. С этой телегой мы разъезжали по всему лагерю, а по главным аллеям так прямо неслись галопом. Я всегда бежал впереди и правил телегой, поворачивая дышло то вправо, то влево. Мы развозили белье, одеяла, дрова, поэтому нас везде пропускали, и мы все могли видеть. Я присутствовал даже на селекциях. Однажды мне удалось сунуть помаду женщине, чтобы она покрасилась и не выглядела бледной и больной. А в другой раз, зимой, надзиратель-«капо» разрешил нам зайти погреться в газовую камеру. Она выглядела, как обычная душевая. Когда приговоренные раздевались, им приказывали запоминать, куда они сложили свою одежду, чтобы потом легче найти ее. Им даже раздавали полотенца. А потом битком набивали эту самую «душевую» мужчинами и женщинами вместе. Под конец «капо» запихивали туда людей плечами и коленями, чтобы закрыть дверь; детей швыряли прямо на взрослых, поверх голов. Души, конечно, были ненастоящие. Я-то сразу углядел, что дырочки на них наколоты только для виду. Когда после «операции» двери открывались, было видно, что сильные пытались забраться повыше, чтобы спастись от газа, поднимавшегося с пола, и затапывали слабых. Мертвецы лежали кучей до самого потолка; внизу женщины и дети, а сверху, на них – мужчины, те, что посильней.

Несмотря на льготы, которыми Эфраим пользовался в силу своего возраста и работы в Rollkommando, он, конечно, не мог видеть своими глазами все, что происходило в этом царстве смерти. Но у него были уши, чтобы слышать, а новости распространялись по лагерю мгновенно. Эфраим знал о существовании некоего квартала «В», где доктор Менгеле проводил опыты на заключенных. По словам Эфраима, этот Менгеле страстно интересовался близнецами и неизменно присутствовал при разгрузке эшелонов, чтобы отбирать для своей лаборатории братьев или сестер-двойняшек. Главное, что его привлекало, это возможность произвести сравнительное вскрытие близнецов, умерших одновременно, а в обычной жизни такие случаи представляются чрезвычайно редко. Зато здесь, в лагере, рука доктора Менгеле помогала случаю. А еще в Освенциме ходили слухи об опытах по умерщвлению заключенных в вакууме, с целью разработки средств помощи летчикам при разгерметизации самолета на большой высоте. Подопытных загоняли в специальную камеру, из которой мгновенно выкачивали весь воздух. Сквозь застекленный иллюминатор видно было, как у жертв брызжет кровь из носа и ушей, как они вонзают ногти в кожу на лбу и медленным, неостановимым движением сдирают ее с лица.

Слушая подробные рассказы Эфраима, Тиффож, парализованный ужасом, почти воочию видел перед собой этот кошмарный Город Смерти, каждым своим камнем схожий с форической Цитаделью, о которой он грезил в Кальтенборне. Канада, изделия из волос, переключки, злобные доберманы, опыты над близнецами, исследования атмосферной плотности, а, главное – да, главное! – фальшивые душевые; все эти изобретения, все открытия выглядели отражениями какого-то адского зеркала, преобразившего их первоначальную суть в безжалостную, невыносимо-страшную реальность. Тиффожу осталось только узнать, что эсэсовцы стремились уничтожить в первую очередь два народа – евреев и цыган. Вот где увидел он доведенную до пароксизма тысячелетнюю ненависть оседлых рас к расам кочевников. Евреи и цыгане, народы-скитальцы, дети Авеля, его братья, с которыми он был солидарен и сердцем и душой, тысячами шли в Освенцим на пытки и гибель от руки современного, дисциплинированного Каина в сапогах и каске. Итак, все было ясно; Тиффож составил себе окончательное представление о лагерях смерти.

Если Освенцим становился конечным, смертельным пунктом назначения для большинства заключенных, прошедших под его порталом, украшенным лозунгом «Arbeit macht frei» (Труд освобождает), то для других он служил пересылкой, откуда их отправляли в другие лагеря или на заводы и стройки, по желанию администрации, которая парадоксальным образом стремилась и уничтожать свои жертвы и извлекать из их работы максимальную пользу. Весной 1944 года Эфраима с колонной его товарищей отправили под небольшим конвоем на родину, в Литву, где поместили в лагерь близ Каунаса, – впрочем, ненадолго, ибо уже в августе наступление советских войск заставило немцев свернуть этот лагерь, а пленников погнать пешком на юго-запад. Жалкое людское стадо тащилось от лагеря к лагерю и в конечном счете попало в провинцию Ангенбург, где Тиффож и нашел Эфраима.

Нацистские власти пытались елико возможно отсрочить одно мрачное, чисто символическое мероприятие, которое произвело бы в Восточной Пруссии весьма тяжелое впечатление – перенос в Западную Германию останков маршала Гинденбурга, покоившегося в мавзолее Танненберга среди знамен прусских полков, некогда сражавшихся под его командованием. И, однако, им пришлось сделать это в январе 1945 года, в тот момент, когда после двухмесячного затишья советские войска начали новое стремительное наступление на немецкие позиции. К 13 января сильные морозы сковали поверхность озер и болот, сделав их проходимыми для

тяжелых машин, и две русские танковые бригады, при содействии трехсот пятидесяти орудий, прорвали линию обороны между Гумбиненом и Эбенроде; следом за ними двинулись вперед тринадцать пехотных дивизий. Роминтенский лес был до неузнаваемости изуродован артаклетами, все охотничьи домики сгорели дотла. Несколько дней спустя в заснеженных полях и на заледенелых озерах края появились табуны лошадей с безумными глазами и растрепанными гривами; по выжженному на правой ляжке тавру в виде стилизованного лосиного рога местные жители догадались, что императорский конный завод в Тракенене прекратил свое существование. 27 января русские подошли к Кенигсбергу, и немецким инженерным ротам пришлось спешно взрывать бункеры и все остальное хозяйство гитлеровского «Волчьего логова» в Растенбурге. Говорили, будто жившая в Верцине старая баронесса фон Бисмарк, невестка «железного канцлера», наотрез отказалась покинуть замок и земли, которыми император наградил в 1866 году победителя при Садове. Она приказала слугам вырыть ей могилу рядом с домом и отпустила их, а сама осталась в имении с одним дряхлым лакеем; хрупкая, бесстрашная, с седыми волосами, уложенными в бандо по моде прошлого века, она сидела у окна, обмахиваясь веером, и ждала красного потопа, который, она знала, ей не суждено пережить.

Однако советские войска двигались вперед не сплошной линией, вытесняя немцев по всему фронту, а скорее прорывами в отдельных местах, разделенных иногда сотнями километров. Поэтому в тылу победителей оставались бесчисленные островки сопротивления, державшиеся тем более упорно, что Гитлер по-прежнему приказывал не капитулировать, а бороться до последнего солдата. Так, например, группа армии «Север», дислоцированная в Латвии и отрезанная от Восточной Пруссии еще в октябре 1944 года, получала снабжение морем, через порт Либаву, и продержалась до самого заключения мира. Кенигсбергская крепость сдалась только 10 апреля, и даже ко времени общей капитуляции вермахта, а именно, к 8 мая, отдельные армейские части все еще дрались с неприятелем; так было на полуострове Хела, на восточной окраине Данцига, и в других местах.

Роль напол в эти апокалипсические дни давно уже была определена их шефом, обергруппенфюрером СС Хассмейером; в своем циркуляре от 2 октября 1944 года он указал, что эти школы, большей частью расположенные в сельской местности, не смогут рассчитывать на поддержку армии в случае прихода врага; следовательно, они должны принять необходимые меры, чтобы стать автономными очагами сопротивления. Вот почему всем казалось вполне естественным, что комендант Кенигсберга при обороне крепости вывел на переднюю линию мальчишек в огромных солдатских касках, которые при каждом выстреле съезжали им на глаза; вместо сигарет и шнапса, раздаваемых обычно перед решительной схваткой, они получили конфеты и шоколад.

В ночь с 22 на 23 января обитатели Кальтенборна увидели вспыхнувшее на востоке зарево. Это пылал город Лик. Следующие двое суток под стенами крепости непрерывно шли разбитые войсковые части. Два старых танка М-2 протащили за собой на буксире четыре или пять грузовиков, забитых ранеными; лишенные управления, машины то и дело съезжали в обледеленый кювет. Мотоциклы BMW, участвовавшие еще во французской кампании, автобусы с разбитыми салонами, двуколки с брезентовым верхом, мохнатые лошаденки, еле-еле тащившие свою ношу, мотая головами и загнанно дыша, наконец, отдельные пехотинцы, везущие свой скарб в детских колясках, – все они скорбной чередой продефилировали мимо Кальтенборна как символы неминуемого разгрома. Рауфайзен благоразумно запер юнгштурмовцев в крепости, дабы скрыть от их глаз деморализующее зрелище гибели вермахта.

А потом в округе воцарились пустота и тишина. Наконец, полученная 1 февраля информация позволила начертить на карте новую линию фронта, проходящую от Кульма к Данцигу

через Грауденц, Мариенвердер и Мариенбург, расположенные в двухстах километрах к западу от Кальтенборна. И всем стало ясно, что крепость осталась в тылу врага, а схватка с ним – вопрос ближайшего времени.

Тиффож относился к этим внешним перипетиям довольно безразлично. Он проводил все свободное время рядом с Эфраимом, который медленно возвращался к жизни; она трепетала в мальчике еще довольно робким, но иногда уже и веселым огоньком. Однажды Тиффож взвалил больного к себе на плечи и стал прогуливаться с ним по чердаку, напомиравшему огромную, старинную, хаотическую декорацию, там и сям скупно освещенную слуховыми оконцами; он останавливался перед ними, чтобы показать Эфраиму бескрайние поля с озерами и болотами, окружавшие Кальтенборн. Эфраиму понравились эти прогулки, и отныне всякий раз, как Тиффож поднимался к мальчику, тот требовал, чтобы его катали на спине.

– Конь Израиля, неси меня! – командовал он. – Покажи мне деревья и дорогу, я должен увидеть оттепель, которая отметит ночь на 15 ниссана*.

Это была довольно опасная игра, и Тиффож отлично сознавал, какому риску подвергается мальчик-Звездоносец среди стаи юных белокурых хищников. Но тот ад, который претерпел Эфраим, не шел ни в какое сравнение с теперешней, нависшей над ним угрозой.

И, однако, в один из вечеров, когда «конь Израиля» проскакал по чердаку до северного крыла замка, он внезапно столкнулся нос к носу с эсэсовцем Риндеркнехтом, явившимся в кладовую за матрасами. Оба на секунду замерли от неожиданности, затем Тиффож, даже не спустив Эфраима с плеч, схватил эсэсовца за отвороты мундира, поднял в воздух, припер к стене и сжал ему горло с такой силой, что у того хрустнули позвонки. Эсэсовец обмяк, лицо его побагровело и уже начало синеть, как вдруг Эфраим с пронзительным криком забился на спине своего «коня» и начал колотить его обоими кулачками по голове. Тиффож, ослепленный страхом и гневом, продолжал свое дело, но ребенок оттолкнулся ногами, сорвался вниз и с судорожными всхлипами скорчился на полу. Тогда Тиффож бросил свою жертву, которая с хрипом сползла по стене, и опустился на колени рядом с мальчиком.

– Бегемот, не убивай его! – твердил тот сквозь рыдания. – Солдаты Вездесущего придут и освободят народ Израиля, но ты. . . ты не должен убивать! Клянусь тебе, он ничего не скажет!

Тиффож унес Эфраима в его чуланчик, не заботясь больше об эсэсовце; может быть, мальчик был прав, но опасность от этого меньше не становилась. Впервые ребенок подчинил француза своей воле в столь важном деле. Тиффож знал, что теперь ему суждено подчиняться своему питомцу и заранее смирился с этим фактом, чувствуя, что голосом мальчика говорит сама судьба. Однако он хотел знать, кто такой Бегемот и почему Эфраим присвоил ему это странное имя.

– Я назвал тебя так из-за твоей силы, Конь Израиля, – ответил Эфраим. – Однажды Господь отвечал Иову из бури и сказал так:

*«Вот Бегемот, которого я создал, как и тебя;
Он ест траву, как вол.
Вот его сила в чреслах его
И крепость его в мускулах чрева его.
Поворачивает хвостом своим, как кедром;
Жилы же на боках его переплетены.
Ноги у него, как медные трубы;*

*Канун еврейской пасхи.

*Кости у него, как железные прутья.
Это – верх путей Божиих;
Только Сотворивший его может приблизить к нему меч свой.
Горы приносят ему пищу,
И там все звери полевые играют.
Он ложится под тенистыми деревьями,
Под кровом тростника и в болотах.
Тенистые деревья покрывают его своею тенью;
Ивы при ручьях окружают его».*

Эфраим нараспев пересказал эту главу из Книги Иова, раскачиваясь взад-вперед на манер старых талмудистов. И заключил свою декламацию загадочным дребезжащим смешком.

Тиффож, которому немедленно представился Лесной царь, «под кровом тростника и в болотах», восхитился убежденностью ребенка в триумфальной победе его бога и с того дня начал тянуться к нему, как к священному пламени, в робкой надежде приобщиться к сиянию этой пророческой веры. Наступил день, когда в крепости не стало воды, – все водокачки округи, видимо, были разрушены бомбардировками. Потом вода все-таки потекла из кранов тоненькой струйкой кроваво-красного цвета, оставлявшей в раковинах следы ржавчины. Эфраим этому совсем не удивился: вот она – первая казнь Египетская, когда воды всей страны обратились в кровь!*

– Настали времена! – повторял он, – и освобождение наше близко.

К концу марта холода внезапно отступили. Буйные дожди очистили весь край от снега; ураганный ветер носил в воздухе беспомощные стаи скворцов, зуйков и чибисов, вздымал яростные волны на оттаявших озерах, затапливая на их низких берегах целые деревни. Наконец, он стих, и в небе показались треугольники диких гусей. Мальчишки, обслуживающие батареи ПВО, не отказали себе в удовольствии открыть огонь по этим живым мишеням, попавшим в сектор их обстрела. Снаряд разрывался в центре летящего «V», превращая стаю в беспорядочное облако перьев под ликующие вопли стрелков.

Рауфайзен не мог нарадоваться на эту преждевременную оттепель, обещавшую задержать возможное нападение русских. Но тем же вечером вдали, в ночном затишьи, пронизанном весенними ароматами и легкими хлопками раскрывающихся почек, впервые зазвучал четкий, сухой, пугающий рокот советских танков. Сомневаться не приходилось: вскоре к замку торопливо подъехал на молодом траккененском иноходце крестьянский парень; на его босых ногах нелепо блестели шпоры. Он прискакал из Ариса – большого селения, расположенного в пятнадцати километрах от Кальтенборна; по его словам, все жители оттуда были эвакуированы, остались только он, несколько стариков да скот. Три часа назад в город вошли русские и скоро они будут здесь. Рауфайзен тотчас приказал юнгштурмовцам занять боевые посты, заранее расписанные по группам и колоннам.

Ожидание показалось бы томительно долгим, если бы неумолчный и все крепнущий рокот идущих танков не занимал мысли ребят. Наконец, в спустившихся сумерках появились первые два танка с потушенными огнями; они устремились прямо к крепости. Это были Т-34, неуклюжие с виду броненосцы, изготовленные в Сибири, громоздкие и приземистые, с плохо пригнанной обшивкой; тем не менее, они не боялись ни морозов, ни раскисших дорог и грузно прошли от Азии до Германии, раздавив на своем пути все танковые дивизии Гитлера.

*За то, что фараон не выпускал из страны евреев, бывших у него в рабстве, Бог наслал на Египет так называемые «казни египетские», когда вода превратилась в Кровь, саранча истребила весь урожай и т. д.

Танки остановились у ворот и зажгли фары; вспыхнувшие лучи веером прошли по крепостным стенам, казавшимся слепыми из-за отсутствия бойниц. Следом за танками подъехал один из тех легких американских джипов, что славились своей высокой проходимостью, особенно на здешней пересеченной местности. Из него вышел офицер, он встал перед танками так, что его силуэт четко выделялся в ослепительном свете фар. В руке он держал мегафон. Это был лейтенант Николай Дмитриев, герой Сталинградской битвы, кавалер многих орденов, в том числе, за бои под Минском; он славился среди товарищей и солдат своими подвигами и удачливостью. Поднеся мегафон ко рту, он выкрикнул по-немецки с певучим украинским акцентом:

– Я не вооружен! Мы знаем, что в крепости находятся дети. Сдавайтесь! Вам не причинят никакого вреда. Откройте ворота. . .

Его слова прервал шквал пулеметных очередей с ближайшей башни. Мегафон покатился в снег, а лейтенант вскинул руки к груди. Танковые фары тотчас погасли, и никто не увидел, как Дмитриев упал наземь. Миг спустя темноту пронизали огненные струи; на сей раз стреляли фауст-патронами по танкам. Взревели моторы, и оба бронированных чудовища начали поспешно разворачиваться. Но у одного из них были повреждены гусеницы, и он с оглушительным треском врезался в другой танк. Так они и застыли, точно сцепившиеся рогами быки, под градом снарядов, срывавших с них листы брони. От машин повалил густой черный дым. Последовало недолгое затишье, а затем пушечный залп из танка прямой наводкой по стене тяжело сотряс воздух, наполнив его хрустальной музыкой стекол, вдребезги разлетевшихся во всех зданиях крепости. Через минуту в наступившей тишине издали, со стороны Шлангенфлисса, донеслись звуки канонады, – скорее всего, там обстреливали дорогу, забитую русскими танковыми колоннами.

В планы Рауфайзена не входила защита крепости по всему периметру. Он заранее приготовился эвакуировать стреляющих после первой же атаки, сконцентрировав оборону на воротах или у той брешы, куда ринутся советские танки. Но он не принял в расчет одно важное обстоятельство – интенсивность обстрела русских. К его ужасу, их артиллерия начала методично разносить в куски всю крепость. Вместо того чтобы пробить одну брешь, которую сравнительно легко можно было бы оборонять, пушки обрушивали одну за другой огромные части крепостной стены, которые при падении разрушали домики внутри цитадели. Часом позже два спаренных пулемета, установленные на платформах грузовиков, скрытых за ангарами, взяли под обстрел весь фасад замка; одновременно рота автоматчиков – слишком мелкая мишень для фауст-патронов – рассыпалась между близлежащими зданиями. Позиции осажденных явно не выдерживали этого приступа. Оставалось только одно: попытаться выйти за пределы крепости и, присоединившись к разрозненным группам пехотинцев, действующих в округе, обстреливать вместе с ними вражеские танки и пушки извне, быстро переходя с места на место.

Тиффож сбросил элегантный костюм бывшего владельца Кальтенборна и уже натягивал на себя истрепанную лагерную робу с нашитыми на груди огромными буквами Ф.В.*, когда по крыше забарабанили осколки снарядов. Он торопливо взобрался на чердак, подстегнутый на ходу страшным зрелищем, бегло увиденным в угловой комнате с разбитой в щепы дверью: трое юнгштурмовцев недвижно лежали вповалку на пулемете, чье задранное дуло уставилось в черный проем окна. В углу чердака горела груда матрасов; жирный удушливый дым стлался по полу, несмотря на огромные зияющие дыры в пробитой кровле. Тиффож кинулся к чуланчику Эфраима.

*Французский военнопленный.

Еврейский мальчик сидел перед шатким столиком своей комнатухи, покрытым белой тканью. На нем он разложил куски хлеба, баранью кость и травы; здесь же стоял стакан воды, подкрашенной красным вином.

– Эфраим, нужно уходить! – крикнул Тиффож, ворвавшись в каморку. – Русские бьют по замку!

– Разве эта ночь на 15 ниссана чем-то отличается от других ночей? – торжественно спросил Эфраим.

– Идем, нельзя терять ни минуты!

– Бегемот, несравненное творение Господне, ответь мне так: «Сей ночью мы покинули Египет». Итак, чем же эта ночь отличается от прочих?

– Сей ночью мы покинули Египет, – покорно отозвался Тиффож. Но тут громовой взрыв сотряс плиты под их ногами; с потолка градом обрушилась штукатурка.

– Идем со мной, Эфраим, нужно бежать!

– Да, нужно бежать, – сказал мальчик, отодвигая стол. – Солдаты Предвечного насмерть поразят первенцев египетских, но они же помогут нам спастись бегством. Если ты не хочешь сесть вместе со мною за пасхальный стол, дай мне, по крайней мере, прочесть хоть несколько песен Аггады.

Он сосредоточился, и губы его зашевелились. Снаружи ухнуло еще несколько оглушительных взрывов гранат, затем настала тишина, куда более пугающая, чем недавняя канонада. Тиффожу не терпелось бежать.

– Ты закончишь свою Аггаду у меня на плечах. Давай-ка, садись на «коня Израиля»! – скомандовал он, встав на колени рядом с Эфраимом.

В тот момент, как он покидал чердак, наклонясь в дверях, чтобы Эфраим не ушиб голову, пушки внезапно замолкли; теперь со всех сторон слышался только стрекот пулеметов, и это означало, что осаждавшие уже ворвались в замок. Тиффожу пришлось повернуть назад, так как левое крыло чердака превратилось в сплошной костер, спуститься по центральной лестнице и прокрадываться через залы; со всех сторон доносился шум схватки. Что ни шаг, он наталкивался на убитых юнгштурмовцев; одни лежали в мирных позах, точно уснувшие, поодиночке или группами, и он с пронзительной болью вспомнил недавний гипнодром; другие были изуродованы, изранены до неузнаваемости. Приказ, выкрикнутый, по-русски, и револьверные выстрелы заставили его торопливо подняться этажом выше. Одна из дверей была открыта, она вела в кабинет Командора. Тиффож бросился туда. Большое окно с выбитыми стеклами, смотревшее на Террасу трех мечей, зияло в глубине комнаты черной брешью. Тиффож прислонился к стене с гобеленом, чтобы перевести дух. И тут раздался *КРИК*. Тиффож тотчас признал его, он понял, что впервые этот крик отличается абсолютной, безупречной чистотой. Долгий, гортанный, переливчатый, он изобиловал самыми разными нюансами: одни отличались странным ликованием, другие выражали непереносимую боль; да, именно этот крик неумолчно звучал в его ушах, начиная с самого детства, несчастного, незадачливого детства в ледяных коридорах Святого Христофора, и кончая заповедными чащами Роминтенского леса, где он возглашал смерть королевских оленей.

Но те далекие или недавние отголоски прошлого были всего лишь чередой неуверенных приближений к этой возвышенной песне, которая с невыносимой, острой силой долетела до них с Террасы трех мечей. Он знал, что впервые слышит в первозданном состоянии этот колеблющийся между жизнью и смертью вопль, бывший основополагающим звуком его судьбы. И снова, как в день встречи с бредущими на родину французскими пленными, но только несравненно яснее, почти воочию, представился ему умиротворенный бесплотный лик Лесного царя, укрытого саваном болотной ряски; и образ этот был последней его надеждой, последним

прибежищем.

– Ты слышал? – спросил он. – Мне кажется, там, на террасе, кто-то умирает. Ты что-нибудь видишь?

Эфраим пригнулся – так он мог разглядеть парапет террасы – и описал все, что смог увидеть в черно-звездной ночи, то и дело озаряемой вспышками разрывов гранат. Три меча – да, они там, на месте, только похоже, будто на них висит что-то большое и грузное, как будто они превратились в древки знамен из тяжелой, жесткой, черной парчи.

Тиффож снова направился к главной лестнице. Он уже спустился до второго этажа, как где-то совсем рядом прогремели выстрелы, заставившие его юркнуть в темную нишу. Русские солдаты – впервые он увидел их! – вели человека, который шатался, падал и вновь поднимался под градом ударов и пинков. Жестокий толчок швырнул его вперед, поближе к Тиффожу, и тот увидел посиневшее, вздутое лицо с выбитым глазом, кровавой слизью стекавшим на щеку. Это был Рауфайзен. Эсэсовец опять упал и тщетно пытался подняться, цепляясь обеими руками за лестничные перила. Он еще стоял на коленях, когда один из солдат приставил пистолет к его затылку. Глухо прозвучал выстрел, и голова Рауфайзена, сильно дернувшись вперед, стукнулась о каменную балюстраду. Потом безжизненное тело медленно сползло на ступени. Тиффож судорожно сжал худые колени Эфраима и потянул их вперед, словно хотел поглубже втянуть голову между ними и укрыться от страшного зрелища. Но в то же время в ушах у него зазвучала фраза, выплывшая из далекого школьного детства: «И только когда пришел конец, повезло ему в том, что невинность послужила ему защитой и оправданием перед Господом, позволив надеяться на милость Его и на спасение души. . . »

Теперь пройти по лестнице было невозможно. Оставалось снова подняться наверх, к часовне, и спрятаться на большой террасе. Тиффож долго не раздумывал. Он действовал чисто импульсивно. Крыша часовни местами обрушилась, но проход на Террасу трех мечей остался свободным. Тиффож бросился туда. Он сделал несколько шагов и застыл на месте, потрясенный увиденным.

Плиты террасы покрывал ровный ковер идеально чистого, белого снега, еще не тронутого оттепелью. Парапет тоже был весь белый, если не считать основания трех мечей, так обильно залитого кровью, что казалось, будто в этом месте на камень набросили пурпурный плащ. Там они и находились все трое – Харо, Хайо и Лотар, и рыжие близнецы по-прежнему преданно охраняли с двух сторон мальчика с серебряными волосами; их широко раскрытые глаза слепо смотрели в пустоту, а тела. . . тела были насажены на мечи, и каждому острое лезвие нанесло свою, особую рану. У Хайо оно торчало из левой лопатки; казалось, мальчик согнул колено и наклонил вправо голову, стараясь восстановить утраченное равновесие. Струйка еще не запекшейся крови, изгибаясь в порывах ночного ветра, тянулась к парапету с кончика ноги, скрюченной в предсмертной судороге. Харо обратил лицо к Лотару, но так казалось лишь на первый взгляд, в действительности ему вывернуло голову острием меча, которое, прорвав шею с другой стороны и выйдя наружу, достигало уха. Своей позой – со сжатыми кулаками и слегка подогнутыми ногами – он напоминал прыгуна в высоту, устремленного в небо. Голова Лотара закинулась назад. Рот был широко раскрыт, и в нем, среди раздвинутых зубов, блестело острие меча. Он висел на лезвии абсолютно прямо, составив ноги, прижав к бокам руки – идеальные ножны для благородного, пронзившего его сверху донизу клинка. Звезды уже начали гаснуть, и эта детская Голгофа возвышалась над головой Тиффожа на фоне чуть серебрившихся мрачных небес. «В серебряном поле три пажа, головы к небу воздевших», – прошептал он.

Новый взрыв, тяжело сотрясший террасу, вдребезги разнес часовню; осколки камней и черепицы градом осыпали Тиффожа и Эфраима.

– Эфраим, – сказал Тиффож, – я потерял очки и почти ничего не вижу. Веди меня!

– Это ничего, конь Израиля, я возьму тебя за уши и буду направлять, куда нужно!

Над деревьями замелькали огненные цепочки трассирующих пуль.

– Эфраим, посмотри на этот стиснутый кулак вон там, в черном небе. Он сжимается так сильно, что из него сочатся капли крови.

– Уйдем отсюда. Бегемот, мне кажется, ты сходишь с ума!

– Эфраим, разве в священных книгах не сказано, что голова его и волосы белы, как снег, глаза мечут пламя, ноги подобны бронзе, в печи закаленной, а изо рта выходит меч о двух лезвиях?

– Бегемот, если ты сейчас же не повернешь назад, я оборву тебе уши!

Тиффож повиновался и с этой минуты, как маленький ребенок, слушался направляющих рук и коленей Звездоносца. Не успел он пройти и десяти шагов, как им преградила путь группа русских солдат, наставивших автоматы на странную пару. Однако пронзительный голосок Эфраима, крикнувшего: «Война капут! Французски солдат!», заставил их расступиться, дав дорогу Дитя Несущему.

Наконец, сражение в замке окончилось; от всего здания сохранилось невредимым одно только правое крыло с башней Атланта. Но солдатам еще нужно было очистить окружающие леса и ланды от юнгштурмовцев, рассыпавшихся на местности, и перестрелки вспыхивали то тут, то там, постепенно удаляясь от крепости. Тиффож пробрался мимо сгоревших строений к псарне, где одиннадцать доберманов, изрешеченных автоматными очередями, воплощали собой последнюю охотничью картину Кальтенборна; затем он двинулся по дороге к Шлангенфлиссу, ведущей, хоть и не прямо, к спасительному западу. Словно человек, потерпевший кораблекрушение среди океана и плывущий чисто инстинктивно, без всякой надежды на избавление, он проделывал все необходимые движения, которые могли бы обеспечить им обоим безопасность, машинально, ни на йоту не веря в успех. Они пересекли Шлангенфлисс, освещенный ярко, как днем, пылающими факелами домов, что выбрасывали в небо черные облака дыма с проблесками огня. По выходе из города темнота вновь сомкнулась вокруг них. Вдвойне ослепленный, Тиффож прошагал еще несколько метров, как вдруг Эфраим резко потянул его за уши.

– Стой, Бегемот! Слушай!

Тиффож остановился и вслушался. Из ночной тишины до них донесся гулкий, мощный рокот гусениц танковой колонны, и шум этот нарастал с угрожающей быстротой. Красная ракета, выпущенная примерно в километре от них, с шипением описала дугу на черном небосклоне. И тотчас же на дороге с грохотом разорвались первые снаряды. Это стреляла, в ответ на сигнал юнгштурмовцев, их батарея ПВО, – значит, она еще не была уничтожена неприятелем.

– Нужно уходить с дороги, – решил Эфраим. – Давай-ка свернем налево, в ланды, и пропустим танки.

Тиффож не стал спорить; он сошел с обочины в грязный талый сугроб и почувствовал под ногами мягкую, предательски зыбкую почву вересковой пустоши. Колючий куст оцарапал ему лицо; он отшатнулся и, вытянув руки вперед, пошел дальше, как ходят слепые. Долго шагал он так, удаляясь от дороги, пока звуки яростной бомбардировки в его ушах не свелись к смутному рокоту, похожему на ворчание грома. Почва все больше напитывалась водой, и теперь он с величайшим трудом вытаскивал ноги из жадно засасывающей их грязи. Потом его руки нащупали ветки и тонкие стволы подлеска, и он признал в деревцах черную болотную ольху. Тиффожу захотелось остановиться, повернуть обратно к дороге, но повелевающая им сила властно толкала его продолжать путь. И по мере того как он все глубже увязал в

хлюпающей болотной жиже, ребенок на его плечах – такой худенький, почти прозрачный! – тяжким, свинцовым грузом придавливал его к земле. Тиффож медленно двигался вперед, и с каждым его шагом тина поднималась все выше и выше, и невыносимо возрастал гнет на спине. Теперь ему приходилось совершать сверхчеловеческие усилия, чтобы бороться с вязкими объятиями болота, сдавившими ему живот и грудь, но он упорно шел и шел, зная, что так нужно. И когда Тиффож поднял голову в последний раз, он увидел над головой только золотую шестиконечную звезду, которая медленно вращалась под черным куполом неба.